

# ГОСТИНЫЙ ДВОР

---

Литературно-художественный и общественно-политический альманах  
Издаётся с 1995 года

*Издание осуществлено на средства  
Правительства Оренбургской области*



Оренбург  
2013

«Гостиный Двор» № 42, август 2013 г.

Альманах

**Учредители:**

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, Оренбургская областная общественная писательская организация Союза писателей России

**Главный редактор Н.Ю. Кожевникова**

**Редакционный общественный совет:**

председатель – **В.А. Шориков**, министр культуры и внешних связей Оренбургской области

**В.А. Бахревский** (Подмосковье)

**Георгий Горлов**, священник

**Н.А. Емельянова**

**Г.П. Ивлиев**

**Д.Е. Кан** (Новокуйбышевск)

**В.М. Капустина**

**П.Н. Краснов**

**В.А. Лабузов**

**Г.П. Матвиевская**

**В.В. Ренёв**

**П.Г. Рыков**

**Л.П. Сковородко**

**В.Б. Соколов**

**Т.В. Судоргина**

**А.А. Тепляшин** (Новотроицк)

**А.Г. Филиппов**

**А.А. Чибилёв**

Почтовый адрес редакции:

460009, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелёвых, 4

Телефон 8-903-394-32-60, факс 8 (3532) 74-43-36

E-MAIL: [Gdvor56@yandex.ru](mailto:Gdvor56@yandex.ru), [editor@orenlit.ru](mailto:editor@orenlit.ru). Веб-сайт: [orenlit.ru](http://orenlit.ru)

Почтовый адрес издателя:

460009, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелёвых, 4. «Редакция газеты «Оренбуржье» – Оренбургский городской филиал ГУП «РИА «Оренбуржье»

Телефон/факс (3532) 74-43-36

E-MAIL: [gazorb@mail.ru](mailto:gazorb@mail.ru)

На первой и последней страницах обложки – коллажи **В.Б. Соколова**

Художник – **В.В. Кожевникова**

Компьютерный дизайн – **Л.В. Гмырина, А.А. Воловод**

Компьютерный набор – **Е.Н. Цыганчук, Г.Р. Чуйкова**

Корректоры – **Ф.Н. Кусикова, Л.И. Беляева**

В спорных случаях оставляются стиль, орфография и пунктуация авторов, которые несут ответственность также и за достоверность фактов. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи

Сдано в набор 01.06.2013 г.

Подписано в печать 19.07.2013 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 16 печ. л.

Тираж 1 300 экз.

Заказ № 1120

Цена свободная

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ56-00153 от 21.04.2010 г. в Управлении Роскомнадзора по Оренбургской области Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Отпечатано в ООО «УралПечатьСервис»

462353, г. Новотроицк, ул. Горького, 14

ISBN

© Альманах «Гостиный Двор», 2013

«Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя её от врагов сильнейших и покоряя ей народы! Сколько даровал ей постоянных сокровищниц, источающих непрестанные знамения, — и в святых мощах и чудотворных иконах, рассеянных по всей России! И, однако ж, во дни наши начинают уклоняться от веры: одна часть совсем и всесторонне падает в неверие, другая отпадает в протестантство, третья тайком сплетает свои верования, в которых думает совместить и спиритизм и геологические бредни с Божественным Откровением. Зло растёт: зловерие и неверие поднимают голову; вера и Православие слабеют. Ужели же мы не образумимся? И будет наконец то же и у нас, что, например, у французов и других... Что там сделалось в малом объёме, того надобно ожидать со временем в больших размерах...

Западом и наказывал и накажет нас Господь... Завязли в грязи западной по уши, и всё хорошо... Нас увлекает просвещённая Европа. Да! Там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал её. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет, а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлёт на нас Господь таких же учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон Правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему».

*Святитель Феофан Затворник  
(«Мысли на каждый день года», 1871 г.)*

# ГОСТИНЫЙ ДВОР

---

## НАША ГОСТИНАЯ

- 6 **Валентина Ерофеева-Тверская.** Непоправимо скомканные сны, или Холсты жизни. *Стихи*
- 10 **Нина Ягодинцева.** Просто нужно очень желать...  
*Интервью с В.Ю. Тверской*
- 18 **СТИХИ ПО КРУГУ: Александр Ивушкин, Василий Дворцов, Ольга Данилова-Пушкарь, Анна Самойлова**
- 161 **Илья Павлов.** Дума солдата. *Стихи*

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 31 **Владимир Одноралов.** Светлячки. *Повесть*
- 65 **Александр Цирлинсон.** «А душа поёт и плачет...» *Стихи*
- 69 **Галина Грибанова.** Томление по Томилинской. *Стихи*
- 73 **Георгий Саталкин.** Падение. *Глава из романа*  
Послесловие Татьяны Дегтярёвой. «Родной угол Георгия Саталкина»
- 93 **Владимир Напольнов.** «Родились светлые стихи!»  
*Стихи*
- 97 **Влада Абаимова.** «Только раз блеснуть как молния...»  
*Стихи*
- 101 **Илья Кириллов.** «На Руси костры, как вехи...»  
*Стихи*
- 107 **Павел Рыков.** Научение добру. *Новеллы*
- 123 **Владимир Баклыков.** Великий Молитвенник. *К 100-летию со дня рождения митрополита Оренбургского и Бузулукского Леонтия (Бондаря)*  
Послесловие Андрея Лысенко. «Он не забывал и земные нужды...»
- 136 **СТИХИ ПО КРУГУ: Александр Филатов, Владимир Петров, Вениамин Побежимов**

## КАЗАЧЬЯ ЛИНИЯ

- 140 **Александр Ялфимов.** Атаман Барбоша. *Главы из романа*
- 151 **Ирина Бушухина.** «Я на эту саблю повяжу платочек...»  
*О казачьем символе любви и верности*

- ФИЛОСОФСКИЙ ПРАКТИКУМ 164 **Пётр Краснов.** Русскость — она необъятна...  
*О материале Владимира Ермакова «Сказ про то — не знаю что»*
- ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ОРЕНБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ» 167 **Владимир Рощупкин.** В объятых лета. *Стихи*  
Послесловие Эдуарда Анашкина «Соловьиная соната Владимира Рощупкина»  
173 **Екатерина Ермолаева.** Горькая отрада. *Рассказ*  
182 СТИХИ ПО КРУГУ: **Лидия Журба, Николай Миронов, Полина Пороль, Алексей Нихаёв**
- В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 187 **Галина Матвиевская.** Английский агент Джеймс Аббот: «Я был восхищён встречей...» *К 270-летию Оренбурга*
- КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 207 **Олег Семёнов.** Планета Пиотровских. *Оренбургские страницы*
- ОРЕНБУРГСКАЯ ДИАСПОРА 221 **Алексей Иванов-Огарыш.** Любить без приказа. *Из дневника церковностроителя. Продолжение*
- ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА 246 **Великий пролётный путь, или «Бутылочное горлышко» Зауралья.** *Интервью главного редактора альманаха Натальи Кожевниковой с председателем Оренбургского отделения Союза охраны птиц России Анатолием Давыгорой*



Валентина  
ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ

## НЕПОПРАВИМО СКОМКАННЫЕ СНЫ, ИЛИ ХОЛСТЫ ЖИЗНИ

*Валентина Юрьевна Ерофеева-Тверская родилась и живёт в Омске. Окончила Московский коммерческий институт, юридический факультет МЭСИ. Секретарь правлений Союза писателей России и Ассоциации писателей Урала, председатель правления Омской организации СПР, член-корреспондент Академии поэзии, член Высшего Творческого Совета России и Белоруссии, член приёмной коллегии СПР. Лауреат премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Ершова, Л.Н. Мартынова, В.А. Макарова. Автор шести поэтических книг, изданных в Москве, Омске, Екатеринбурге. Стихи публиковались в периодике, литературно-публицистических российских и международных журналах, хрестоматиях, альманахах, антологиях, коллективных сборниках страны и региона, переводились на болгарский и немецкий языки. Соавтор нескольких музыкальных дисков «Созвучье нот и слов».*

\* \* \*

...А буквы, что летят домой грачи,  
В глазах мелькают и садятся  
в строки,  
Вдоль по кустам, что встали  
у дороги,  
Где зелень вспыхнет и займётся  
в сроки,  
Где будут в полдень камни горячи.

Но в свой черёд. Сейчас поля пусты,  
Сомнений холст натянут  
на подрамник.  
Мазок стиха пусть будет  
без помарок,  
Ведь вдохновенье не приходит  
даром.  
Холст жизни полон — и полны листы.

\* \* \*

Прохлопали заветное...  
И гонит тучи ветрами  
К нам с инородных мест.  
От слёз глаза туманятся,  
От боли души плаваются,  
Когда глядим окрест:  
За каждою околицей,  
Под пустошью неволится  
Земля — родная Русь.











Нина ЯГОДИНЦЕВА

## ПРОСТО НУЖНО ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЬ...

*Интервью с В.Ю. Тверской*

*Нина Александровна Ягодинцева родилась в Магнитогорске. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Член Союза писателей России. Автор поэтических книг, цикла учебников «Поэтика», монографий, электронной книги литературной критики, переводов с азербайджанского и бакирского языков, а также более 500 публикаций в литературной и научной периодике. Лауреат Всероссийских литературных премий им. П.П. Бажова (2001), им. К.Нефедьева (2002), им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2008), Сибирско-Уральской литературной премии в номинации «Поэзия» (2011), Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга-2007», литературной премии Уральского федерального округа (2012), Международной премии «Ак Торна»-2012 за лучшие переводы тюркоязычной поэзии. Член жюри Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, председатель жюри Южно-Уральской литературной премии. Живёт в Челябинске.*

**Н.Я.** — Валентина Юрьевна, вы — поэт, председатель одной из авторитетных писательских организаций Сибири — Омского отделения Союза писателей России. Вы сталкиваетесь с писательскими проблемами и как автор поэтических произведений, и как руководитель. Как вы понимаете роль писателя в обществе сегодня? Ведь она сильно изменилась по сравнению не только с советским периодом, но и с трагическими девяностыми...

**В.Т.** — На мой взгляд, писатель сегодня — один из тех, кто держит рубежи. Хотим мы или не хотим говорить об этом, но идёт холодная война, теперь уже на территории нашей культуры. И позицию за позицию мы сдаём. Сдаём чистоту русского языка — а значит, ясность понимания и точность обозначения происходящего, способность формулировать своё будущее. Молодые часто говорят о современном, модном языке. Кто-то считает, что нужно принять современность такой, какая она есть. Но традиции никто не отменял! Непозволительно вести себя

по отношению к русской литературе небрежно, пренебрежительно. Это морально нечистоплотно: разрушать сохранённое целыми поколениями, нам переданное — целые пласты родной культуры, благодаря которым мы существуем как народ. Сегодня писатель должен строже относиться прежде всего к самому себе.

Одна из важных наших задач — объединение. Писательство — труд индивидуальный, и никто этого не оспорит. Но сейчас нам необходимо и «внутрицеховое» обсуждение произведений и проблем, и создание в обществе отклика, резонанса — должны быть творческие встречи, дискуссии, выступления в печати. Нам нужно объединяться для того, чтобы слышать друг друга, вместе донести до властных структур, от которых мы финансово зависим, что мы есть, что без писателя никакое государство не будет государством. Не будет народа — будет просто масса. Великая наша Россия должна сохранять за собой право на великую русскую литературу. Я не могу согласиться с теми, кто говорит, что в России нет литературы. Она есть — но это маленькие тиражи, выпущенные за свой счёт книги. Иногда, к сожалению, даже рукописные варианты.

Когда заводили разговор о возрождении творческих союзов, спрашивали: на какой основе вы хотите их видеть — на основе профсоюзных организаций? Я говорила: ни в коей мере. Мы не защищаем свои интересы, потому что у нас нет заработной платы и своих рабочих мест, у нас нет ни станков, ни машин. Мы профессиональный союз не от слова

«профсоюз» защиты интересов трудящихся масс. Мы профессионально работающие в литературе люди, которые хотят защитить свой и общий интеллектуальный труд. Творческий союз — это совершенно особый тип организации, в котором есть и профсоюзная, и творческая, и общественно значимая функция. Прежде всего общественно значимая. И эту общественную значимость сегодня надо отстаивать. Сохранность культуры, упорядоченность осмысления жизни и, наверное, в целом будущность зависят сегодня от того, насколько писатель выполнит свою объединяющую роль.

**Н.Я.** — *А есть ли на практике положительные примеры такого объединения? Ведь для нашего времени характерно совершенно иное: многие жалуются на невнимание центра, на раскол в регионах (чего стоит одно только постоянное противопоставление Союза российских писателей и Союза писателей России!) и даже серьёзные распри внутри писательских организаций...*

**В.Т.** — Яркий пример объединения усилий — Ассоциация писателей Урала, Сибири и Поволжья. Она объединяет, сохраняет литературу и развивает литературное движение. Слова благодарности её руководителю Александру Борисовичу Кердану и тем, кто вокруг него сплотился, я буду говорить всегда. Потому что из года в год я понимаю, что эти люди свой огонь, тепло своей души отдают именно тому делу, которого сейчас у нас в России трагически мало. Вместе нам проще быть услышанными. На наших конференциях

АсПУр объединяются два разных начала: это хорошая, крепкая наука, литературоведение, культурология и практика работы писательских организаций. Вот это гармоничное слияние двух начал помогает и людям науки, и практикам, работающим на местах. Это нас всех объединяет. Я учусь, читая замечательного нашего литературоведа Леонида Петровича Быкова, и понимаю в теории то, что я на своём уровне и при своём образовании формулирую по-другому. Это даёт масштабность видения, я прохожу здесь свои университеты. Ассоциация — это такая школа, которая не даёт дипломов, но даёт очень много знаний и дружеских связей: то, что никогда ни за какие деньги не купишь.

Когда мы собираемся Ассоциацией ежегодно в одни и те же дни, с каждым годом я всё больше и больше ощущаю родство душ. Это сплав. Появляются премии, возникают фестивали, обмен литературными десантами, всероссийские и международные совещания молодых писателей... В Ассоциации собраны товарищества независимо от членства — Союз российских писателей, Союз писателей России, здесь серьёзные люди, каждый из которых выполняет свою задачу, стоит на страже чистоты языка и сохранения культуры.

*Н.Я.* — *Да, вместе проще быть услышанными властью. Но строить с ней взаимоотношения по-прежнему сложно. Взамен жёсткого идеологического контроля пришло безвременье девяностых, а сегодня зачастую ставка делается на коммерческую литературу, на «рас-*

*крученных» столичных авторов, и региональной литературе очень трудно отстаивать свои позиции...*

**В.Т.** — Во взаимоотношениях с властью нужно учитывать менталитет разных регионов и краёв. Здесь можно даже переходить на личности и сравнивать по губернаторским вехам регионов — культурный человек у власти или нет, читающий — не читающий, театрал — не театрал, человек земли, любящий землю и поднимающих сельское хозяйство — или кабинетный работник... Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы лидеры регионов были людьми широкого кругозора. Но так бывает не всегда. Мы все живые люди. Там, где власть более-менее культурна, грамотна, вдумчива, там, наверное, попроще. Не надо забывать, что сегодня «в загоне» не только литература: классическая музыка, художественный цех — там тоже свои проблемы. Вы посмотрите, как экономически сложно, ведь идут кризис за кризисом. Здесь по роду своей деятельности я часто оказываюсь в эпицентре политических дел и вижу больше, чем обыватели. Я вижу, как каждый пытается одеяло тянуть на себя. А в решении сложных социальных задач нужна общая культура, которая тоже у нас потеряна. То есть опять возвращаемся к началу: в первую очередь надо восстанавливать русский язык, потому что слово во взаимопонимании первостепенно.

Если мы идём с какими-то проектами к властям, нужно понимать, для чего, с какой целью, какие задачи ставим, чтобы всё это не ушло в пустоту. Когда отмечали 65-летие Победы в Великой Отечественной

войне, сколько внимания было направлено именно на литературу военных лет, были конкурсы, литературные, художественные проекты. Историческая память и долг перед нашими дедами и отцами тоже объединяет и делает зрячими всех нас, и политиков в том числе. Не все пропускают это через сердце, но тем не менее делают. Слава богу, думаю, и осознание придёт.

**Н.Я.** — *По нашему поколению в полной мере пришёл удар переломной эпохи, но мы теперь уже можем сказать, что мы выстояли, подхватили традицию и стремимся всеми силами её сохранить. А что происходит сегодня в среде литературной молодёжи? Готовится ли нам смена, продолжит ли она линию русской культуры или предпочтёт прозападный вариант литературы-развлечения, эпатажа, нравственной безответственности?*

**В.Т.** — Наше поколение вступило в Союз писателей России в 90-е годы: те, кто был до нас, получали помощь и поддержку от государства. 90-е расчистили перед нами дорогу до нуля... Литературные коммуникации, издательские проекты, съезды, пленумы, семинары как возможность широкого общения и обсуждения важных вопросов — всё было выкорчевано, причём безжалостно! Каждый регион оказался в своеобразной культурной изоляции от других. Только личные контакты писателей помогали как-то ориентироваться в общем пространстве. И многое приходилось постигать самим. Сегодня ситуация изменилась, но на фоне двадцатилетних броже-

ний тут и там возникают антилитературные направления, движения и фестивали. Эти непонятные течения чаще всего идут из Центра, потом становятся новомодными явлениями в регионах. И помочь определиться молодым — тоже наша задача. Профессиональные писатели должны давать молодым направления, векторы традиции родной культуры. У молодых, естественно, юношеский максимализм, желание себя показать сегодня и любой ценой, развращающий нигилизм. Но ведь с возрастом эта вседозволенность укореняется. Сегодня очень важно определиться самим и помочь тем, кто рядом. Тогда у нас будет смена.

**Н.Я.** — *Ощущает ли себя сегодня писатель реальной общественной силой? Или это ушло безвозвратно? Ведь модальные персонажи сменились полностью, и ко всем практически гуманитариям накрепко «прилипло» клеймо неудачников, аутсайдеров, а вы говорите о реальной работе, объединяющей роли писателя в обществе...*

**В.Т.** — Писатели, привыкшие в советские времена к хорошему, потому что власти их всегда поддерживали, до сих пор считают, что им все должно, в том числе и страна. Но сейчас ситуация изменилась. У писателя труд интеллектуальный, это гуманитарная сфера, и мы ничего не зарабатываем, ведь превращение гуманитарных знаний в коммерческие их просто уничтожает. Поддержка писателей — это по большому счёту дело государства, которое заботится о будущем. Писатель — большая политическая сила. Пройдут годы,

но останутся произведения о нашем времени, они расскажут правду — и очень может быть, что сыновьям или внукам тех, кто сегодня у власти, будет стыдно, потому что станет очевидной горькая правда.

Я убеждена, что культура наша поднимется, иначе не стоило бы всей нашей работы затевать, хотя сейчас нам и тяжело, сложно, мы разрозненны. Порой объединению сильно мешают амбиции, ведь творческие люди — это солдаты, которые всегда мечтают стать генералами. Но, с другой стороны, амбиции, вера в свои силы помогают выстоять.

**Н.Я.** — *А кого можно сегодня назвать союзниками в этой объединительной работе, в сохранении культуры языка, речи, мышления, взаимопонимания?*

**В.Т.** — Для меня существует некое триединство: писатель, библиотекарь и читатель. Заинтересованный, любящий своё дело библиотекарь выступает в роли проповедника, он советует читателю, что взять, потому что в сегодняшнем книжном разбросе сложно сориентироваться. Как правило, в эту профессию идут люди, именно любящие своё дело, потому что зарплаты здесь маленькие. Библиотекари и музейные работники — люди, которым я низко кланяюсь. Литературные музеи — специфические музеи, они должны быть на связи с наукой, вузами, школами, уметь искать средства для решения хозяйственных вопросов. Тем более что недавно принят антинародный закон о коммерциализации базовых общественных сфер — медицины, образования и культуры. Эти сферы, наоборот, требуют государственных

вложений, потому что на их основе происходит развитие всех остальных составляющих общества. Ставить на коммерческие рельсы даже одну из этих трёх сфер — значит, зачёркивать собственное будущее. Какая коммерция может быть у врача, учителя, писателя? Нашими союзниками должны быть и филологи. Но слишком часто филологи встают в оппозицию писателям, пренебрегают нашими мероприятиями и акциями, считая, что они лучше знают литературу. Я им в таких случаях отвечаю, что если бы они были правы, тогда не было бы Союза писателей, а был бы союз филологов. Существует единственный Литературный институт имени М. Горького, а вот филологические факультеты есть практически в каждом регионе, в каждом городе. Среди филологов есть люди, которые пишут, есть члены Союза писателей, но их очень мало, часто научность мешает проявлению индивидуальности. Но вот у нас есть прекрасный пример — известный поэт Марина Безденежных, филолог, без пяти минут доктор наук. Человек, который занимается любимым делом всю свою жизнь. Она диссертацию писала на материале омской поэзии, докторскую продолжает по поэзии. У нас есть замечательные друзья-филологи.

**Н.Я.** — *Ну что ж, если есть союзники — дело за стратегией, долгосрочной программой работы. И здесь, видимо, очень важно расставить приоритеты, обозначить магистральные задачи для писательской организации и для себя как руководителя.*

**В.Т.** — Я считаю, что в первую очередь нужно выстраивать кон-

структивные отношения с властью. Не нужно ссориться, бить себя в грудь кулаком... Мы должны доказывать делами, что у нас общие цели по развитию общества, осмыслению происходящего. Когда люди власти попадают в писательскую среду, они понимают, что литература — это другой мир, и этот мир имеет право на существование. Понимающие люди гордятся, что они сопричастны литературным событиям. Сейчас писателям тяжело не только в провинции, но и в Москве, и важно, чтобы Москва прислушивалась к нам. Она уже понимает, что мы сила, что провинция не альтернатива, а поддержка. И наше разъединение — это инструмент власти политтехнологов, сработанные в 90-е годы очень чёткие прозападные решения. На плаву современной литературы около 20 фамилий, они пиарятся властями, финансируются властями, собираются на публичные обсуждения с участием властей. Так нам показывают, что у нас вроде бы есть культура, и её поддерживают, но ведь это иначе как чтиво не назовёшь... Это недостойно нашей великой традиции.

Если власти хотят элементарно помочь, есть множество форм поддержки — в издательском деле, в рекламе литературы. Например, те же писательские трамваи, где звучат стихи современных поэтов... Любая реклама — это деньги. Не каждый писатель владеет экономическими подходами, чтобы просто сесть и рассчитать смету... Замкнутый круг.

Из нашего обихода исчезло важное слово — меценаты. В России всегда были меценаты. Спонсоры — это взаимосотрудничество, а меце-

нат отдавал безвозмездно. Это нужно возрождать вместе с внутренней культурой. Если ты умеешь зарабатывать, помоги поднять то, чем будут жить твои дети, внуки. Но здесь опять должен быть интерес правительства к вопросам литературы, русского языка, образования. Осознание того, что мы должны поднимать свою культуру. И нужно возрождать то, что утеряно с годами.

**Н.Я.** — *Вам удалось выстроить именно такое сотрудничество с ОТП-банком по созданию Сибирско-Уральской литературной премии. Это событие вызвало большой резонанс в регионе...*

**В.Т.** — Сейчас есть некоторые законопроекты, которые дают возможность коммерческим структурам шире помогать культуре. И в октябре прошлого года нам удалось реализовать пилотный проект Сибирско-Уральской литературной премии. Урал и Сибирь — огромная территория, обладающая самобытным менталитетом. Омск отличается от Екатеринбурга или, допустим, от Красноярска. Что заставило ОТП-банк сделать выбор в пользу литературы? Прежде всего им нужно было завершающее яркое публичное действие, которое бы всех заинтересовало. Я к ним пришла с предложением, они его услышали, осмыслили наряду с другими проектами и остановились именно на нём. Мы разработали положение таким образом, чтобы это было вложение финансов в современную литературу. Я знаю, что руководство ОТП-банка — это думающие, читающие, разносторонне образованные люди. Всё шло за подписью президента банка, все

финансовые бумаги. Если сейчас в стране в целом появится понимание важности культуры, литературы, вместе сделать можно многое.

Проект Сибирско-Уральской премии оказался интересен не только для писателей, но и для банка, и важно, чтобы он вошёл в традицию, стал популярным среди писателей. Тем более что такой премии ещё не было, и первый блин оказался не комом. Были представлены интересные, серьёзные авторы. Пусть их было не так много, но и не так мало для начала. Было прислано много интересной прозы. Она была разноуровневой, но все авторы, которые подавали и рукописи, и книги, в своём роде самобытны, они несут культуру своего региона.

Общеизвестно сравнение, что поэзия — это авиация стратегического назначения, а проза — пехота. Сегодня ситуация, когда в бой идёт пехота. А премия как бы анализирует положение на поле боя... Часто мои коллеги говорят, что наша проблема, наша беда сегодня — нет современного героя. Я увидела в конкурсной прозе современных героев: это человек-труженик, аграрий, это никуда не делось, как мы хлеб ели, так и едим, и этот хлеб кто-то выращивает и доводит до нашего стола. Что ещё интересно — появился срез детской литературы. С детской литературой, на мой взгляд, нужно быть более осторожным и жёстким в оценке. Ведь дети наши тоже ушли вперёд. Они немного по-другому мыслят. Не компьютерный или уличный сленг — появился именно новый детский язык. И его нельзя упрощать до примитивизма. Дай

бог, если премия будет развиваться, на мой взгляд, нужна отдельная номинация — творчество для детей. Её нельзя ни с чем смешивать. Хотя в первом конкурсе лидирующими действительно оказались авторы «взрослой» литературы, и детской — взрослой дилеммы не было.

Есть надежда на продолжение сотрудничества и развитие этой премии, которая стала престижной в пределах нашего региона с первого момента, со своего запуска. Сформировалась стартовая библиотечка премии. Есть президентская библиотека, есть губернаторская, а теперь библиотека премии. Это тоже важно. Книги и рукописи присылались в четырёх экземплярах. Одна библиотека сформирована для работников банка, другая библиотека и рукописные варианты — в Научную центральную библиотеку им. Пушкина. Третий вариант остаётся в омском Союзе писателей. Шёл разговор и о публикации коллективного сборника. Со сцены как руководитель писательской организации я пообещала ОТП-банку подкрепить библиотеку лауреатов библиотекой вышедших недавно книг наших писателей. Мы же понимаем, что наши книги, вышедшие малыми тиражами, даже городские библиотеки не все имеют. А ОТП-банк будет иметь! У них есть свой музей, к ним приезжают гости, они их водят, показывают... И чем не гордость — библиотека лауреатов премии?

***Н.Я.** — И в завершение нашей беседы просто не могу не спросить о творческих планах и замыслах. Ведь всей большой работы, о которой вы рассказали, просто не*



*может быть, если нет её истока – творчества, одинокой работы над словом, смыслом и образом.*

**В.Т.** – Мне как любому пишущему человеку хочется видеть то, что уже написано, в книгах. Одна книга, отредактированная Татьяной Георгиевной Четвериковой, лежит уже два года, и после этого много стихов написано, конечно, меньшего объёма, но тоже уже книга. Когда у меня сформировалась эта книга, 330 страниц, я поняла, что мне не дышится, что мне тяжело. И когда она отредактировалась, элементарно сложилась рукопись, начался новый виток, новое направление, стало свободнее дышать. Но всё равно это ещё рукопись. Мне кажется, если я сделаю хотя бы одну книгу, будет проще.

Сейчас меня больше заботит моя обязанность и ответственность перед организацией писательской. Это и возрождение фестиваля «Омские зимы», который знала вся Россия, и были времена, когда со всего Советского Союза съезжались писатели на омскую землю и неделю проводили, объезжая все районы области, а она у нас большая – и сельская местность, и заводы, и школы, и пекарни, и институты. И по окончании этого фестиваля всегда выходил коллективный сборник. Эти сборники есть в библиотеках Омской области, есть у писателей. Так они и назывались «Омские зимы». Это действительно праздник. У нас в 1997 году был пленум Союза писателей России. Мы принимали более ста писателей... Очень мечтается на омской земле провести всероссийское совещание молодых писателей, которого у нас ещё никогда не было. Есть мысли в плане развития организации. Некоторые проекты возникают в голове спонтанно, фантазийно, но тем не менее плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И иногда даже казалось бы безумные идеи воплощаются в жизнь. Просто нужно очень желать этого. Очень много тратится сил, энергии, но дело движется. Под лежащий камень вода не течёт, глаза боятся, а руки делают.

# СТИХИ ПО КРУГУ



**Александр  
ИВУШКИН**  
*Волоколамск,  
Московская область*

## ПРОЛОГ

Я – не враг моей России.  
Я – себе скорее враг.  
Воспеваю неба сини,  
холм лесистый и овраг.

Воспеваю говор речек  
и ручьёв пречистых звень,  
дым Отечества из печек  
уходящих деревень...

Может, так оно и надо:  
полно плакаться уже!  
Но в уме сквозит прохлада,  
зябко как-то на душе.

Вот и осень лес изводит,  
пряча грусть за красотой...  
Жаль – с деревней Русь уходит,  
и становится не той.

## РОССИЯ НОВАЯ

Там – не твоё!  
И тут – не твоё!  
Туда – нельзя!  
И здесь – закрыто!..

Россия стала, как корыто  
для хищных и надменных рож.  
Земля и недра, вода и лес,  
товаром ставши недешёвым,  
теперь доступны только «новым»,  
у коих в «праведниках» – бес!

А как на свете жить тому,  
кто миллионов не нагрбил,  
кто не утратил честных правил?..  
Одна надежда – на суму.

Куда ни кинь – кругом запрет!  
В России новой и тревожной  
теперь и жить едва ли можно, –  
коль честен, так себе во вред...

В родимой нашей стороне  
живём бесправно и уныло:  
землица – даже под могилу! –  
и та, как нефть, растёт в цене.

## НАИТИЕ

*Владимиру Кострову*

Старых русских печей  
остаётся всё меньше и меньше,  
и тускнеет в чуланах  
самоваров червонная медь.  
И в удобных квартирах,  
пообвыкнув, живёт деревенщик,  
горевавший вначале:  
мол, негде душу согреть.

Но когда закружит,  
пеленая промозглую землю,  
налипая на стёкла,  
сырой запоздалый снежок,  
он поедет в деревню,  
городской суеты не приемля,  
и в заброшенном доме  
поленья в печи разожжёт.

Тараканов разбудит,  
за печкой сверчка растревожит.  
После выпитой чарки,  
в молчанье её пережив,  
он подумает с грустью,  
что век его, в общем-то, прожит...  
Слава богу, что прожит  
без злобы и пагубной лжи.

Слава богу, что в целом  
и жил и работал в охотку,  
что с женой своей ладил  
и дети в достатке росли...  
Словом, как говорится,  
хватало на хлеб и на водку —  
и, судьбу завершая,  
на смерть кое-что припасли.

Загудит дымоход,  
разгорится горячее пламя  
и, избу озаряя,  
на серой стене задрожит.  
И в разбуженном мраке  
вдруг остро запахнет хлебами  
с неперменной кислинкой  
от мелко размолотой ржи.

Самовар у предпечья,  
сопя, до зари не остынет,  
сохраняя тепло  
от еловых пахучих лучин.  
Разомлевший хозяин  
подшитые валенки скинет  
и блаженно уснёт  
на широкой, как поле, печи.

## НАПРАСНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Надеждой душу ты не грей, —  
боль сердца глубока...  
Мир не становится добрей,  
пройдя через века.

И справедливости в нём нет:  
кто — чернь, кто — господа!  
Кому в еде — и хлеб не хлеб,  
кому — и жмых еда.  
И не тому, в ком ум и честь,  
даётся в руки власть,  
а у кого богатства есть  
и кто умеет красть.

И ненавистная война  
грохочет сотни лет!..  
И разрастается она  
на весь наш белый свет.

Страшись и плачь, простолюдин —  
мой славный человек!  
Пройдя сквозь тернии годин,  
ты входишь в новый век.

Где всё — коварней и страшней,  
чем видел ты вчера.  
Мир не становится добрей.  
А ведь давно пора!..

## С МОЛИТВОЙ К РОДИНЕ

Россия, Русь! На волю выпусти  
святую правду дурака, —  
ведь никогда добра и сытости  
твои не ведали века.  
Куда ни кинь — одни баталии  
и мира зыбкая тщета...  
И лишь в слезах твоих не таяли  
надежда, вера и мечта.

Россия, Русь! Ах, как мне хочется,  
чтоб ты в молитвах ожила...

Зачем в потугах чуждых  
корчиться?  
Взяла б и счастье родила:  
одно — большое и красивое,  
и обязательно — для всех!  
Ведь ты у нас такая сильная —  
грешно не верить в успех.

## КТО ТАМ СКАЗАЛ?

Без доллара сегодня — никуда.  
А раньше без него прекрасно жили.  
Не прятались от всякого труда  
и меж собой по-доброму дружили.

Не потому, что рубль был в цене,  
а жизнь была просторней  
и красивей...

Кто там сказал,  
что истина — в вине?  
Она — в святом служении России!

## ОСЕНЬ ЖИЗНИ МОЕЙ

В лесу осеннем, как в раю,  
быть может:  
прохладно, безмятежно и светло...  
И только здесь вдруг понимаешь  
строже,  
что лучшее с годами уткло.

Что где-то рядом тихо бродит  
старость:  
печален клёнов золотой наряд,  
недолго красоваться им осталось,  
не потому ль так кроны их горят?

И лес умолк с прощальной птичьей  
трелью.  
И всё вокруг в предчувствии  
конца...  
И ты уже скучаешь по апрелю  
и по весенним хлопотам скворца.

## НАТАЛЬЯ

Солнечно.  
Ну хоть синицей тенькай,  
склёвывая искры на снегу!  
Звонкою дворнягой деревенька  
лает на соседнем берегу.

Сколько шума, радости и света  
в этом лае — завидки берут!  
Хочешь, удерём в деревню эту,  
если там тебя не украдут?  
По-над Ламой, словно  
под гармошку,  
чинно пляшут зыбкие мостки.  
Влюбчивы, подпившие немножко,  
в деревнях российских мужики.

Что как со двора, из-за повети  
кто-нибудь из местных мужиков  
ладную да складную приметит —  
заглядится! — и бывал таков.

Запряжёт коня и, словно птица,  
разобрав поводья за версту,  
с гиканьем по улице промчится  
и тебя подхватит на лету!

И поди ищи Наталью в поле.  
И ругай потом себя: «Дурак!..»  
Вымысел, и тот на сердце — болью.  
Ну а если вправду будет так?

Всё-то хорошо с тобой да складно.  
Эх, Наталья, — светлая душа!  
Не пойдём мы в ту деревню, ладно?  
Больно уж погода хороша...

По-над Ламой, словно  
под гармошку,  
чинно пляшут зыбкие мостки.  
Влюбчивы, подпившие немножко,  
в деревнях российских мужики.



**Василий  
ДВОРЦОВ**  
Москва

Озарённо, откровенно  
Разговоры шли о главном,  
О грядущем непременно,  
Ослепительном и славном.

Дерзновенно мы метали  
Парадоксы в поднебесье,  
Роковое предрекали  
Мегаполисам и весям.

Мы пылали, мы желали  
Сердцем в звёзды разорваться,  
Распознать века и дали...  
Было нам едва по двадцать.

\* \* \*

Анфиладой дней бескровных  
Мы проходим в полумасках.  
Шаг размеренный и ровный,  
За спиной слуга с подсказкой.

Мы, наверно, короли.

Камни на перстнях играют,  
Парики сияют пудрой.  
Где-то музыка витает.  
И слуга удобно мудрый.

Ты смотри только вперёд.

В канделябрах вянут свечи,  
В кракелюре пыль шпалеры.  
Дамы обнажили плечи,  
И склонились кавалеры.

Лишь хромающий слуга.

Отчего-то очень зябко,  
Отчего-то очень странно.  
Оглянуться бы украдкой —  
Но тогда всё станет явно —

Он в костюме палача!

\* \* \*

Я Бунина читал,  
Хотелось плакать:  
Усадебный камин, ружьё, собака,  
Судьба, бессонница, бокал...

Я Бунина читал:  
Как сладко память  
В шестнадцать лет шиповником  
изранить,  
В семнадцать — доверять чужим...

Я в пятьдесят неисправим.

\* \* \*

По болоту ржавыми ручьями  
Собиралось озеро кривое.  
В нём зеркально небо  
отражалось,

Небо чёрное, где облака из крови.  
Там жила-была одна царевна,  
Не мигая, в облака смотрела,  
Всё смотрела: не летит ли стрелка  
Лёгкая, да вострая, да с перьем,  
Не несёт ли скорую свободу  
На пиры, на танцы да забавы  
Пред глазами милого Ванюши...

Но летели только самолёты,  
Где-то, где-то поезда стучали,  
Да охотники палили порох.  
Видно, нет царевичей на свете,  
Чтобы чудо в мире совершилось,  
Чудо чудное — любовь

как жертва.

**ОБЕТОВАНИЕ**

Я верую в серое небо,  
Я верую в белую степь.  
Я верую — манна из снега  
Не даст на пути умереть.

И все мы выйдем из круга,  
Из стылого рабства греха,  
Туда, где божественным плугом  
Мир разделила река.

За ледяной Иорданью  
Помолимся мы о весне.  
Пусть скорбною ляжет данью  
Утеранный Моисей.

Но для живых забота:  
Скотина, жёны и скарб,  
Мы раскопаем болота  
И высадим яблоней сад.

В нём станут детишки бегать,  
Не ведая зла и тоски.  
И сыпаться будут с неба  
Древнею манной снега  
Им яблоневого лепестки.

\* \* \*

Мы сердцем узники России  
Во всех краях, во всех веках.  
И наши цепи золотые  
Не источат ни боль, ни страх.

Мы сквозь восходы и закаты  
Держав, эпох, материков,  
Под стражей огненно-крылатой,  
Едины тяжестью оков.  
Едины в долг обетованья  
Не растерять в аду, в раю  
Святое наше послушанье —  
Величить Родину свою.

В кричащем выжженном Каире,  
В германской тучной чистоте,  
В Рязани, Вологде, в Сибири —  
Стоять на Отчей высоте.

Единым сердцем и устами  
Благословлять во век веков  
Вороньи стаи над крестами,  
Кровавый выкуп Соловков.

И под Покровными снегами  
Обретши горький слёзный дар,  
Принять разлётными руками  
Метельный гибельный пожар:

Огнём прошедшие крещенье  
В могилах не смыкают глаз,  
Под нами Русь, над нами пенье —  
Господь испытывает нас.

И наши цели неземные  
Не заслонят ни боль, ни страх —  
Мы сердцем узники России  
Во всех краях, во всех веках.

**ПЕРЕДЕЛКИНО**

Ты здесь. Ты рядом. Ты со мной.  
Коснусь волос и захмелею.  
Парк за окном размыт весной,  
Дождь морщит лужи по аллеям,  
Сжимая снег в подножья елям.  
Парк. Дождь. Весна. И ты со мной.

Скользя сиротской наготой,  
Полнеба оцепили кроны.  
Враскачку, встык, наперебой  
Топорщатся немые стоны.  
Но глухи тучные заслоны,  
Никто не слышит боли той.  
Коснусь волос, вдохну тепло.  
И где ты, ветер законный?  
Где туч сырое полотно  
И колких капель шорох сонный?



\* \* \*

Смешно — мне соловей поёт  
Сквозь плотно спящий лес.  
Легучей мысли мягкий лёт  
Штрихует мглу небес.

Почти невидимый стою,  
Впивая звёздный свет.  
Смешно поверить соловью  
В мои полсотни лет.

Давно ж потеряны ключи  
Замкнутых в сердце слов.  
А он чарующе журчит,  
Клокочет про любовь.

Кипит отчаянный малыш  
Восторженной красой.  
А небо немо хлещет мышь  
Бесплотной маятой.

И я сдаюсь, и я хочу  
Поверить в соловья.  
И из последних сил молчу —  
Смешно, как молод я!

\* \* \*

Мы сдвинем города  
И сядем рядом.  
Косматая звезда  
Увязнет садом.

В сплетении ветвей  
Забьёт лучами.  
Ладонь твоя в моей  
Сожмёт печали.

Смещая русла рек,  
Хребты сминая,  
Вернётся беглый век  
К исходу рая.  
Где росный вертоград  
На сонном склоне,  
Безмолвный звездопад,  
Ладонь к ладони,

Где помнят всё всегда,  
Не осуждая...  
Мы сдвинем города  
К порогу рая.

## ОСИНОВАЯ КУПИНА

Ах, года вы мои золотые!  
Вам цена — прокипевшая кровь.  
По осенним ландшафтам России  
Я вернуться пытаюсь вновь.

Узнаю, и как будто бы заново  
Проживаю былые пути:  
Перелесок под взорванным заревом,  
Выгибаемый ветром, гудит,

Поле мокрое, холм скособоченный,  
Над гумном ожерелье ворон.  
На коньке пастушок озабоченно  
Объезжает разбитый загон...

Так точь-в-точь я — в мелкий  
дождик еланями

Собирав одичавших телят,  
В негорячем осиновом пламени  
Услыхал, как мечты говорят.

Повело, понесло, позаснежило  
В расцарапанных в зиму полях...  
Я живым пронесён был

по нежили,  
Чтобы мир не ценился в рублях.  
Чтобы платой за всё — только алая  
В сизых мшаниках осыпь осин.  
И чтоб золото запоздалое  
Уступало богатству седин.

Чтоб сродниться не с опрометчиво  
Закопавшим таланты рабом,  
А с таким же, предсмертьем  
освеченным,  
Говорившим со мною кустом.







И в той подавляющей тьме  
 Хотелось громко кричать,  
 И плакать, и всё крушить —  
 Быть слабой, как мотылёк.  
 Но чтоб не сойти с ума,  
 Мы стали тихонько петь:  
 Ты, наши дети, я  
 И этот мужик под окном.  
 Мы пели, что будет день,  
 Что солнце прогонит мрак,  
 Что нас не коснётся смерть  
 Холодом и темнотой...  
 И песню услышал Бог,  
 И молвил: «Да будет так!»  
 И солнце из рук своих  
 В души наши вложил.

\* \* \*

Утром лёгкую канву натяну  
 на пальцы,  
 Ткань упруго отзовется,  
 если стукнуть пальцем.  
 Я ладонью тёплый лён ласково  
 поглажу,  
 И желание своё вышивать — уважу.

Вот иголка — и тонка, и с широким  
 ушком,  
 Пусть пока что посидит  
 в маленькой подушке...  
 Ну-ка! Нитки мулине, шёлк  
 и иже с ними,  
 Упаковки с вас долой мы, конечно,  
 снимем.

Сяду в кресло у окна —  
 здесь побольше света,  
 И попробую поймать все оттенки  
 цвета:  
 Что там? Белый, голубой, зелени  
 немножко,  
 Дальше охра, киноварь...  
 Мокрые дорожки —

Это дождик моросит, зарядил  
 надолго...  
 Раз стежок, ещё стежок —  
 хороша иголка.  
 И ложатся на канву лёгкими  
 крестами  
 Солнце, радуга и луг с яркими  
 цветами!

\* \* \*

Дождь со снегом и ветер  
 с листьями  
 Вырывают зонты у прохожих.  
 Я стараюсь за тополем выстоять —  
 Боже! Боже...  
 Первый снег и сразу с буранами.  
 В чём, скажи, я провинилась?  
 В том, что верила самообману  
 Или что не тебе я снилась?  
 Что горела рябиной осенью,  
 Что упала. И без соломки...  
 Дождь со снегом, и волос  
 с проседью,  
 И ледок на дороге ломкий...

\* \* \*

Слышу, стихи постучали в душу.  
 Значит, сегодня я боль  
 не спрячу...  
 Трушу я мелко. Я глупо трушу.  
 Плачет душа моя, горько плачет.  
 Быть с тобой не хочу — не буду,  
 А без тебя... ну куда мне деться?!  
 Била посуду... В сердцах посуду...  
 Словно посуду, разбила сердце.  
 Встал на дороге Росстань-камень —  
 Куда идти мне? И где же счастье?  
 Ставни закрою... Плотнее ставни.  
 «Здравствуй, — скажу я  
 при встрече, —  
 здравствуй...»

\* \* \*

Расцвела на бульваре сирень,  
Распустилась рядом рябина...  
Я иду по дорожке мимо  
В этот майский солнечный день.  
Чехардят у скамьи воробьи,  
Сорочонок пьёт жадно из лужи,  
Ветерок обнимает и кружит,  
Вдаль летят облака-корабли...  
И душа потянулась им вслед,  
Поднимаясь всё выше и выше,  
Вот уж стука трамваев не слышу...  
Вот уж звёздный зажётся свет...

*В XIII Конференции Ассоциации писателей Урала в Оренбурге (ноябрь 2012 г.) приняли участие представители 22 республиканских, областных, окружных писательских организаций Союза писателей России и Союза российских писателей Поволжья, Урала и Западной Сибири, а также писатели из Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.*

*Единогласно проголосовали участники конференции за приём в Ассоциацию Оренбургской областной организации Союза писателей России (председатель Пётр Краснов), которая стала 23-м коллективным членом уникального писательского объединения.*

*Координатор Ассоциации, сопредседатель Союза писателей России Александр Кердан выразил благодарность в адрес губернатора Юрия Берга и правительства Оренбургской области за масштабную поддержку литературной деятельности в регионе и содействие в организации на оренбургской земле данного литературного форума.*

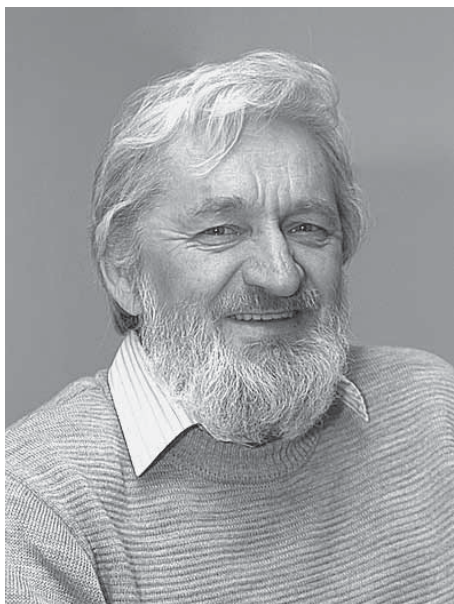
*Вечером этого же дня состоялась церемония вручения Всероссийской литературной премии им. Д. Мамина-Сибиряка. Премии были вручены: Иванову Николаю (Москва), Казанцеву Петру (Салехард), Кожевниковой Наталье (Оренбург), Комарову Геннадью (Челябинск), Мазину Владимиру (Нижневартовск), Фатыхову Салиму (Челябинск), Юлаеву Ивану (Оренбург).*



**ХІІІ конференція Асоціації  
писателів Урала в Оренбурзі**







Владимир ОДНОРАЛОВ

## СВЕТЛЯЧКИ

*Владимир Иванович Одноралов родился в 1946 году в селе Дудукаловка Егорлыкского района Ростовской области. Родители через полгода вместе с ним переехали в Оренбург. Учился в медучилище, служил в армии в качестве фельдшера. Окончил Уральский государственный университет, работал журналистом в самарских и оренбургских газетах, на телевидении и радио. Поэт, прозаик, публицист, детский писатель. Лауреат премий журналов «Костёр» (1986), «Литературная учёба», областной премии «Оренбургская лира» (1997), региональной литературной премии им. П.И. Рычкова (2009), дипломант Международной литературной премии им. С. Михалкова «Облака» – «Лучшая книга – 2009» за книгу для детей «Калоши счастья» (2009). Член Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.*

### ПРЕДИСЛОВНЫЕ ГЛАВЫ

#### Глава первая Лушная

Елшанка моя (второе название Покровка) поселилась и живёт с тех пор у великой Лушной горы. Это местные так выговаривают «Лушная». На карте же напечатано грамотно: «Лучная». Название самое точное: восходные лучи упираются в неё и скатываются на село. А на закате на ней отдыхают лучи вечерние, и светится гора тёплым золотом.

Она в самом деле великая! Едешь, едешь степными дорогами, и вдруг такая горища вырастает! Всё знающий водитель автобуса веско поясняет: «Семсот шийсят метров над уровнем моря; выше в области ничего нету».

Конечно, для непальских шерпов она не гора вовсе. У них Джомолунгма раз в двенадцать выше. Но сколько ж на этой Джомолунгме народу поубивалось – тихий ужас! От камнепадов, снежных бурь, кислородного голодания. Говорят, что там

и с ума сходят от какого-то особого горного страха.

На Лушной никто, слава богу, не пропал, не погиб и с ума не сошёл.

Впрочем, рассказывают, что в прошлом столетии ехал мимо неё второй секретарь тогдашнего райкома партии. Остановил он своего «козлика» (были такие внедорожники для начальства), вышел на волю. Весна, незабудки, благорастворение воздуха... Размяк он душой и говорит шофёру: «Ты, Федя, отдохни, поспи, что ли, а я, айн момент, цветочков жене нарву». И рванул в гору, к вершине. Шофёр поспал часок — а секретаря нету. Короче, искал он его до утра. Охрип от кричанья, даже плакал — секретарь как провалился. Шофёра уволили. Как же, не уберёг ценного кадра. А кадр через какое-то время объявился живым и здоровым в областном центре, на серьёзной полусекретной должности.

А больше никто на Лушной не пропадал. И если на великой индийской горе одни камни да вечные льды, да нехватка воздуха, то моя Лушная, как живой зверь, одета зелёной шкурой. Это летом зелёной. Осенью она одевается так, что жарптицам не снилось; а зимой становится седой, как матёрый лось, и загадочной. Самые живые и нежные цвета у неё весной, когда кора у деревьев светится, и зелёная дымка новорождённой листвы качается в кронах, как в колыбели.

Все породы деревьев здешних лесов — королевские ольхи, вязы и осокори по ключам, берёзы, осины, липы, искорёженные ветрами дубы на вершине — все в её шкуре име-

ются. Есть и сосны, и лиственницы, но это посадки. О малинниках, вишарниках, о цветах и травах, грибах и ягодах и не говорю, языка не хватает.

Да! И живности всякой на Лушной тоже хватает. И лоси есть, и волки, и медведи... Никто не считал, сколько у неё распадков, сколько родников, от которых начинаются ключи. Есть на ней заповедные пещеры и даже озеро потаённое, но о нём старые старики знали, а мы — нынешние — забыли.

Небось, хотела бы Джомолунгма так вот украситься, да не дано ей. А воздух, воздух на Лушной какой! Его не вдыхаешь, а пьёшь, словно небесное молоко. И растёт в её распадках папоротник. Не обычный, а, как учёные говорят, реликтовый, под два метра вымахивает. Тётя Саша Протопопова говорила, что он-то и цветёт на Ивана Купалу. Ну а там, где есть такой папоротник, есть и сказки про клады.

Вот коротко, какая она, загадочная моя Лушная. Думаю, она не уступит и прославленной Фудзияме. И местные жители пусть не ревнуют, что я называю ихнюю гору моей. Они сами-то к ней как-то теплохладно относятся. Понятно, что крестьянская жизнь не сахар. Особенно в нынешнюю эпоху перемен она не оставляет почти времени, как говаривал мой последний редактор, «на охи и ахи». Но всё же в какой-то особый час осознать окружающую тебя красоту — это спасительно и для человека, и для горы. Да и есть, есть, конечно, в Елшанке люди, которые всё это очень понимают и кланяются в душе великой Лушной горе



хотя бы за то, что бережёт она село от северных ветров, и зима здесь мягкая.

Меня с Лушной свёл и познакомил друг мой Олежек, Олег Палыч. Его нет уже с нами, а Лушная — вот она, передо мной. Чем тут утешиться? И он смотрел на неё когда-то так же, как я сейчас, — с любовью.

## Глава вторая Прощание

Двенадцатый день рождения запомнился мне крепко. Хотя никаких подарков, кажется, не было. Ну одёжка для школы, новые учебники и тетради, маленькая школьная готовальня — так это всем купили, так положено. Правда, отдали мне наконец полевую сумку офицера. Она осталась у нас от квартиранта зенитчика. Он окончил училище и так спешно уехал на Камчатку, что забыл на вешалке полевую сумку с компасом и отлично заточенными карандашами для рисования карт. Бабаня никак мне её не отдавала — чужая вещь! Да я сам понимал — чужая, и цены ей нету, один компас чего стоит! Но пять лет уж прошло, как уехал наш лейтенант на Камчатку, он и открытки бабане перестал присылать, вот и отдали мне на радость, а маме экономия — портфель не покупать. Старый, ободранный весь и залитый внутри чернилами никуда ведь не годился.

Подарок, однако, был — и мне, и маме, и братишке Серёже — всем! Накануне сентября отец получил квартиру в старинном здании главной пожарной команды — под самой

высокой в городе каланчой. С этой каланчи, говорят, в хорошую погоду Москву видать, но проверить было нельзя, туда не пускали. В квартире до нас жила семья небольшого пожарного начальника. Мама с отцом, как только начальник съехал, сдали меня и братишку бабане, а сами ушли на квартиру — освобождать её от хлама и отмывать новое жильё от пыли и запахов чужой жизни, чтобы скорее завелись свои запахи и своя пыль.

Двое суток они мыли полы, рамы и стёкла (в квартире было четыре окна, а в нашей форштадтской мазанке — одно), белили стены и потолки и поздно, затемно уже, приходили на ночлег, усталые, но такие счастливые, какими я их, пожалуй, больше не видел.

— Слава богу, клопов нет! — говорила отцу молодая моя мама.

— И тараканов не видать, — радостно поддакивал молодой мой отец, и они тут же засыпали.

На третьи сутки отец ушёл на дежурство (он в пожарке служил шофёром), а мама в новой квартире боялась оставаться одна, и велела мне вечером обязательно прийти. Обязательно! А на следующий день — первого сентября — она оттуда, с новой квартиры, проводит меня в новую школу... со снаряженной уже учебниками, тетрадями, пеналом и чернильницей-непроливайкой полевой сумкой офицера. Новая школа — это был ещё один, горький, надо сказать, подарочек. Из-за новой квартиры меня привели в городскую школу номер 33. Говорят, такую же хулиганскую, как и наша, форштадтская, номер 34.

«Смотри, не забудь!» — наставляла меня мама полусонного утром. И вдруг я понял, что мы уезжаем из форштадта — и проснулся. Мы уезжаем от его кривых улочек, которые косогором скатываются к Уралу. Помои тут принято выплёскивать прямо в колеи «проезжей части» или в пыльную траву, называемую «вениками». Пыли в жаркие дни у нас хватало, зато зимой идёшь кривыми синими тропами в школу — как по небу!.. Уезжаем в город, где местами уже положили асфальт, а в парках продают газировку, но такого небесно-чистого снега там не было никогда. Я не знал ещё, что в душе не однажды буду плакать по этим грязным, пыльным, заросшим вениками улочкам, залитым запахами цветущих акаций, сирени, джиды.

Не пустые это слова про боль и печаль по малой родине, только слово «малая» — неточное. Я бы сказал — первая, первородина моя — Форштадт. А то, что она умещается в сердце, — это не от малости, сердце многое может вместить.

Вечером я отправился к маме, и бабаня помахала мне, а когда я помахал в ответ и отвернулся, перекрестила меня. И я ушёл из форштадта по залитому сентябрьским светом городу, мимо затихшего к вечеру базара, мимо фонтана в главном сквере, который скоро выключат на зиму совсем. Обошёл угрюмый Дом Советов, под крышей которого жили ласточки, миновал цирк-шапито, и вот она — новая наша обитель. Меня охватил вдруг восторг — ведь разве каждому мальчишке повезёт жить под высоченной пожарной каланчой,

с которой ну не Москву, конечно, но степи за станцией Меновой двор видны до невысоких синих холмов на горизонте.

Мама рассказала мне, что три крайних окна на втором этаже справа — это наши. Я их сразу увидел. Окна были громадные, в рост взрослого человека. В третьем, распаханном (это было окно кухни) стояла мама, звала меня и чему-то смеялась. По каменной лестнице я поднялся на второй этаж, там чья-то бабушка показала мне дверь нашей, двадцать первой квартиры, — и я вошёл.

Это были хоромы — свободные от вещей, выбеленные и чистые — в окнах словно бы не было стёкол. Отражённый окнами напротив закатный свет заполнял комнаты медовым покоем. Первая, длинная, как вагон, начиналась с небольшой печки, на которой пытели новенькая кастрюля и чужой кофейник, и заканчивалась распахантым окном. Мама гладила на подоконнике мою школьную одежду, а перед ней на единственной табуретке сидела весёлая, с ямочками на щеках блондинка. Это была тётя Оля, подруга мамина на всю жизнь. Они болтали о каких-то глупостях, представляете, о любви! Что вот, мол, бывают женщины и не очень стройные, вообще некрасивые и не совсем умные, а мужчины на них оглядываются. И что не все умеют любить — это, оказывается, как талант. Обе они, на мой взгляд, были и стройными, и красивыми, и умными, но говорили вот эту ерунду про любовь и смеялись. Увидев меня, они смолкли, и вновь рассмеялись, нет, не надо мной, а так — хорошему осеннему вечеру в чистых

высоких комнатах, где пахло свежей побелкой, горячей тканью и какой-то детской едой. Тётя Оля встала и вздохнула.

— Ну вот и прибыл твой охранник. Корми героя, а я пошла, — сказала она нараспев.

Мы закрыли окно, накрыли стол на табуретке и поужинали, сидя на полу, на чистых, как и всё вокруг, постелях. Поужинали детской едой — какао с тёплым ещё хлебом. Никогда больше я не ел такого пахучего, чудесного хлеба и не пил такого какао. Никогда!

### Глава третья Олежек

И в самый мой день рожденья стоял я в отглаженном на подоконнике костюме, хорошенький, как вымытая морковка. Ничего форштадтского во мне, кажется, не было уже, разве что оттопыренные уши. Я стоял на пороге своего нового класса — пятого «А», и тридцать пар глаз впились в меня, конечно же злорадно гадая — из какого материала выструган этот форштадтский Буратино? Я немного трусил. Между форштадтскими и городскими с пугачёвских ещё времён бытовала вражда. Форштадт-то Емелька взял, а городские отсиделись за валом и пушками. И нынче они осенью и весной по асфальту ходят, а мы — в резиновых сапогах вброд по грязи. Мы то углём, то дровами, то лузгой топимся, а они чугунами батареями греются. У нас уборняшки щелястые, а у них водяные туалеты с ванными. Нам до стан-

ции «Пионерская» и до пляжа за ней 5 км топать, а у них Советская улица прямо на Беловку выводит. Пришёл, поздоровался с лётчиком Валерий Палычем, и за ним сразу спуск к бабушке Уралу. И купалки там для городских, которые плавать не умеют. Всё для них!

Но вот детская железная дорога вся почти наша! Помощники машиниста, начальники станций, проводники и даже контролёры — все форштадтские. Мне поэтому прокатиться от «Комсомольской» до «Дубков» зайцем — запросто, а им вот — фикушки.

И ещё весной, когда деревянный мост из Европы в Азию (то есть в Зауральную рощу) разобран, наши форштадтские на плоскодонках зарабатывают свою копейку, а нас, своих то есть, бесплатно берут, и даже дают погрести тем, кто умеет...

И с Красной горки, от Пугачёвской улицы прямо на уралушкин лёд, — из городских на лыжах никто не скатывался, не смели!

Такие — то желчные, то гордые мысли кипели в моей голове, и я храбрился.

И словно очнулся: какой же я теперь форштадтский? Поселился в хоромы с паровым отоплением и водой на кухне. И пусть общим, на пять семей, но всё же водяным туалетом. Признает ли меня теперь Форштадт? Сомневался я тогда, что признает. А он признавал. И даже когда из армии вернулся — признал, а через двадцать лет — умер.

Тем временем пахнувшая «Красной Москвой» учительница представляла меня классу. Она закончила речь словами: «Итак, это ваш

новый товарищ, надеюсь, до получения аттестата зрелости».

А я чувствовал себя как матрос на бумажном кораблике. Кораблик тонул, и я на прощанье, как бы любопытствуя, скользил по глазам своих судей.

И — наткнулся на карие, под ярко-чёрными бровями, глаза широколицего мальчика. Он сидел за первой партой прямо перед учительским столом и тянул руку. И глядел на меня не как все, а с добродушной, не обидной насмешливостью: мол, держись ты, чудак, небось не потонешь!

«Да, Олег, говори», — увидела наконец его руку учительница.

И произошло непонятное — Олег заговорил не вставая! И учительница, главное, никакого на это внимания, будто так и надо.

«Анна Андреевна, тут за мной, рядом с Егоровой свободное место», — сказал тогда он.

И она спокойно ему ответила: «Что ж, если ты берёшь новичка под свою опеку, я — за. Быть посему!»

С вьюгой в голове я сел за вторую в жизни парту. Тут же мне в затылок шмякнули жёванный бумажный шарик, но я о нём тотчас забыл. «Что ж это за школа такая? Вернее, что это за Олег такой? Может, он самый отличный отличник и у него есть поэтому право говорить с учителем сидя? Накануне я прочёл книжку «Принц и нищий», там один то ли дворянин, то ли бродяга спас принца, за что ему, единственному англичанину, было позволено сидеть в присутствии короля. Может, этот гипнотизёр (так прозвал я про себя Олега) тоже спас кого-то? К приме-

ру, директора школы от пожара?».

Меня прямо заклинило, и я не слышал, о чём говорила у доски учительница. Олег между тем, не оборачиваясь, по-кошачьи ловко вывернул руку за спину, и передо мной на парте оказалась записка. Начинаясь она повелительным и непонятным словом: «Воларондо! (Дальше шло непонятное.) Не кисни. Кислых не любят, а бьют». И вместо подписи опять какая-то чепухня — «Нишукрим».

Я, как умел, приосанился (мол, нисколько не кисну) и стал ломать голову над странными словами. «По-испански, что ли, написано?» Я догадался, что это как бы шифр и нужно его разгадать. Тут моя соседка Оля, маленькая, как воробушек, девочка в круглых очках наклонилась ко мне и жарко зашептала: «Это надо так вот читать» И она пальчиком подчеркнула непонятные слова справа налево. И я легко прочёл свою собственную фамилию, а затем фамилию Олега — Миркушин. Но зачем и к чему была эти шпионские штучки?

Уроки закончились. Ребята собирали портфели и уходили, с интересом поглядывая на меня, на мою офицерскую сумку и почтительно прощаясь с Олегом. А тот всё не уходил и ждал чего-то. Я решил подождать его на улице, поблагодарить, что ли, но только встал, как надо мной раздался весёлый возглас: «Пока, новенький!» Какой-то здоровяк занёс надо мной толстый, противного зелёного цвета портфель. Но Олег, словно именно этого и ждал, властно рявкнул: «Не трогать новенького!», и здоровяк послушно

опустил портфель и похлопал меня по плечу: «Живи! Олежек тебя бить не велит». Это был добряк и второгодник Витёк, с которым мы потом нормально сосуществовали.

В класс вошёл седой мужчина, очень похожий на Олега, улыбаясь и здороваясь со всеми, он пробрался к Олеговой парте, легко взял его на руки и сказал: «Лёгонький ты сегодня, небось, ни одной пятёрки?» — «Первый день, батя, оценок не ставят», — ответил Олег юным баском. Я вышел за ними следом и увидел, как дядя Павел (отец Олежки вскоре стал и для меня дядей Павлом) усадил сына на одетую в рукав стёганки раму велосипеда — и они укатили домой.

«Так вот что оказывается!» — бормотал я, хотя понял только одно — у Олега нет здоровых ног. Это всё, что я тогда понял.

#### **Глава четвёртая «Росинант»**

В конце сороковых в Россию пришла страшная для родившихся после Победы детей болезнь. Она не убивала сразу, но сначала отнимала ноги, а потом... Если ребёнка в семье любили, то болезнь словно бы замирала — ребёнок рос совершенно здоровым в отношении ума и сердца, становился юношей с теми же запросами и интересами, что и его друзья-сверстники, а в отношении постижения книжной премудрости было даже горьковатое преимущество — вынужденная усидчивость. Таковым был и наш Олежек. Он жил сидя, в школе за партой, дома в лёгком де-

ревянном кресле на полозьях, которое легко передвигалось.

Первого сентября я в первый и последний раз видел, как увезли его домой на велосипеде — Миркушиным вскоре прислали инвалидную коляску. У неё были ободья, с помощью которых Олег мог катать себя по комнате и даже по ровному, без выбоин и колдобин асфальту. Ход у неё был лёгкий, велосипедный. Под правой рукой у Олега имелся тормоз, и главной заботой водителя коляски было не увлечься и не вывалить его на асфальт при резком торможении или на крутом повороте. Однако такое случалось более-менее регулярно. Мы — его верные нукеры (так называл он своих друзей) наперебой рвались управлять ею и, бывало, всё-таки увлекались. Но Олег претерпевал эти падения стойко и мужественно и называл их «полётами».

Коляска сильно раздвинула границы его мира. Теперь дяде Павлу не нужно было каждый день забирать Олежку из школы — мы доставляли его домой сами. Потом рассыпались по домам, чтобы освободиться от портфелей, поесть, и так разложить на столе учебники и тетради, чтобы родители, приди они домой раньше, видели — сынок занимался всё же уроками... Через час мы вновь собирались во дворе у Олега под старым тополем, похожим на громадную клушку, под крыльями которой было уютно и нам, и всем жителям Олегова двора.

Пока стоял тихий и тёплый сентябрь, все двери миркушинской квартиры были нараспашку, а пороги были устроены так, что Олег сам

выезжал к нам под тополь. Во дворе, под окнами квартир на клумбочках цвели горько пахнущие шафраны, а в них тихо бурдели дремотные сентябрьские пчелы. Посреди двора высился временный дровяной курган, на поленьях которого наслаждались потихоньку уходящим теплом дворовые коты и миркушинская кошка Пикакола. Как ни уютно было под тополем, золотой сентябрь выманивал нас на улицу. Мы могли посетить Валерия Палыча на Беловке, где продавалось самое дешёвое в мире мороженое, фруктовое, по семь копеек стаканчик. Могли отправиться на вокзал поглазеть на доползший до нас поезд из дремотной Азии, на толстых проводников-узбеков, которые стояли в тамбурах с огромными дынями под мышками. Им нужно было скорее сплавить эти тяжёлые, как авиабомбы, и невероятно вкусные дыни, иначе их поезд до Москвы не доползёт. Могли заехать в садик имени Ленина, где памятника ему не было, но было, как определил Олег, четыре памятника Карлу Марксу. В этом полусаду-полусквере имелось три фонтана на центральной аллее. Два крайних — просто бетонные чаши, а в среднем красовалась стела, украшенная четырьмя львиными мордами. И эти геральдические морды очень походили на лики Карла Маркса.

Могли мы посетить любую окраину города. С Олежкой нас никакая шпана не трогала, блюла какое-то благородство. Я очень хотел посетить с ним свой Форштадт, теперь я бывал там только по выходным (по воскресеньям то есть), а скучал ежедневно. Я вспомнил, что в фор-

штадтском кинотеатре «Урал» идёт шпионский фильм «Над Тисой» — и предложил Олежке и всем нукерам нагрянуть в этот кинотеатр, тем более что билеты на дневной сеанс там наверняка будут.

«А поехали!» — азартно согласился Олег. В этих наших путешествиях он глазами впитывал родной город, может быть, представляя, как придёт когда-нибудь сам в полюбившийся уголок. До кинотеатра мы добрались быстро. И пока дожидались начала сеанса, Олег весело разглядывал «торговый центр» напротив.

«Ну теремок!» — восхищался он. И было чем. Магазины и магазинчики лепились там и друг к другу, и друг на друга. Промтоварный и продовольственный стояли рядышком, в центре, как равноправные компаньоны. Под ними прятался в полуподвале овощной, но выдавал себя резким запахом квашеной капусты, который слышен был и через дорогу. Кроме того там имелись хлебо-булочный магазинчик, пункт приёма стеклопосуды, пивнушка и даже керосиновая лавка.

«Парикмахерской не хватает», — заметил Олег. Но парикмахерская была, только она была рядом с кинотеатром как более культурное, нежели пивнушка, заведение.

Зрителей в будний день было немного и мы свободно въехали в фойе и вручили билеты контролёрше. Увидев Олежку, она расстроилась:

— Сынок, да зачем ты билет-то брал? Не бери больше, я тебя так пускать буду, — жалостливо сказала она.

— А моих нукеров? — строго спросил её Олег.

— Это каких нукеров? — насто-  
рожилась она. — Этих, что ли? Не-  
ет, меня за них заругают, они пусть  
билеты берут, они же здоровые.

— Так не пойдёт, — скучным го-  
лосом ответил Олег. — Или всех пу-  
скайте, или никого.

И мы прошеествовали на свои ме-  
ста. Мы — а Олег был в коляске, в  
проходе, и его место осталось сво-  
бодным.

После фильма мы по непроез-  
жей Степана Разина спустились к  
Уралушке, такому задумчивому,  
золотисто-прозрачному в эти дни.  
Мы смотрели на воду, на оранже-  
вые листья, плывущие в Каспийское  
море, и мальков, которые тыкались  
в эти листья, думая, что они съедоб-  
ные.

И я сказал Олегу, что он впол-  
не законно мог бы ходить в кино  
без билета, ведь места-то он не за-  
нимает.

— Воларондо, — прервал меня  
Олег, — ты не понял, что ли? Она  
меня калеккой обозначила, отделила  
от вас. А ты как считаешь, я хуже  
тебя живу?

— Да, Олег, что ты, нам с тобой  
так здорово, — растерянно возразил  
я.

У Олежки заблестели глаза. За-  
звеневшим голосом, постукивая ху-  
дым кулаком по подлокотнику, он  
проговорил:

— Это всё временно. Меня вы-  
лечат. Я выздоровлю. А Росинанта  
сдам в утиль! Веришь? Ты веришь?

— Верю, — охрипшим голосом  
тихо ответил я. Наши спутники ме-  
тали по тихой воде «блинчики» и  
лучше всех выходило у длинноруко-  
го Хылява. Нашего разговора они не

слышали, а когда подошли, Олежек  
снова повеселел:

— Не журишь, Воларондо, Роси-  
нанта мы в утиль, конечно, не сда-  
дим, мы из него велосипед сделаем,  
— сказал он непонятную для них  
фразу. Впрочем, ни Хыляв, ни На-  
миран, не знали тогда, откуда взя-  
лось это гордое имя — Росинант. А я  
знал, и этим слегка гордился.

## Глава пятая Праздники

Этот «полёт» (так Олежек обо-  
значал свои падения с «Росинанта»)   
случился отчасти по вине Бори Хы-  
лява, и отчасти из-за тормоза под  
Олежкиной правой рукой. В горо-  
де с утра шумел-гремел Первомай.  
Река демонстрантов вынесла нас на  
праздничную Беловку. Урал непло-  
хо разлился в тот год, и знаменитый  
мост из Европы в Азию ещё не на-  
вели. Попасть в зелёный зауральный  
рай можно было только за два дву-  
гривенных. Это наши форштадтские  
подрабатывали на хлеб-соль, пере-  
возя горожан в рощу на плоскодон-  
ках. Но в майской весёлой зелени  
можно было устроиться и на нашем  
европейском берегу, где-нибудь за  
станцией «Пионерской», или от-  
правиться в недолгое плавание на  
детском теплоходике «Гризодубов».  
Эти улады были, конечно, не про  
нас, как, например, вкатить Олежку  
на «Гризодубова» по шатучему узко-  
му трапу? Но мы и не завидовали на  
них. День Первомая — это был один  
из трёх дней (ещё два — 7 ноября и  
5 декабря, Олегов день рождения),  
когда Миркушины устраивали боль-

шое застолье для родных и для друзей — одноклассников Олега.

Поэтому, полюбовавшись на мутный ещё Урал, мы выпутались из праздничной толпы и покатили вниз, вниз, вниз, к дому под тополем, который уже оделся клейкой, весенним ладаном пахнущей листвой. «Росинанта» вёл Боря Хыляв. И он увлёкся. Какой же русский не любит быстрой езды? И Олег любил, но Олег видел, что Боря катит на толстую даму с авоськой, полной гастрономической продукции и бутылок. Олег понял, что грядёт лобовое столкновение, и рванул тормоз. И вылетел из коляски, шмякнувшись, как мешок, прямо под ноги усыпленной какими-то мечтами даме. Та вскрикнула и авоська хлястнулась об асфальт. А мы испугались за Олега. Он, к счастью, оказался цел, только ободрал локти. И пока дама, причитая и проклиная «всякую шпану на колёсах», выясняла, что именно у неё «хлястнулось», мы восстановили Олега в седле «Росинанта» и ступали в толпе.

Хотя нас ждали к столу, Олег настоял, чтобы мы на несколько минут заехали в соседний Матросский переулок, в укромные заросли акаций. Я с удивлением узнал, что Хыляву за его увлечённость полагается двадцать ударов по прессу. Те же двадцать ударов заработал и сам Олег, потому что тоже увлёкся и вовремя Борьку не окоротил. Однако и я, оказывается, тоже схлопотал двадцать ударов, ибо стал свидетелем ритуала тайного общества ВСП (Всегда Судящих Правильно). У меня был выбор, вступить в это самое ВСП и подвергнуться экзекуции, или...

Но какое могло быть «или». Тайное общество, в котором по прошествии испытательного срока мне предлагалась должность тайного советника, а вступительный взнос всего двадцать оздоровительных ударов по прессу? Да это же даром! Мы вдохновенно отлупили друг друга, как выразился нукер Намиран, «по пузам», и поспешили к дому.

По дороге Олег рассказал мне о сути нашего ВСП. По уставу мы обязаны не врать друг другу, а по возможности даже родителям и учителям. Не обижать маленьких девочек и учителей. Не ябедничать. За ябеду полагался моральный расстрел — то есть исключение из нашей тёплой компании. Не бросать друг друга в опасности, уважать товарищей по классу как возможных продолжателей нашего дела. Второгодника Витька не дразнить, но не подражать ему в привычке иногда материться и в курении. Тайн друг от друга быть не должно. Если кто-то нашёл что-то интересное — книгу, игру, место, сокровище, — то должен поделиться со всеми...

Все статьи я уже не припомню. Однако у нас были членские билеты — картонные карточки с изображением сжатого кулака и буквами ВСП на нём. Тайным наше общество было для родителей, педагогического коллектива и КГБ. В классе и школе о нас знали. Преподаватель труда Михаил Афанасьевич однажды нашёл на верстаке оставленный мною по рассеянности членский билет, на котором значилась перевернутая моя фамилия. Вернул он мне его со словами:

— Дуроломы сопливые, вот заме-



тут вас в тундру, вэсэпэшники хреновы!

Михаил Афанасьевич отсидел в своё время пять лет и в тундре бывал.

— Не заметут, — рассудил, узнав об этом, Олег. — Наш устав не противоречит уставу пионерской организации. А «ВСП» как угодно расшифровать можно.

— Верные социализму пацаны, — брякнул вдруг Намиран-Нариман.

— Вполне подходит, — одобрил Олег.

### Глава пятая «а» Праздники (продолжение)

— И где же вас носит, аллаяры! Пельмени кипят, а их нет, паразитов, — так, совершенно, как родных, встречала нас тётя Настя.

Стол для аллаяров накрыт был в Олежкиной комнате, просторной настолько, что в неё помещалась роскошная радиола «Фестиваль» и, по крайней мере, две-три пары могли тут потоптаться под музыку. Но некому было топтаться — девчонок в нашей компании пока не было. Родня и вообще взрослые поместились в более тесной передней светёлке, где всё ещё стояла в полной готовности чёрная цилиндрическая печь с жутким названием «контрамарка». Тётя Настя никак не верила, что паровое отопление, исправно согревавшее их всю минувшую зиму, совершенно надёжно.

С чем можно сравнить первомайский пир у Миркушиных? Да только с таким же весенним пированием у нас, в Форштадте. Материальная и

духовная стороны были очень похожи. Те же закуски (почти ничего из магазина), выпивка, те же тосты и песни. У нас, правда, в погожий день столы накрывали во дворе под цветущей яблоней-дичкой. И к песням, если мой крёстный дядя Павел приносил патефон, прибавлялись танцы.

В шестидесятых в городе уже не «выбрасывали» на растерзание очереди селёдку по-домашнему и чайную колбасу — ими просто торговали. Хлеб и булочки отпускали безо всяких ограничений. Вдоволь появилось карамелек и вообще сладостей. Правда, мясо в магазинах оставалось блатным продуктом. А на базаре оно лежало, и ради праздничка хозяйки его брали, хотя и ворчали, конечно, на цены.

Вообще, столы тогда накрывались не благодаря магазинам. Например, на Олежкином столе из магазинных продуктов вспоминается селёдка с пёрышком лука в скорбном ротике да толстенная любительская колбаса, — замечательного, недоступного нынче качества. Остальное — сырой окорок, сало, как правило, нескольких видов, солёные грибы, «газированные» бочковые помидоры, огурцы, способные, кажется, и мёртвого пробудить, вилоквая капуста ломтями и в свекольном соку, яблочки, замоченные в рубленой капусте, весенние салаты — это всё было или своё, или частично с базара. Хорошие хозяйки и арбузы умели сберечь до мая (конечно, если погреб позволял). А какая это волшебная закуска, кто пробовал — знает. А тугой говяжий холодец, а хреновина к нему — слов нет! И наверняка я про что-нибудь

да забыл, хотя говорил пока что исключительно про закуски.

Наш отроческий стол ничем не отличался от взрослого, кроме отсутствия водки. Бойцовскую «Московскую», отличную «Столичную» и «Тёти Настины слёзыньки» пили там, в передней светёлке. Нам, отрокам, полагалось по три рюмки кагора. Первая — перед пельменями или мантами (в шестидесятых они были в моде), или курником.

Вторая — перед рыбным пирогом (обычно с сомятиной и капустой). И под конец пира — перед песнопениями.

И как же нам хватало этих трёх рюмок божественного вина! Сколько настоящего веселья, искр чистого остроумия высекали они из нас. Сколько песенных строф вдруг вспоминалось. Но вернёмся в тот Первомай.

Старший брат Олега Валентин, будущий журналист, а в текущий момент боксёр (и даже чемпион области в своём весе) всё нырял, как маятник, то к взрослому, то к нашему столу. Но тяготел всё-таки к нашему, из-за любви к брату. Он даже, немного рискуя, принёс ещё одну «прозапасную» бутылочку кагора, и нам, значит, доставалась четвёртая рюмочка перед самым главным — пением.

Взрослые, впрочем, уже пробовали войти в песенное состояние, но это всегда не сразу получается — и две попытки у них провалились. Наконец они затаили «Бродягу» и «вошли в волну»! А мы ждали своего выхода, своей атаки, как засадный полк. Мы ждали, когда дядя Павел, успевший в тридцатых повоевать с

басмачами, затаит свою, любимую. И вот он затаил, и его тут же вдохновенно поддержали — первая тётя Настя, потом остальные...

*...Как вдали за рекой догорали  
огни,  
В небе ясном заря догорала.  
Сотня юных бойцов  
из будённовских войск  
На разведку в поля поскакала...*

Мы дали взрослым пропеть первый куплет и бросились в атаку, подхватив:

*Они ехали шагом в ночной  
тишине  
По широкой украинской  
степи...*

Мы так подхватили, что те даже потерялись, но пришли-таки в себя и приняли вызов. И вот уже взрослые и юные голоса текут одним потоком. Олег готовил нас к этой песенной засаде — и мы к этому Первомаю знали все напевы и слова их репертуара. Но сверх этого мы разучили несколько не очень популярных в ту пору народных песен.

Ведь даже песенка про кузнецов и Дунина сарафан (не такая уж и простенькая!) и ныне мало кому знакома, а мы её пели. Когда взрослые подустали, Олежек затаил наш сюрприз — «Лучинушку», и, конечно, при нашей отрепетированной поддержке. Женская взрослая половина подпевала нам слезами омытыми голосами, мужская же покорно молчала. Они и не замечали, да и мы не все, что старательно выводя песню, Олег явно подтрунивает над

бедолагой, согласным помереть от несчастной любви:

*Эх, рас-с-ту-пи-ись, земля-а-а  
сырая,  
Да-ай мне мо-о-лодцу-у-у  
прию-у-у-ут...*

выводил он, сверкая весёлыми глазами, а несколько женщин уже плакали.

Взрослые, однако, предупредили нас, что не сдаются и спели песню про гибель танкиста, мы готовили ответ.

Но вдруг Валентин разлил нам остатки кагора, а сам ушёл в светёлку к родне. Он — это мы слышали — потребовал внимания. А потом (неслыханное дело!) захлопнул дверь и в гробовой тишине начал чего-то декламировать.

— Поэму свою читает, — мрачно пояснил Олег. — Всё, убил песню!

Валентин написал поэму. Вернее, маленькую трагедию. Хотелось ему быть и боксёром, и журналистом, и поэтом сразу. Трагедия такая — бедная семья, мать и сын. Зимней одежды нет, еды тоже, купить не на что. Квартира холодная. Мама сыночка упрекает — мол, когда деньги зарабатывать будешь? А тот терпит. А однажды куда-то ушёл. (Женщины тут начали всхлипывать.) А вернулся с двухведёрной хозяйственной сумкой на молнии (были тогда такие), доверху набитой деньгами. Мама его, конечно, рада, выгребает деньги, и вдруг видит, — они в крови, а в сумке на дне окровавленный нож. Дело ясное — зарезал кого-то сынок, и судя по всему (по сумке

то есть), инкассатора! Дядя Павел, между прочим, как раз лет пять и работал инкассатором. И, конечно, тётя Настя первая разрыдалась вполне искренне.

Валентин до праздников ещё читал свою поэму Олежке, тот как заправский критик разнёс её в пух. И вот такой триумф! Валентин выскочил из светёлки прямо ошпаренный успехом, а там слышны ещё были всхлипы, и не только женские — дядя Павел не выдержал.

— Ну? Что теперь скажешь? — победно обратился он к Олежке.

— Брат, и не жалко тебе праздника? Спасибо хоть не прочёл ты её мамке перед лепкой пельменей, а то бы мы поели сегодня... — грустно ответил Олег.

Три дня Валентин и Олег не разговаривали. Наверное, Валентин читал поэму ещё кому-то, но перед самым Днём печати он сжёг свой опус в «контрамарке», а вместе с ним и мечту о поэтической славе. Они, конечно, обнялись и помирились.

## Главка шестая Пояснительная

Серьёзный взрослый читатель скажет: «Все эти ваши удары по прессу — это глупость переходного периода», и, наверное, будет прав, но не на сто процентов, и даже не на пятьдесят.

Просто Олежкин брат Валентин стал чемпионом области по боксу и мы очень гордились знакомством с ним. Он же в благодарность за эту гордость принёс из своего спортивного общества две пары разбитых и не раз

латаных перчаток, «лапу» и даже старую грушу и понемногу обучал нас азбуке бокса. Олег тоже хотел обучаться. Брат подвешивал грушу так, что он мог колотить её, сидя в коляске, с ним Олег мог отрабатывать удар по «лапе», но биться на кулачках с кем-то из нас не мог. И тогда мы придумали «сидячий бокс», или «боксидю»: Олежек оставался в кресле, а его противник садился верхом на табурет, охватив его ножки ногами (чтобы не помогать ими удару). В «боксиде» возможны были только прямые и боковые удары, да и они были неполноценными, но Олег иногда сшибал противника с табурета, да и сам часто вслед за ударом вылетал из коляски. Так он учился терпеть боль. Удары по прессу — из той же оперы. А ещё у нас были дуэли на шпюночных пистолетах (шпюнки делались из гвоздиков, так что «дрались» до крови), а ещё Олег мог проткнуть себе ладонь иголкой, и все эти «зверства» имели цель.

В душе он никогда ни калекой, ни инвалидом не был, он был жожаком. Но при всей своей весёлости разве не тосковал он тайно по убежавшим от него здоровым ногам? Наверное, он видел сон, в котором легко, как ласточка, бежит по зелёной травке, почти её не касаясь.

Ради исполнения этого сна он поверил в нашу медицину, заставил поверить в неё брата, отца и мать и нас — очень тогда легкомысленных, и почти не способных верить во что-то серьёзное. И мы поверили в медицину. Трое из его друзей стали медиками. Среди них и я, грешный, правда, изменивший этой славной

науке сразу же после службы в армии.

Когда мы заканчивали седьмой класс, родители Олега списались наконец с профессорами из Центрального института травматологии и ортопедии в Москве. И те, по окончании им школы, согласились взяться за него со всей мощью нашей медицинской науки. Для врачей это было совершенно новое дело, чреватое кандидатскими и докторскими диссертациями. Олежке же нужно было готовиться к ряду болезненных операций, которые неизвестно ещё принесут ли выздоровление, и он готовился в меру сил и разумения, а мы по законам дружбы должны были быть с ним.

## Глава седьмая Изгнание

Пока шли экзамены, эта третья и последняя моя весна в тридцать третьей школе казалась тихой и бесцветной. Но вот получили мы аттестаты и обнаружили, что уже цветут яблони, а в городе хозяйничает жаркий, грозовой май.

После экзаменов мы чувствовали себя лёгкими, как одуванчиковые парашюты — вот дунет ветер, и мы куда-нибудь полетим. Мне точно предстояло куда-то улетать. По школе я особо не грустил. Олег, нулевская наша ватага — вот что было дорого!

Экзамены сданы, аттестат мой украшают в основном трючки. Пятёрки как всегда — по пению и рисованию.

Оперируя этим трючным атте-

статом, наша классная дама убедила маму, что учить меня в школе дальше — не в коня корм. Что в любом ПТУ мне будет гораздо лучше. Мама плакала. Она считала меня талантливым, но ленивым. Бабадя же постановила: «Насильно мил не будешь. Разве негде дальше учиться? Есть! Ну и слава богу».

Олег же рассудил так: «Старик, ты вокруг посмотри, жизнь, что ли, кончилась? Ты хоть на кого можешь пойти учиться — хоть на дамского парикмахера, хоть на космонавта. А друзьями мы остаёмся навсегда».

И я посмотрел вокруг. Конечно, мне хотелось бы пойти учиться в мореходку или, на худой конец, в геологию, но в нашем граде таких учебных заведений не было. Были техникумы — железнодорожный, автомобильный и механизации учёта, но дорога туда мне была заказана по причине дефекта зрения. По этой же причине меня не взяли бы ни в моряки, ни в геологи.

И однажды я забрёл в медицинское училище. Я слышал, что там учатся одни девчонки, но уже на лестничной площадке, в курилке, обнаружил человек двадцать мужского пола. Ребята были в аккуратных белых халатах, которыми они, похоже, гордились, и سموлили «Шипку». Я вошёл в училище и покорился ему. Здесь были не классы, а аудитории и кабинеты для лабораторных занятий. В коридоре, в тёмных шкафах стояли чьи-то заспиртованные мозги, навсегда остановившиеся сердца и страшные младенцы. Каким-то образом эта мертвечина служила делу сохранения жизни, и это было загадкой.

Сразил меня и туалет. Там, в мужском отсеке, стояла огромная ванна, накрытая листом продырявленного железа. В ней, не подозревая о нелёгкой своей участи, оглушительно пели весенние лягушки.

Когда я вышел ещё раз глянуть на анэнцефала, меня окликнула бодрая, пахнущая духами старушка. Руки у неё были заняты какими-то коробками, и она попросила меня открыть ей дверь в кабинет-лабораторию. Мы вошли, и я помог ей разгрузиться. В кабинете стояли не парты, а столы, а на столах настоящие микроскопы. Заметив мой восхищённый взгляд (я до сих пор люблю оптику), старушка, будущая моя преподавательница микробиологии, предложила: «Хотите посмотреть?» Я кивнул. Она повела меня к старинному цейсовскому микроскопу с прямым тубусом.

— Вот здесь готовый препарат, попробуйте сами его рассмотреть.

Я настроил зеркало, осторожно повернул винт тубуса и в идеальном ярком круге увидел красные брёвнышки и цепочки из красных шаров.

— А кто это? — спросил я.

— Хороший вопрос, — улыбнулась старушка. — Это, так сказать, квартиранты нашего кишечника.

Она заглянула в окуляр и похвалила меня: «А вы молодец, препарат в фокусе. У вас есть все шансы стать нашим студентом».

Польщённый похвалой, я подумал: «Студентом я согласен».

Узнав о моём решении, мама снова заплакала: на этот раз от радости.

— Да Кизяк-ты-мой-навоз, да неужели ты на доктора выучишься?

— причитала она. — Да я тебе велосипед куплю с моторчиком, если поступишь в училище.

Я солидно поправил маму, что училище выпускает фельдшеро-акушеров, а уж потом можно будет выучиться на доктора... Я уже представлял, как влетаю в Олегов двор верхом на «моторчике» в трепещущем белом халате с фельдшерской сумкой через плечо и фонендоскопом на шее...

## Глава восьмая В путь!

В третий раз над входом в Олегово жилище запах весенним ладаном старый тополь. Он уже давал лёгкую тень, и как сладко было сидеть в этой тени с друзьями и есть мороженое, хотя бы и сливочное, но лучше пломбир.

Мы отдыхали от экзаменов. Некоторым из нас (мне, к примеру) предстояли осенью ещё одни — вступительные, и родители позволяли нам есть мороженое вволю.

Я расскажу про наше мороженое, ибо нынешние дети такого не знают.

Оно, во-первых, готовилось из настоящего молока и сливок. Во-вторых, никаких упаковок. На перекрёстках, в парках под тенистыми деревьями стояли звонкоголосые, румяные женщины в белых одеждах возле голубых ящичков на колёсах. Ящички были набиты искусственным льдом, а во льду стыли алюминиевые тубы с лучшим в мире лакомством. Мороженое накладывалось ложкой в хлебные

стаканчики наподобие горы Казбек — весом в сто граммов. И вот, пока вы неторопливо управлялись с этой стограммовой горой, она сама погружалась в поджаристый и хрустящий стаканчик до самого дна. Стаканчики выпекались из лучшей пшеничной муки Оренбуржья, а тот, кто их изобрёл, — гениально знал детей. Когда мороженое стали раскладывать прямо на молокозаводе, чудные эти стаканчики пропали. Нет, они выпекались из той же муки, но автомат вдавливал в них мороженое вровень с краями. Пока мороженое доходило до вас, стаканчики пропитывались влагой и переставали хрустеть. Для нашего гения-изобретателя это, наверное, был удар, возможно, он даже умер.

Но пока он жив, и мы хрустим пломбиром в его волшебных стаканчиках, и к нам, под тополь, выходит с таинственным видом дядя Павел. Он вытирает полотенцем руки, испачканные в муке, и торжественно объявляет:

— Так что, молодые люди, имею, значит, честь пригласить всех вас завтра к двенадцати к нам. Будем праздновать окончание семилетки. Это событие серьёзное и не отметить его нельзя.

Мы закричали ура, а Олежек громче всех, хотя, конечно, знал, что родители готовят для нас этот внеочередной праздник.

А мне подумалось, что завтрашний пир означает прощание со школой, с нашей отроческой свободой и с друзьями. И действительно, с той поры мы стали пропадать друг для друга — иные надолго, а иные навсегда. Где-то жили, учились, устраи-

ивали судьбу, но уже не вместе, как бы в иных мирах...

Застолье — это самое верное слово для тогдашних пирований, стол в нём — всему голова. Миркушинский стол кряхтел под тяжестью яств. Видимо, дядя Павел и тётя Настя выложили на него обе свои месячные зарплаты. Ничего особенно нового на этом столе не было, так что повторяться не будем — был огромный, как подушка, курник, вместо пельменей — узбекское блюдо манты, магазинная буженина, компоты, но особо всех покорили два, размером с поднос, истекающих янтарным жиром леща. Их привёз Валентин из Астрахани, где он проходил журналистскую практику.

Почему я так пристрастно вспоминаю эти пиры? Да потому, что шестидесятые были сытыми временами, особенно в городах. Не так было в деревне, но и там хлеба ели досыта. Уже и одеваться стали не во что попало. У родителей наших появилась праздничная одежда, а среди молодёжи — ребят постарше нас года на три-четыре — завелись стилиги, которых безжалостно жучили журнал «Крокодил» и вся советская пресса. Наши родители стилиг тоже не приветствовали, а нас одевали чисто, и заплат на одеждах уже не было.

Семилетка была закончена окончательно, и по этому поводу тётя Настя увеличила нам разрешённую чарку кагора почти вдвое. Манты и лещи, особенно «добавочный» кагор очень нас разогрели. «Лучинушку» мы пели с таким подъёмом, с каким в тоталитарных государствах и гимны редко поют. Но с такой закуской

разве качнёт отрока со стакана даже очень хорошего кагора? В сумерках уже мы пошли гулять по цветущему изюмному городу.

К парку возле Дома Советов мы прибыли, когда нельзя было отличить обычную сирень от белой. И там Олег огорошил нас. Он объявил, что поскольку семилетка закончена, а жизнь интересна и без надуманных тайн — наше тайное общество выпускается на бессрочные каникулы. Все глубокомысленно замолчали, а Нариман вдруг выдал двестише:

*Ты прав, Миркушин,  
Наш мир не скучен!*

— Ого, да у нас поэт родился! — поздравил его Олег и в честь этого события предложил провести последнюю операцию ВСП — наломать для наших девчонок сирени — прямо вот здесь, в главном парке города. Ну, тогда это было возможно. Парк был гуще, камер наблюдения никаких. Единственный милиционер, которому положено было наблюдать за парком, дремал в фойе Дома Советов на жёстком и неудобном для спанья стуле.

Сирень ломали Нариман, Борька, Володя Никалут, Нишукрим с низких веток, и я, грешный. Цветы достались Оле Егоровой, Ларисе Петровой и Маше Печениной. А кому ещё — это покрыто мраком неизвестности. Нукеры с остатками сирени разбрелись по домам, и кому-то они её дарили. Я тоже собрался домой, но Олежек остановил меня.

— Воларондо, ты жил когда-нибудь в деревне? — загадочно спросил он.

— Ну... заезжал с отцом в Городище, сметану ели...

— Это не то, — отвечал мне Олег, — хотел бы со мной в деревне пожить, скажем, месяц.

— С тобой запросто. Только мне ведь в августе экзамены сдавать, я мамке обещал — кровь из носу, поступлю.

— И поступишь, — не отступал Олег. — Готовиться я тебе помогу. А деревня — ты таких не видел, — вся в горах, как Швейцария!

Горы! Были мы как-то с отцом на рыбалке, на неширокой степной речке, и с её берега я видел где-то на северо-востоке синие, как гроззовые облака, упавшие на землю, холмы. «Почему они синие?» — спросил я отца. — «Это издали, а так они зелёные. Они лесом покрыты», — ответил он.

Совсем другая страна представлялась мне в этих горах. Туда и звал меня Олежек. Он готовился к поездке в ЦИТО, а дядя Павел и тётя Настя сами были когда-то деревенскими. Они знали, что лучшего оздоровительного учреждения, чем здоровая деревня, не найти. А Олегу нужен был там друг...

Мы свели тётю Настю и мою маму, и та уговорила её отпустить меня с Олегом. Мама тоже понимала, что деревня пойдёт мне на пользу. В благодарность за разрешение я даже отказался от моторчика, и в случае успешного поступления был согласен на велосипед. Всё решилось. Мы должны были отбыть в Елшанку — таинственное село в синих холмах — в середине июня.

## Глава девятая

*Эх село моё, село,  
Как ты посёлённое —  
Кругом лес, высоки горы  
Да трава зелёная!*

Песня

Олег уехал в Елшанку на полutorке с тётей Настей, коляской и грудой вещей. А мы с мамой днём позже отправились туда рейсовым автобусом. Мама уверена была, что сто двадцать километров в кузове грузовика для мальчика четырнадцати лет — смертельное расстояние. Да и хотелось ей меня проводить и хотя бы глянуть, где определится на жительство её драгоценный Кизяк-навоз.

Наш автобус, истерзанный бездорожьем, был как обычно загружен сверх меры. Мы еле пробрались к своим местам и неудивительно, что они уже были заняты какими-то узлами.

— Тут занято, гражданка, сюда сейчас придут и сядут, — сурово заявили маме две загорелые тётки.

— Но у нас билеты на эти места, — объясняла мама.

— Нету, нету, тут занято, у их тоже билеты...

— А вот у них билетов нет, — сказала мама и легко перебросила тяжёлые узлы тёткам на колени. Мы втиснулись на свои места и наконец поехали. Забавно, но через полчаса тётки мирно и уважительно разговаривали с моей решительной мамой. Она очень была решительная в таких вот положениях. После окончания школы, во время войны, она два года отработала на патронном заво-



де. Режимное предприятие! После этого она ничего не боялась.

Нам предстояло четыре часа протрястись в засасывающем всю дорожную пыль автобусе, да ещё жара и ухабы. Но это ведь было путешествие. За окном поля зреющего хлеба, клинья нетронутой ещё степи — и опять поля. Владимир Даль шутил когда-то: мол, нашу степь легко рисовать — отделил землю от неба и готово. И правда, пялишься в эти хлебные просторы, в летящие по ветру ковыли, и вера пропадёт, что где-то впереди холмистая, убранная берёзовыми рощами, кудрявыми дубами и голубыми осинниками сказочная земля.

И жару, и тряску, и пыль — все мы тогда переносили стоически, только женщины повизгивали на кочках, но и то как-то весело. Главное ведь едем!

Мотор нашего «пылесоса» вдруг завыл и грозно, и жалобно: автобус полез в гору. И чем громче выл мотор, тем гора становилась выше. Все замолчали, чтобы не мешать мотору, и глядели в окна. И наконец разом вздохнули.

«Ну вот... вот она, наша Елшаночка, никуда не делась, дождалась», — проворковал женский голос.

С высоты, на которую мы вскарабкались, я увидел позади всю нашу степь, а перед нами, словно в малахитовой чаше, уютно устроилась деревня. Домики, бани, огороды купались в тёплом вечернем свете. Поднимая розовую пыль, шло стадо. Впереди — чёрный, ростом с телёнка козёл, за ним овцы и козы, а уже за ними степенные, как матроны, коровы. Обогнать стадо было

нельзя, и женщины тихо роптали, что, дескать, не встретили они своих кормилиц. Но все любовались тёплым закатом и слушали, как блеют овцы, мычат коровы и щёлкает кнутом горластый пастух, пугая усталую лошадь.

В частушке, которую мы привели, поётся про село Елшанку, а мы назвали её деревней — и это правильно. Когда сочинили эту «матаню», здесь стояла церковь, было село. В тридцатых годах церковь закрыли, расстреляли дьякона отца Никиту, в пятидесятых церковь вообще сгорела — и стала деревня.

На остановке мама и тётя Настя обнялись как подруги, посмеялись над автобусной стычкой и мы вслед за стадом пошли к нашему обиталищу. Мы шли по упругой низкорослой траве — вроде бы зелёной, но отсвечивающей оранжево-красным. Это была трава-мурава, или спорыш. Она по всей России растёт, по ней вся Россия ходит и поэтому у неё много названий, и все верные.

Обиталищем оказался обмазанный глиной и оббитый старым шифером (дабы больше не мазать) дом под почерневшей соломенной крышей. Крыша очень походила на драгую казачью папаху. Из-под папахи глядели на мир два трёхзвенных оконца, отчего весь дом смахивал на загрузившего казачка.

Маме крыша не понравилась. Но она, оказывается, не протекала в самые упорные дожди, а в жару под ней царила блаженная прохлада, что мы сразу ощутили, когда вошли.

Мы сложили вещи. Тётя Настя сказала, что Олег ждёт меня во дворе под яблоней, и повела маму зна-

комить с хозяйкой, которая возилась в огороде.

Яблоня во дворе была одна. Под яблоней стоял стол, за столом сидел в коляске одинокий Олег. На столе отдыхали от жару огромные пирожки и кувшин молока.

Увидев меня, Олег просиял.

— Заждался я тебя, брат Воларондо, — искренне сказал он.

Мы рассказывали друг другу о том, что видели в пути, как встретила нас Елшанка, но тут пришли с огорода женщины — мама, тётя Настя и тётя Катя, и дружно отругали нас за то, что мы дали остыть таким чудным пирожкам, как оказалось, с ливером.

— Я довольна, сынок, тут вам хорошо будет, — шепнула мне мама.

Женщины ушли ужинать и готовить всем постели. Я осоловел от усталости и от еды и еле сидел, тараща глаза на Олега и чему-то улыбаясь.

Постелили нам потемну на досках, покрытых сеном, а потом уж матрацами. Над нами было небо, в котором проворно проклёвывались звёзды. Небо быстро темнело, звёзды набухали, крупнели и опускались ниже. И как ни хотел я спать, они не отпускали меня. Я вообразил себя моряком, который на уютном кораблике прорвался сквозь шторм к тёплому морю, спокойному — ни волны, ни ряби, и мне теперь можно заснуть прямо на палубе, под звёздами.

— Спишь, Володя? — позвал меня Олег.

— Нет, звёзды мешают, — ответил я.

— Да. Звёзды. Представь, мы на

корабле — вырвались из холодного шторма в тёплое южное море, и попадали на палубе, и спим под звёздами...

«Вот, — подумал я, засыпая, — ну разве он не гипнотизёр? Мысли читает».

И звёзды опускались всё ниже, словно разглядывали нас.

«Дурачок, ну какой же он гипнотизёр? — услышал я тихий, вроде бы мамин голос. — Видишь — ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездой говорит. Вот и вы говорите друг с другом и словами, и мыслями». Я улыбнулся этому голосу, и так уснул.

## Глава десятая

*Там вётел кружевная тень,  
Жара и тишина,  
И стрекоза висит весь день  
Над омутком без дна.*

В.О.

Мама уехала домой тем же автобусом, когда солнце ещё не одолело шихан Ямантау и мы с Олегом спали. Она поцеловала меня и укатила в пустом автобусе в тот час, когда хозяйки провожают коров в стадо. Наверное, ей было грустно и от разлуки со мной, и оттого, что она, скорее всего, никогда не увидит этих зелёных холмов-шиханов, чистых здешних речек и земляничных полей.

В детстве все дни такие долгие, а летние особо. В отрочестве уже не все. В юности ещё реже приходят долгою исполненные дни. Счастлив юноша, умеющий чувствовать

замедление времени — приход такого дня, ценить его как подарок. Такому чуткому и в зрелые годы будут перепадать дни долгие, как в детстве.

В тот первый елшанский день мы пересекли наискось улицу имени Героя Советского Союза Гирина — сына того самого расстрелянного дьякона Никиты, — и попали в проулок между двумя усадьбами, заросшими такой чистой и упругой муравой, словно за ней ухаживали, как за английским газоном.

Мы устроились под ветвями старой черёмухи, которая росла, оказывается, над родником. Родник был одет в дубовый сруб, мы не сразу увидели его из-за высокой и жгучей крапивы. Видать, недавно им перестали пользоваться.

Тётя Катя добродушно посмеялась нашему открытию, потому что родник был обихожен ещё её бабушкой. Она выдала мне старые рабочие рукавицы и стёганку. В этих доспехах я мужественно освободил родник от крапивного плена. Копёшку крапивы тётя Катя унесла курам и поросётам прямо голыми руками. Оказывается, эту кусачую траву они обожают. Василий, муж тёти Кати, тоже обожает крапивные щи, да и нам они понравились.

Без крапивы под черёмухой стало совсем уютно. Мы выезжали на мураву под солнце, жарились на припёке, а потом снова прятались в блаженную тень у родника. До двенадцати Олег с упоением читал жизнеописание Че Гевары, на которого, как всем нам казалось, он был похож, а я корпел над учебниками. После двенадцати мы обливались

чуть тепленькой водой из родника — мои обязательные занятия на этом кончались.

Жара к полудню разрасталась и начинала уже проникать под зелёные крылья нашей черёмухи. И тут со стороны улицы послышались ребячьи голоса, шарканье ног, и к нам под черёмуховый шатёр вошли трое мальчишек. Двое — наши сверстники, братья — Саша и Лёша Митины, а третий — второклашка-Барабашка. Вообще-то звали его Борей, но у троих соседей поросят звали тоже борьками, и он поэтому представлялся Барабашкой.

— Оккупировали, значит, родничок? — завёл разговор Саша Митин. — Да мы не возражаем, пожалуйста.

Как и положено мужчинам, мы поздоровались друг с другом за руку. Ребята были скромно и опрятно одеты, все в обуви, все в модных ещё тогда по деревням кепках-семиклинках. Мы поняли, что они нас искали, хотели скорее других познакомиться с городскими.

— Сюда скоро солнце придёт, — со знанием дела сказал Саша, — айдате к речке, там под ветлой тень до вечера.

— Ну айдате, — усмехнулся Олег, и мы покатили вниз по проулку, который стал тропой в лопухах. Место и вправду оказалось классным. Не одна, а три ветлы укрыли чистый Гремучий ключ, мосток над ним и галечную отмель со свежим кострищем, обложенным крупными окатышами, — творение наших новых знакомых.

Из дупла в ближней ветле они достали по-хозяйски завернутый в лопух коробок спичек, два папиросных

окурка и кудряшки бересты. Быстро развели маленький костерок и присели возле него. Братья Митины хитро поглядывали на нас, им не терпелось показать городским, как ловко они пускают дым из ноздрей и даже умеют выделывать ртом кольца.

— Ну-ну, — не удивившись, насмешливо сказал Олег. — Мы отчаянны вояки, сибиряки и куряки.

— А вы, штоль, не курите? — столь же насмешливо возразил Саша.

— Нет, не курим. От курева мозги сохнут, — решительно ответил Олег.

— А по-нашему ня так, кто ня курит — тот дурак, — подал голос Лёша Митин.

Но тут мы услышали тётю Катю, она звала нас обедать. Мальчишки утопили окурки в речке, залили костерок водой и тогда только Олег отозвался.

— Мы здесь, тётъ Катъ, сейчас идём.

Митины не зря забоялись. Тётя Катя за курьбу и сама накостыляла бы им по худеньким шеям, да ещё родители бы добавили. В Елшанке с детским курением в те годы не мирились.

## Глава одиннадцатая

*Их дрёмы чутки и легки,  
Они кого-то ждут.  
Но никакие рыбаки  
Сюда не забредут.*

В.О.

После прихода стада мы снова собрались под вётрами. Теперь они походили на дремлющих над вяза-

нем старух. Толстые, морщинистые, они чуть шевелили прядями ветвей, словно спицами, а тень под ними всё явственнее становилась сумерками.

Олег попросил братьев Митиных развести костерок поживее, и мы, с примкнувшим к нам Барабашкой, заморожено следили за мерцанием алых углей. Братья не примирились с потерей «бычков» и пыхтели, пытаясь раскурить самокрутки из сухих вязовых листьев вместо табака. Самокрутки никак не раскуривались и даже расклеивались.

— Это слюна у вас не клейкая, — едко заметил Олег. Помолчав, он продолжил: — Нормальные мальчишки, чего вы из себя мужиков-то корчите?

— А по-нашему ня так, кто ня курит... — дурашливо пропел Лёша знакомую песню, но вдруг удивлённо смолк. У Олега в руках откуда-то взялась целая пачка «Беломорканала». Тёти Катин Василий курил, оказывается, «Беломор», и в сенях у него стояла картонная упаковка этих папирос. Вот Олег и стырил у него пачку ради доброго дела.

— Вот ты, — Олег ткнул в Митина-младшего пальцем, — сколько за раз папирос выкуришь?

— Да хоть полпачки, — занёсся Лёша.

— Мы с третьего класса курим, — поддержал его Митин-старший, — не маленькие.

— Ладно, давай на спор! — продолжил Олег, — выкуришь подряд три папиросы, вся пачка твоя.

Олег вручил Лёше три беломорины и тот, прикурив от костерка, сладострастно задымил настоящим дармовым табаком.

— А мне? — потянулся к пачке Саша.

— погоди, третья твоя будет, — холодно сказал Олег.

И как он точно всё рассчитал! Одолев две папиросы, Лёша прикурил от второй третью беломорину, затаился раз, другой, и, поблднев, как-то боком, молча, вдруг улёгся на гальки и закрыл глаза.

— Бери, докуривай третью, — предложил Саше Олег. Но тот в испуге склонился над братом, а Лёшу уже рвало какой-то зеленью.

— Ничего, — успокоил нас Олег, — это пройдёт сейчас, только курить он нынешним летом не будет.

Наконец Лёше стало полегче. Он жадно наглотался воды из ключа и молча уставился на огонь. Все, кроме Лёши, забыли про папиросы. Ему же о них напоминала икота.

Глядя на пламя, мне вспомнилось, как мы с форштадтским другом Ромкой захотели рассмотреть огонь под микроскопом. У Ромки был микроскоп «Юннат». Одно лето мы с его помощью с упоением рассматривали, словно из серебра сотканые клетки арбузной плоти, а в капле воды из бочки под водостоком — страшных (особенно, если представить их гигантами) амёб и прочих инфузорий.

Мы заметили, что вся эта одноклеточная живность появляется не сразу, сначала в бочковой воде никого нет. Но чем дольше вода стоит в бочке и протухает, тем больше в ней жизни и не только одноклеточной — всякой! Иных тварей было видно и без микроскопа. Так мы с Ромкой без помощи учёных и даже учителей сами открыли теорию о самозарождении жизни: земля — бочка с водой, солнышко её

греет, и вот в ней сами собой появляются амёбы, туфельки, потом личинки комариков, водоросли, а потом и мы! Нам не приходило в голову, что бочку кто-то должен же был сделать, поставить под солнце и наполнить водой! Ближе к осени мы с Ромкой задумались об огне. Мы не сомневались, что он живой — жрёт горючую пищу, греет, но может и укусить. А всё живое состоит из клеток, но как рассмотреть клетки огня? Они наверняка есть, но живут очень быстро, очень недолго. И мы поняли, что нам нужна всего лишь капля водки. Капнуть на предметное стекло, поджечь, и смотреть скорее. Всё это мы проделали. Первым к окуляру приник Ромка.

— Кажись, есть клетки! — сообщил он.

Но я в микроскоп ничего не увидел. Мы не учли, что линзы у нашего «Юнната» были пластмассовые, а пластмасса плавится. Но поскольку Ромке померещились клетки огня, уверенность, что он живой, осталась. А раз так, то теория о самозарождении жизни рушилась. Огонь сам по себе никогда не возникает. Либо есть поджигатель, либо он падает с неба.

— Здорово! — выслушав мой рассказ, воскликнул Олег. — А я этой зимой изучал снежинку — и у меня получилось.

У Олега был не микроскоп даже, а «мелкоскоп» «Школьник» с тридцатикратным увеличением. Брат Валентин приносил ему на холодном стекле снежинки, и долгие секунды они любовались, как строгая ледяная конструкция — то ли цветок, то ли корона снежной королевы превращается в текучую хрустально чистую каплю воды.

— И чего тут такого? — наигранно равнодушно спросил Саша. Он решил, что мы умничаем.

— Тут, старик, фокус в том, что вода или снег дают себя рассмотреть, а огонь не даёт, — объяснил Олег.

Саша задумался и вдруг согласился:

— Слушай, точно! Вот Солнце, это же главный в мире огонь?! А попробуй, глянь на него. Только сквозь закопчённое стекло.

— Астрономы же смотрят в телескопы! — подал осипший голос Лёша.

— В телескопы не смотрят, — ответил Олег. — Солнце специальным аппаратом фотографируют, а потом уж фотографии смотрят.

— А если дождь? А ночью? — встрял в разговор Барабашка.

— Аппарат устанавливают там, где дождей почти не бывает. А ночью за Солнцем следят там, где день, — разъяснил Олег.

Тут мы увидели, что и наш день совсем кончился, и что вётлы тоже присели над огнём и слушают учёные наши речи.

«Сплю, сплю», — сообщила нам жалобно какая-то малая птичка.

«А и нам пора», — согласились мы.

## Глава двенадцатая

*Там груды золота лежат,  
Над ними призраки  
дрожат,..  
Они червонцы берегут...*  
Ничьё

Жизнь у нас наладилась вольная. Границы, конечно, были. Надо ведь

было завтракать, обедать и ужинать, и хотя бы после полуночи укладываться спать, но главное, основное время было наше. Два школьных часа в день я обязан был общаться с учебниками, но они проходили легко — это были утренние часы, когда Олега снаряжали к завтраку и к долгому дню в седле своего «Росинанта».

Шла пора сенокоса, и сельские ребята вместе с родителями сгребали сено, складывали копёшки. Часто, по крайней мере, полдня, они были заняты. Мы тогда сами спускались к речке или отыскивали земляничную поляну неподалёку, и там Олежек гонял меня по математике, а также по орфографии и синтаксису — ибо предстояло писать сочинение. Но где бы мы ни уединились, наши новые нукеры всегда нас находили. Елшанку и её окрестности они, конечно, знали наизусть. Они, к слову, отлично освоили вождение коляски, и тут повторилось то, что мы прошли уже в городе — рьяное соревнование за право вести «Росинанта». Очень усердствовал в этом второклашка-Барабашка. Но он маловат был ростом, большая Олежкина голова мешала ему видеть дорогу. Олег, уважая его рвение, все жё разрешал ему себя везти на ровных, безопасных тропах. Что замечательно, в отличие от нас, городских, сельские нукеры Олежку ни разу не уронили.

В ежедневных путешествиях мы открыли, что Елшанку, как полуостров, омывают две речки — Гремучий Ключ и одноимённая с деревней Елшанка. Обе — студёные, купались в них только дети, да и то в жару.

В речках водятся хариус размером с крупного пескаря, сами пескари и гольцы — рыбы, похожие на сомов, размером с ладонь.

Мы видели этих рыбок в прозрачной воде, а местные ребята умели их добывать — хариуса петлёй, остальных — бредешком.

Открыли мы также, что все мосты и мостки через речки ведут тропами и дорогами в поля за Елшанкой, а потом в райцентр, в Троицкое, и в соседнюю Ивановку. Лучшим мостком был признан наш мосток, потому что его тропа была забыта и вела неведомо куда — она шла между заброшенных огородов, мимо покосившейся чёрной бани, в которую мы ни разу не отважились зайти, ибо в ней обитала банная обдериха (страшная такая нежить), и упиралась в мелколесье у подножья Лушной.

Родников вокруг Елшанки — не счесть. Особенно же нас завлёл Золотой родник. За срубом, в котором он шевелил чистейший белый песочек, похоже, что не сама по себе образовалась бочажка — маленькое озерко по грудь нам глубиной. Оно было устлано мелкой галькой, а вода!.. Пять секунд мы в ней только терпели.

Добравшись по жаре до родника, с каким восторгом мы обжигались этой волшебной водой — и Олег с нами! Мы проделывали это так: я и старший Митин сплетали из рук седушку, Олежек обнимал нас за шеи, и втроём мы входили в родник, окунались — и скорее на берег!

По легенде назвали его золотым казаки-пугачёвцы. Разбитые под Оренбургом, они дошли до этих

мест и нашли родник, вода которого лечит раны. В благодарность они бросали ему золотые, серебряные и медные деньги, хотя родник и не просил никаких денег.

Елшанцы этот родник любили, и хотя он был не на пути в райцентр, в город или Ивановку, постоянно его навещали и чистили. Но ни золота, ни меди не находили. Нашли как-то истёртый до толщины бумаги серебряный крестик — и бросили назад, в воду.

— Вода в нём золотая, вот что, — горячо говорил Олег. — Как окунёмся, у меня пузырьки во всём теле вскипают, и жить вдвое больше хочется.

Ещё мы нашли «Ноев ковчег». Так Олег назвал полуразрушенное кирпичное здание в два этажа. Стояло оно возле старинного парка, заложенного помещиками Тимашевыми — им когда-то принадлежала Елшанка. Оно грустно смотрело на мир чёрными проёмами окон. Торцовая стена нижнего этажа была выломана и разобрана на кирпич, и там, внизу, прятались от жары телята, козы, лошади и коровы, сбежавшие из стада.

Дом этот был когда-то конторой и жилищем управляющего Тимашевским именем. Последним, говорят, был немец Виктор Августович Цильке, по прозвищу Кнопка. Отсюда и название строения — Кнопкин дом.

— Вот тут где-нибудь точно клад припрятан, — предположил я.

— Не-ет, — уверенно возразил Саша, — мы тут всё простукали, прошарили, нету! И тётя Саша Протопопова говорила, что Тимашевские клады есть, но они не тут.

— Что за Тимашевские, а какие ещё есть? — уточнил Олег.

— Хх-а! Ну, пугачёвские. Да у нас этих кладов, как мух, — уклонился от уточнения Саша.

## Глава тринадцатая

*...Они червонцы берегут  
И никому их не дадут.*

Ничьё

Тётя Саша Протопопова была нам знакома. Хозяйка, тётя Катя, корову не держала, обходилась козами. А когда козьего молока не хватало, она брала коровье у Протопоповых. И сметану, конечно, и творог, и масло. Тётя Саша приносила всё это сама, потому что была свободной пенсионеркой. С нами она совершенно по-городскому здоровалась: «Добрый вечер, молодые люди», — отвечала она на наше расхристанное «здрасьте». — «Прохлаждаетесь? (В смысле, мол, прохладой дышите?) Ну дышите старательней. В городе вашем такого воздуха не укупить, а тут он задаром».

Она, как утверждали Саша и Лёша Митины, про клады знала всё. Она знала всё и про помещиков Тимашевых. Вообще, про дореволюционные времена. Много чего знала и про соседей (впрочем, как и соседи про неё). Помнила несчётное количество сказок, бывальщин, песен, заплачек, заговоров даже... Могла читать наизусть десятки страниц стихов из Пушкина, Некрасова, Лермонтова, правда, не различая, которого из них она читает. Вот это нас особенно изумляло — мы-то

классиков зубрили из-под палки, а она — сама! Позже, когда мы сдружились, она объяснила этот феномен коротко:

— А я их полюбила.

Александра Сергеевна Протопопова умерла в девяностых. До последних дней она была статной пожилой женщиной неясно скольких лет, что среди простых крестьянок бывает не часто. Из-за весёлых и умных глаз, чистого и светлого лица, прямой осанки и благородной речи язык не поворачивался назвать её старухой.

— Ох, не зря вас Александрой Сергеевной назвали, — говорил ей Олег. — Небось, в честь Пушкина!

— Да-к, наверно, — соглашалась тут же тётя Саша. — Приезжал ведь он сюда, к Тимашевым. В учебниках этого не сказывают — мол, неизвестно. А приезжал! Может, и к родным моим заходил, — по бабушке... иль по матушке.

Как завёл с ней Олежек первый большой разговор, как сдружился? Но было уже сказано, что он обладал даром обретать друзей среди людей любого возраста и положения.

Я на час всего оставил его одного у ворот — нужно было помочь Василию перетаскать во двор сено для кролей, а когда вернулся к воротам, тётя Саша сидела на лавочке, возле колеса Олеговой коляски и они беседовали как неразлейвода приятели. Я и хозяйская кошка присоединились к ним. Кошка вспрыгнула Олегу на колени, а я устроился на лавочке с тётей Сашей. Олег погладил кошку, тётя Саша прервала речь и заметила:



— Кошку не погладить, у ней спина отсохнет.

И продолжала рассказ:

— Про пугачёвские клады я врать не стану. Не много про них слыхала. Кидали они золото в Золотой родник, иль нет? Мне кажется, не кидали, хотя и ни к чему оно им было в башкирских чащах. Там у медведя и за красный червонец сухаря не купишь. Но не было у них, думаю, никакого золота. Столько бежать от войска — и медь растеряешь... Им ведь топоры да ружья, порох да спички дороже золота были.

А родник золотым зовут по преданию. Про него предание есть. Если кто придёт к нему — парень или девка, неважно, но с чистой душой и в нужную минуту, и тогда выплывает вдруг, как бы со дна, золотая уточка. Выплывает, и давай плескаться. Плещется, брызгает! Вот кто это видел, на кого брызги попали — тот всю жизнь счастливо проживёт, что бы вокруг ни творилось. Золотая, то есть, будет жизнь... Правда, в нынешние годы уточка перестала являться. Да и не требует её никто. Мол, сами с усами. Никого не знаю, кто бы её видел.

— Грустная сказка, — заметил Олег.

— Не сказка, предание, — поправила его тётя Саша и весело продолжила:

— А про Тимашевские клады я кой-чего сказать могу... Когда приключилась революция, елшанские мужики всё ждали, когда ихнюю власть объявят. Мол, объявят — тогда можно будет тимашевское добро взять да поделить. Грабить нахрапом они не желали — законники

были, ждали декрета. И, значит, дежурили. Стерegli то есть, чтобы управляющий Виктор Августыч ихнее (тимашевское) добро не упёр куда-нито.

А в усадьбе, во дворце, всеми ночами во всех окнах свет горел. Кнопка ли, ещё ли кто из тех, кто не успел ивакуироваться — свечи жгли. И мужики не смели грабить, пока свет горит, и декрету из города нету. И стерegli. Ну а как стерegli?

На спиртзавод тимашевский пробрались, конечно, не дожидаясь декрета! Вот добудут там ведро вина, надюгустируются им после полуночи — и храпят, коням завидно.

Неделю, что ль, так сторожили — пришёл приказ на икспроприацию. Кинулись они во дворец с мешками да верёвками добро вязать, а там пусто. Как метлой всё выметено. Одне шторы висят огненные, атласные, со змеевидными цветами. Да свечи в блюдечках горят, да чья-то мышка мечется — и всё. И Кнопки нету, спросить, куда всё девалось, не у кого... Пока, значит, наши сторожа спирт дюгустировали, Кнопка вывез всё добро тайной дорогой в тайную пещеру на другой стороне Лушной горы.

Так вывез, что никто тележного скрипа не слышал. Мужики вспомнили потом, что Кнопка теми днями купил у Медяковых пуд нутряного сала — мол, хвораю! А он колёса смазывать купил!

...Пещеру ту ещё первый Тимашев откопал и обустроил как амбар — с воротами, запорами и вентиляцией. Он там складывал припасы на чёрный день, и ничего там не ржавело и не портилось. А дорогу туда только

сами Тимашевы знали да Кнопка. Все, кто её строил, померли давно. И до сих пор все их припасы и всё тимашевское добро там заперто и бережётся... даже сало, говорят, есть...

Мужики видят — нету ничегошеньки. Посрывали с досады атласные эти шторы и нашили себе из них штаны. Пол-Елшанки в этаких штанах щеголяло — под цвет революции. Те, кто поумней, отдали материю бабам на юбки. Все-ш-ки женщинам приличней в такой красоте ходить.

Тимашевску пещеру так никто найти и не может — заговорённая она. И вообще, Олег Палыч, это очень трудный клад. Его чтобы добыть, воля нужна не нашинская. Немецкая нужна воля. С Виктором Августычем опять же нужно связаться. Без него не дастся клад.

— Вот те раз. Да как же с ним свяжешься? На том свете телефонов нет, — пошутил Олег.

— Да-к умер... А душа-то неспокойна! — взволнованно возразила тётя Саша. — Те, кто с кладами свяжутся, в царство небесное не попадают, пока с кладом своим не разберутся, не отдадут его, то есть кому назначено. И душа-то и ходит...

— Чья душа? — тревожно спросил я.

— Да Кнопкина же! Он ходит по своему дому, иногда у мостков является. Возле Даньшова моста его раза два видали.

— И что он? — спросил Олег.

— Как что? Увидит мужика поосанистей и пристаёт: мол, имею ключи от Тимашевского клада, дорогу к нему знаю и покажу, возьми только... Но он условие ставит страшное. Только как найдёшь клад, говорит,

чтоб ни капли не пил больше — иначе рак желудка или там печени, и марш на кладбище!

Мужики, конечно, шарахаются от такого предложения, а потом объясняют, что с ними морок был. Не обморок, морок. Морганье, то есть.

Шёл второй год после полёта прекрасного Юрия в космос, наука и прогресс играют радостные и гордые марши, а мы тут с Олегом и тётей Сашей всерьёз рассуждаем о кладах и призраках. Кнопка у нас по деревне ходит... Деревня, правда, не поспекает пока что за наукой. Больше половины изб под соломой, воду берут из родников, топятся печами, что такое полиэтиленовый пакет или пластиковая бутылка — слухом не слыхивали. По такой-то деревне почему бы и не ходить Кнопке? И мы — всё дальше в лес, где больше дров...

— ...В том Тимашевском кладе шкатулка с монетами, платье жемчугом и золотом ушитые, канделябры серебряные, сабли царями дарёные... Но он неподъёмный. Трудный клад. А вот есть другой, тот полегшее, — плетёт дальше рассказ тётя Саша. — Вот вы сказку про Муму читали?

— Это не сказка — рассказ, — поправил её Олег.

— Ну да, а по-нашему всё одно — сказка. Тургенев этот ваш, он же тоже сюда приезжал. К Тимашевым, на охоту. У тогдашнего Тимашева был кучер. Ну тако древо, ему только с дубами бороться, а немой! Мычал только: му-у. Но всё разумел и должность исправлял как по часам.

И как оне, баре, развлекались. В те годы прямо от усадьбы по кленовой аллее (она и сейчас есть) —

и за ручей — шла дорога прямо на Лушную. Просека была прорублена до вершины. На вершине поляна расчищена, камни столы, скамьи мраморны. Всё скатертями убрано, на скамьях ковры. Закуска в золочёной посуде, водка, шампанское для дам — всё в хрустале. Хор девушек поёт.

Тимашевы с гостями, как надоест им в усадьбе или просто приспичит, садятся в тройки — и на гору. А Герасим — кучер. Лошади только до полгоры вытягивали. Дальше он их распрягал и сам коляску на поляну втаскивал. Вот какая силища была!

— Так это тот, что собачку утопил? — прервал тётю Сашу Олег.

— Не-ет, — отмахнулась она. — Это Тургенев надумал для жалости. Такого Герасима разве умно сердить? Да и тогдашний Тимашев гуманный был. Ни собак, никого топить не позволял. Мужиков за пьянку пороли, это было. Но — с согласия родителей. А родители чаще всего соглашались... Да. Втащит Герасим коляску на поляну, гостей зовут к столу. Рассадят всех, нальют по стопке, Тимашев и говорит: «Герасим! Покажи, брат, нашу елшанску силушку». Герасим берёт каменный стол за углы и приподымат сантиметров на двадцать пять. Бутылки, тарелки, конечно, едут, гостям забавно, смеются, хватают посуду, чтоб не побилась, а Герасим стол на полметра подымат — и держит. «Пока он держит, — кричит Тимашев, — кидайте скорей червонцы под стол — на добрую память и чтоб вам у меня ещё и ещё в гостях побывать». И сам для затравки червонца три бросает. И гости

бросают, кто один, кто два. Все же богатые, денег у них, как махорки у нищего. Но и жадность имеется. Бросят сколько-то червонцев и кричат: мол, хватит, устал Герасим. И Герасим тогда стол опускает. Вроде как запирает эти червонцы. Да... Вот и представьте, за много-то лет сколько там, под камнем, золота накопилось.

— И никто не взял его? — снова спросил Олег.

— Да кто ж такую тяжесть свернёт?

— А зачем сворачивать? Подкопать можно.

— Не-ет. Лушная только сверху землёй подёрнута, она — кремень вся. Да и заросла та поляна. Найти её — тоже удача нужна.

— И как же этот клад взять?

— Как... Набрать ребят поздравей, да ломами потихоньку сковырнуть. В одиночку тут ничего не сделаешь, а дружно, оно не грузно. Главное, найти стол тот.

Тётя Саша подождала чего-то, и снова вдохновилась.

— А вы знаете, какой завтра день?

— Да суббота завтра, — вспомнил я.

— Суббота-то она суббота, Ивана Купалы завтра день. Нынешней ночью на Лушной папоротник зацветёт. Наш, реликтовый. А папоротник цветом тропку на поляну с кладом и покажет, вот что!

— А какой у него цвет? — спросил Олег.

— Эх, да если б я видала! Давно бы и клад добыла. Вот сходите на Лушную ночью, до папоротника поднимитесь — и увидите. Как раз



— Я тоже, старик, хочу, но мы им обузой там будем, — тихо сказал ему Олег. — И база у всякой экспедиции должны быть.

Договорились мы так: добираться до триангуляционной вышки на вершине — и если папоротник цветёт, то мигаем с вышки семь раз двумя фонариками. База нам отвечает, и мы, не разыскивая никаких кладов, сматываемся домой докладывать базе, что и как.

\* \* \*

Звёзды заняли уже всё небо, когда мы перешли мосток через Гремячий Ключ. В этот час перед полночью он не гремел, а лопотал что-то сонно и ласково спящим на ветках птицам.

Мы прошли заброшенный огород с покосившейся баней, которая в темноте стала походить на что-то живое и страшное, и вот перед нами молодой осинник, за ним начинался подъём в гору. В мелколесье стало темнее, мы уже не выключали фонарики. И вдруг кто-то рядом завозился, затрещал валежником. Мы встали. Тот, затрещавший, тоже встал, тяжело и взволнованно дыша.

— Кто это? — шёпотом спросил я.

— Пёс его знает? Свети туда! — ответил Саша.

Наши фонарики наконец выхватили из мрака рогатую голову с безумными ярко-синими глазами.

— Корова... блудная чья-то, — вздохнул, успокаиваясь, Саша. — А ну пошла! — крикнул он ей, — хозяйва, небось, обыскались.

И блудня послушно ломанулась в сторону села.

Встреча с коровой развлекла нас, мы всё рассуждали, как страшно ночью в лесу столкнуться даже с мирной домашней тварью.

— Они тут какими-то не домашними становятся! — догадывался я.

— Дичают, — коротко подтвердил Саша.

Мы незаметно вышли из самосевого осинника под кроны огромных деревьев у самого подножья. Я никак не мог узнать в этих мрачных великанах приветливые дубы Лушной горы, под которыми мы не раз отдыхали в жару и собирали ягоду. Мрак здесь лежал плотно, и каждый куст или пенёк превращался в неясное и враждебное существо.

Теперь мы точно ощутили подъём в гору. Все настоящие живые существа на Лушной, наверное, спали, но потревоженные нами травы начинали пахнуть, а деревья не спали вообще. Они склонялись над нами, словно хотели получше рассмотреть полуночных гостей, и шептались: «Што-о, шшто-о ишшут?» — «Ничего не ищем, — отвечал я им мысленно, уверенный, что они слышат мысли, — мы с научными целями...»

Шёпот прекращался, и я слышал, как стучит во мне сердце и как шумно оба мы дышим — как та корова-блудня. Подобно бесшумным летучим мышам, которые тут водились, порхали вокруг нас страхи. Пугали и густые запахи трав — отцветающей богородской травы и зацветающих душицы и зверобоя. Вдруг, перебивая другие запахи, истошно начала пахнуть раздавленная ногой земляника — и опять страх — не наступить на спящего зайчонка или фарфорового ёжика с мягкими игла-

ми, родившегося три дня назад, за это лес точно накажет — нечего тут делать ночью человеку, ох, нечего!

— Стоп! Искра, что ли? Что-то я видел, — воскликнул вдруг Саша. Перед нами, как будто только что выросли, встали ажурные кусты папоротника, высокие и малахитово-зелёные в луче света.

Мы пришли! Пришли в тот ложок перед вершиной, который когда-то (опять же по рассказам Александры Сергеевны) был озером. Но это было очень давно, а сейчас здесь рос папоротник.

— Выключи фонарь, из-за света, что ли, ничё не видать! — потребовал Саша.

Мы выключили фонари, тьма накрыла нас чёрной своей плотью, но через долгую секунду я увидел далёкую звёздочку над головой, кусты папоротника, переставшие без света быть ажурными, и ещё через секунду мы увидели изумрудные огоньки: один, два, три — россыпь живых капелек света. Скованными страхом ногами я шагнул к ближнему огоньку и... взял его в ладонь! Он не исчез, не погас, но осветил зелёным светом линии моей жизни. Это были они — светлячки, нежные, белёсые козявки со слабыми лапками, но во тьме их тельца светились как изумруд.

— Вот диво-то! Сколько тут живу, не знал, что они есть. И батя с мамой не рассказывали, — шептал за моим плечом потрясённый Саша. Он достал из кармана спичечный коробок, вытряхнул оттуда две спички, и осторожно поместил туда светлячка.

Мы снова включили фонари и медленно, как вброд, побрели через папоротниковый ложок. То и

дело мы опускали фонари к земле, и снова видели капельки изумрудного света, с которыми ночной лес переставал быть страшным.

Светлячки светили друг другу. Они как-то знали, что их тут много, поэтому ничего не боялись и светили ровно и приветливо. И ничего они не знали про ночь Ивана Купалы, про страсти о кладах... Впрочем, утверждать не могу. Пока мы шли вброд через папоротниковое озеро — цепочка изумрудных огоньков вела нас точно к вершине, но вдруг раздвоилась, от неё ответвилась цепочка огоньков куда-то влево и вроде бы вниз, обозначая извилистую тропку. Светлячки на этой тропке не просто светили, а мигали, словно заманивали.

Мне снова стало страшно. «Это они манят нас к Тимашевскому кладу, — как будто во сне думал я, — но нам что-то другое тут нужно, а не клады... Зачем нам клады? Зачем их вообще прячут? Потому что они кровью запачканы, кровью тех, кого ограбили. А если честный кто-то спрятал своё, то это спрятанное к нему и должно вернуться! Другому его клад счастья не принесёт. Вдруг я понял, что это не мои мысли, а кто-то их мне нашёптывает — и всё прекратилось.

Саша левой тропки не увидел. Он собирал в коробок, устелив его земляничным листом, самых ярких светлячков. Он собрал их дюжину и сказал: «Хорош!» И тут мы вышли на твёрдую, утопанную тропу, которая и вывела нас прямо к триангуляционной вышке.

Крепкая, на сто лет сработанная, пятиметровая вышка встала над нами. По лесенке, похожей на трап,

взобрались на небольшую смотровую площадку. Над нами в страшной близости висел набрякший живыми, как и светлячки, звёздами миллионноглазый Млечный Путь. А внизу подслеповато, сонно мерцали огни Елшанки. Там все уже спали, кроме нашей базовой экспедиции — Олега, Барабашки и Лёши.

— Как будем сигналить? — деловито спросил Саша.

— Семь раз двумя фонариками, — решительно ответил я. — Светлячки, это и есть цветы папоротника — других быть не может. Кто-то, как мы, попал в лес ночью, увидел светлячков — и всё это было на Ивана Купалу. Он испугался, вернулся из леса, а потом рассказал всем, что папоротник цветёт. В общем, мы нашли цветы папоротника!

— Точно! Это точно они и есть, — вдохновенно согласился Саша. — Ты, Володька, умеешь сочинять — так и пиши в академию! Так, как мне тут говорил.

Мы мигнули семь раз двумя фонарями в сторону нашей базы, и скоро чуть правее тусклого окошка невидимой избы остро замигал нам Олежкин фонарик. А рядом закачалась вдруг мутноватая дуга света — это точно Барабашка размахивал «летучей мышью». И какое-то счастливое тепло вдруг согрело нас и окончательно прогнало все страхи. Мы все оказались вместе, как и эти живые звёзды над нами, умеющие говорить друг с другом, которые видят нас, не спящих, чего-то ищущих в ночи.

Спрыгнув с вышки, Саша выронил коробок со светлячками и, поругиваясь, нащупывал его в тра-

ве, а я задержался ещё немного на площадке. Олегов фонарик мигнул снова, позвал домой, а меня не отпускало это живое тысячеглазое существо над нами. И сами собой покатались вдруг неожиданные слова: «Ты, Видящий нас, сделай так, чтобы у Олежки была жизнь... не хуже ничьей, и даже лучше, как он мечтает...». На этом первая в жизни моя молитва застопорилась, заклинилась, но я успокоился: «Это вот и будет наш клад!»

Жгучий, слёзы выжимающий комок подкатил к горлу. Я понял, что люблю Олежку, живые эти звёзды, тёмный, тёплый и совершенно не страшный теперь лес, его светлячков... Сашу, сопящего за спиной и, слава богу, не видящего моих слёз... Преданного Барабашку, струхнувшего Лёшу и далёкий город, где маме одиноко и грустно без меня, особенно, если отец на дежурстве.

До дома мы дошли быстро — по просеке, по следам заезжавшего на гору вездехода. Окно кухни, которое видели мы с горы, погасло. Начался третий час ночи. Нас ждали чуть ещё тёплые пироги с луком и яйцами и остывшее парное молоко от тёти Сашиной коровы. Все пятеро мы склонились над светлячками в коробке, который мы поместили на коленях у Олега. Они все светились, но, как мне оказалось, слабее, чем в лесу. Мы решили, что в коробке им плохо и тесно, и поселили их на цветочной клумбе перед огородом. Точно, наверное, чья-то поэтическая душа нарекла этих странных букашек цветками папоротника.

В ту ночь мы почти не спали. С нами остался ночевать Барабашка — и он не спал, слушая мой сбивчивый рассказ о нашем счастливом блуждании по ночной горе. Наверное, тогда я рассказал всё это лучше, чем вам сейчас, потому что Олежка слушал, не закрывая влажно мерцающих глаз, и я знал, что он смотрит на звёзды.

Я только не рассказал ему про свою незавершённую молитву. Правда, теперь я знаю, что и не нужно её было завершать, она сама завершилась, как и не нужно никого учить молитве — это все сами умеют, нужно только вспомнить.

— Знаешь, — сказал Олег, — я вот смотрю на звёзды — и голова кружится! Кажется, вот какие-то невидимые руки подхватят меня, и унесут туда...

— Куда? — испуганно спросил Барабашка.

— Туда! — твёрдо сказал Олег и ткнул пальцем прямо в сердцевину начинавшего меркнуть Млечного Пути.

\* \* \*

Несколько ночей после Ивана Купалы наши светлячки светились в цветах тёти Кати, но расползались всё дальше от клумбы — наверное, искали свои папоротники. Все им удивлялись — и тётя Саша, и тётя Катя, и мама Олега, и навещавшие нас мальчишки, и только Василий не удивился. Он бывал в лесу ночью, когда ходил на ручей за хариусом, и знал, что они есть. Но и он считал, что цветы папоротника — это они, светлячки.

*(Конец 1-й части.)*





Александр ЦИРЛИНСОН

## «А ДУША ПОЁТ И ПЛАЧЕТ...»

*Александр Матвеевич Цирлинсон  
родился в городе Запорожье  
в 1935 году. Детство и юность  
провёл в Новокузнецке.  
С 1960 года живёт  
в Новотроицке. Служил в рядах  
Советской армии, работал  
электриком, конструктором,  
аппаратчиком химического  
производства, спортивным  
работником. Член Союза  
писателей России, автор  
полного перевода сонетов  
У. Шекспира, поэтических книг  
«Осенняя нежность»,  
«Часы благополучья»,  
«Вечная смута»,  
«Високосный год» и др.*

\* \* \*

Очерчен круг:  
Диван, экран, газета...  
Ну что ещё для старого поэта?  
Какого ему надобно рожна?  
А нужен ему не диван, а воля,  
Чтоб сердце колотилось. И до боли  
Ему и сила и любовь нужна.

Но это было.  
И осталось в прошлом.  
И путь туда снегами запорошен.  
И вот, увы, спокойствие и крах  
Былым надеждам, и мечтам,  
и верам.  
Ах, эта жизнь не может быть  
примером.  
Её ждёт, как другие жизни, мрак.

Но жив поэт!  
Пока ещё он дышит,  
Он сердцем звуки неземные слышит  
И музыку туманных хрупких слов.  
Он рвётся ввысь!  
Но круг давно очерчен.  
И жизнь поэта — это чёт и нечет,  
И впереди — бескрайность  
вечных снов...

\* \* \*

Лунная дорога.  
 Звёзд далёких гладь.  
 Мне не так уж много  
 По земле гулять.  
 Где-то в дебрях звёздных  
 Притаился рай.  
 Рано или поздно  
 Я приду в тот край.  
 Встретит меня мама  
 В ласковом саду.  
 Что же я упрямо  
 По земле бреду?  
 Что меня здесь держит?  
 Чем ещё дышу?  
 Песня где-то брезжит —  
 Я слова ищу.  
 Где лежит дорога —  
 Звёздный вечный путь.  
 Мама, ради бога,  
 Подожди чуть-чуть...

\* \* \*

В этой тесной квартире  
 За узким столом  
 Я сижу. Моим мыслям  
 Легко и просторно.  
 За моим  
 Занавескою скрытым окном  
 Мир в страстях. Мир  
 в заботах,  
 Простых и задорных.  
 С этим миром  
 Давно я уже визави.  
 Я частица его,  
 Я кирпич его зданья.  
 Что есть жизнь,  
 Если только не жажда любви?  
 Что — любовь,  
 Если только не жажда  
 познания?

\* \* \*

Скоро снег покроеет город.  
 Станет чисто и светло.  
 Остудит колючий холод  
 Листьев и травы тепло.  
 Ветер в снежный рог завоюет.  
 Занесёт поля, сады.  
 И трава уже не скроет  
 К дому твоему следы.

\* \* \*

Бездорожье, бездорожье —  
 То ухабы, то провалы.  
 Если ехать осторожно —  
 Доберёмся до привала.  
 Если ехать осторожно...  
 Только ну её в болото!  
 Вот и мчимся там, где можно,  
 Не сбавляя оборотов.  
 Жизнь, она всё строже, строже  
 За маршрут привольный судит...  
 Выбираю бездорожье —  
 Так оно вернее будет.

\* \* \*

Я прошу тебя, жена,  
 Не кори меня ты строго.  
 Мне любовь твоя нужна,  
 Но ещё нужней — дорога.  
 Не могу я, ты поверь,  
 Домоседом жить, ей-богу!  
 Ты открой мне лучше дверь,  
 Проводи меня в дорогу.  
 Я пройду по декабрю.  
 Я вдохну всей грудью свежесть.  
 Ты не верь календарю —  
 Есть во мне любовь и нежность.  
 То, что голова бела,  
 Ничего ещё не значит.  
 А душа — светлым-светла.  
 А душа — поёт и плачет...







*Галина Ивановна Грибанова  
родилась в селе Октябрьском  
Оренбургской области.  
Окончила филологический  
факультет Уральского  
университета. Преподавала  
в сельских школах, работала  
в районных и областных  
газетах. Ныне – сотрудник  
издательства «Южный Урал».  
Печаталась в областных  
газетах, альманахе «Гостиный  
Двор», поэтических сборниках.  
Член Союза писателей России.  
Автор трёх книг поэзии  
и прозы. Живёт в Оренбурге.*

Галина ГРИБАНОВА

## ТОМЛЕНИЕ ПО ТОМИЛИНСКОЙ

### СТУКОТОК

Оранжевый лучик далёк,  
Заборина стылая в инее,  
Но будто бы дятлова линия —  
В морозные дни стукоток.

Кормушки — рукою подать,  
За крохи дерутся пернатые,  
Бескормицей долгою взяты,  
А дятлу — своя благодать.

Он, дятел, похоже, таит  
Мужское от века, аскетово,  
Не кружит, как все, над пакетами,  
Как если б удерживал стыд.

Он словно кровей голубых,  
Хоть вырос над серыми ветками, —  
Негоже питаться объедками —  
Мы дятлов не знаем других...

### ДРАНДУЛЕТ

Жизнь российская не вяжется,  
Нет в ней лучшего примет,  
Потому похожей кажется  
На давнишний драндулет.

Ведь вздыхается украдкою,  
Коль не клянется дела:  
«Вот была б дорога гладкою  
И погода весела!

Остальное всё приложится,  
Будь маршрут не наугад».   
Но коль жизнь сильней  
устрожится,  
И колёса все слетят!

## ГАВРОШИ

Босяки остаются в народе.  
Не убрать никуда сиротин,  
Вводит в оторопь нас в новогодье  
Мальчуган у богатых витрин.  
Непрестанное шмыганье носом,  
Что привык рукавом утирать,  
С малолетства судьба  
с перекосом,  
А другой можно только желать.  
И когда по России гламуры,  
Неуюты над бывшей страной,  
Те босяцкие встанут фигуры  
У богатых особ за спиной!

## ПАНДОРЫ ЯЩИК...

Предательство... иль козни свыше,  
Когда является в твой дом?  
На миг безгласен и недвижим,  
И только в горле горький ком.  
Судьбы печальные итоги,  
Земля уходит из-под ног,  
Во всю бы мочь: «Спасите, боги!»,  
Но ты в несчастье одинок.  
Дуэли старые забыты,  
На круг сегодня киллер взят,  
Пандоры ящик всем открытый,  
И сатана толкает в ад!

## ПРИЗРАКИ

В дне вчерашнем в строю запевалы,  
Песен бравых весь вышел черёд,  
Никому не нужны погонялы,  
Только призраки ходят в народ.  
Как в былом — со своею морокой,  
Будто втайне составленный текст,  
И своё вездесущее око  
Простирают, как было, окрест.  
Кто в сараях гогочет и блеет,  
Сколько яблонь и вишен в саду,  
Хоть и призрак, а всё понимает,  
Будто всё перед ним на виду.  
И никшни, коли нормы нарушил,  
Обстригают, как палочку, вмиг...  
...Не иначе, повытрясли б душу,  
Если б жизни былой маховик!

## БУХГАЛТЕРИЯ ПРАВДЫ

Жизнь у правды все дни  
на задворках,  
Там, где пёрышко будто к листу,  
Остаётся в столетиях зоркой, —  
Правде видеть дано за версту.  
Словно цифры итожит все годы,  
Ей ли всей подноготной не знать?  
А когда б состоялись отчёты, —  
Сотням шапок в огне полыхать!

\* \* \*

Прёт машина войны напролом,  
В древнем веке в миру заведённая,  
В яром пламени рушится дом,  
И махина течёт многотонная.  
Беззащитен предел палестин,  
Смерти зло как из пасти  
драконовой,  
Для смятенного зов разъедин:  
Драгоценность листочка зелёного!  
Не поблекнул его хлорофилл,  
Озаривший открытjem столетие,  
Без листа не останется сил,  
И его лишь держу на примете я.

Прислониться б к листочку щекой,  
 Может, дерева скоро не станется,  
 Но и мир без него никакой,  
 Я в миру — безутешная странница!..

## О ТОМИЛИНСКОЙ ТОМЛЕНИЕ

О Томилинской томление,  
 К ней с проспекта повернёшь,  
 Дарит клён для настроения  
 Малахитовую брошь.  
 Украшенье неказистое,  
 Но для сердца благодать,  
 Встреч мосточек с нею выстрою —  
 Свижусь с улицей опять.  
 И в своей судьбе припомнится  
 Общежитская стена.  
 Ай да улица, ай скромница,  
 Хорошо, что ты длинна!

\* \* \*

Дни мои, вы совсем не тихи,  
 Вы к трамплину как будто ведёте,  
 Я во вторник писала стихи,  
 В среду долго была на работе.  
 Надо, надо... а женское ген?  
 Неужели ушло, отсветилось,  
 Отгорело в делах, в суете,  
 И, как звёздочка, с неба  
 скатилось?

Розу, что ли, себе подарить  
 Хоть однажды за многие годы?  
 Нет, не буду деньгами сорить,  
 Есть в саду моём диво природы.

Но раскроется первый бутон, —  
 Отчего-то появится жалость:  
 Роза, роза... как розовый сон,  
 Я цветком луговым  
 любовалась...

\* \* \*

Тётка Моториха, тётка бедовая,  
 Как припаялась фамилия к ней,  
 В гости придёшь — в доме каша  
 готовая,  
 Не было каши пшеничной вкусней.

Вот ведь! Частушками сыпала  
 в праздники,  
 Знала тропинки в лесочке густом.  
 Жаль, что деньки укатились,  
 проказники...  
 Вот поспешить бы мне в тётушкин  
 дом!

Чтобы плеснулись присловья  
 весёлые,  
 Снова б из печки былой чугунок.  
 Только... берёзы на кладбище голые,  
 Да на кресте ветром смятый венок...

\* \* \*

Как мы весело смеялись,  
 Дружно вскинувши платки!  
 В сердце будто бы впитались  
 Паровозные гудки.

Вверх забраться б по откосу,  
 Хоть запретным был откос.  
 Как тянуло к паровозу,  
 К рельсам, к запаху колёс!

Мы с мечтой себя венчали,  
 Не сводя с вагонов глаз,  
 «До свидания» — кричали,  
 Будто кто-то слышал нас.

Дождь вот-вот уже за ворот  
 Аж потоками польёт,  
 Но мечталось: в дальний город  
 Машинист нас увезёт...

\* \* \*

Стих отменно «упакован»,  
 Но подумаю с тоской:  
 Он у дней не отвоёван  
 И, по сути, никакой.  
 Скучность слов про вечер синий,  
 И про ту, что не пришла,  
 Но занозы нет в помине,  
 Чтобы мучила и жгла.  
 Оттого забытый вскорее,  
 Без утехи для сердец,  
 Никакой в печали, в горе,  
 При рождении не жилец!

\* \* \*

Надолго взяты неуютами,  
 Где всяк с собой наедине,  
 Который год бредём как будто бы  
 По снежной топкой целине.  
 Но нет в нас вовсе безрассудного,  
 Транжирства жизней всех зазря,  
 Уйти б от горестного, смутного,  
 Как предкам, мерившим моря.

Не жаждем силы слова вещего,  
 Оно рассеялось как дым,  
 Цветок свободы нам мерещится  
 Во всех веках неотразим!

\* \* \*

Прикоснусь к вам дыханьем  
своим,  
 Не забудете этого мига,  
 Завтра осени горестный дым,  
 А теперь завлечёт земляника.  
 Не уйдёте из леса назад,  
 Отчего, тут не надо загадки,  
 Богородскую траву хранят  
 У щеки мои русые прядки.  
 Затоскуется, может, потом  
 Вам об искре, что в шишечке  
хмеля,  
 Было лето, стояли вдвоём,  
 Вы в глаза мои долго  
глядели...







Георгий САТАЛКИН

## ПАДЕНИЕ

*Глава из романа*

*Георгий Николаевич Саталкин родился в 1938 году в селе Малая Горка Минской области в семье военнослужащего. Окончил Оренбургский государственный педагогический институт. Служил в армии, работал лесорубом, матросом, учителем, фермером, корреспондентом на областном радио. Член Союза писателей России. Печатался в журналах «Москва», «Октябрь», «Роман-газета», в коллективных сборниках. Автор книг «Родной угол», «Блудный сын», «Падение» (последняя подготовлена к печати). Ответственный секретарь Оренбургского отделения Союза писателей РСФСР в конце 80-х годов, инициатор строительства областного Дома литераторов и создания общины «Оренбургское казачье войско» (1990). Лауреат премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостинный Двор» (2009), Всероссийской Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка» (2013). Живёт в Оренбурге.*

### 1.

Давно пытаюсь я приступить к изложению истории этой особенной и всё никак не могу. Как ни крути, а роман получается исторический. Но как же так, откуда исторический? События громоздятся ещё так свежо и рельефно, ещё живы почти все герои моего произведения, и помнят они всё, что с ними совсем ещё недавно произошло, и не хотят вспоминать и беречь: раны кровоточат и сердце заламывает нестерпимой болью.

Всё это так, я понимаю. Понимаю, что вивисекция моя есть дело нехорошее и даже как бы противозаконное по немилосердию своему. Всё это связывает меня ужасно.

Но, с другой стороны, эпоха героев моих отлетела так стремительно, так далеко, так мощно застилается воздухом времени и, главное, главное, так всё сокрушительно переменялось, перевернулось вверх дном и удаляется всё дальше и дальше, что только исторический роман и возможен в изложении животрепещущих

событий моего сюжета. А кроме того, отлетающая эпоха была ни на что не похожа, была фантастической в самом даже угрюмом и заземлённом реализме своём и в чём-то, быть может, совершенно безумная: в смысле потуг, в смысле попыток дать ответ на главный, неотступно идущий за человечеством вопрос — вопрос разрешения грандиознейшей задачи всеобщего счастья, всеобщей любви и правды, — и завершившихся так странно, так обыденно, так легко и просто, словно пошлый и глупый анекдот какой-то.

С горьким, мучительным смехом мы припоминаем теперь, что с нами творилось и вытворялось... и мстим сами же себе за концовку глупую эту, за растрату колоссальную свою, и не верим уже с лёгкостью чрезвычайной и поразительной: да с нами ли было всё... и было ли вообще такое... и возможно ли такому быть... такой невиданной доселе жизни, такому смешному и жутковатому счастью? Мы-то были? Мы жили? Или один только мираж дрожал и струился все семьдесят этих лет?

«Смешному и жутковатому»... Тут ведь тоже загвоздка, и не меньшая, чем соображение насчёт живодёрства авторского моего. Тут словно бы боль смехом выжигается. Всё рухнуло, всё прахом пошло. Везде горе и разорение, а посмотрите, посмотрите вы: огромные залы на разных шутов, стариков и хохмачей набиваются народом. Народу этому пальчик всего-то и показывают, а он валится со стоном, изнемогает до слёз от хохота.

Что это? Болит так уж очень? Да ещё и телевидение множит безумную эту аудиторию по кровотокающему об-

рубку страны — утоляет, уводит боль из сердца, уравнивает в хохоте этом всё народонаселение наше?

Но без боли нет веры! А без веры — свободы! Раб хохочет, а точнее зубоскалит больше, охотнее свободного. Свободный в трудах, борьбе, в поиске. Ему не до смеха. Не-ет, нет-нет-нет! Верующий смеяться не станет — над собою, над отцом с матерью, над минувшим. Верующий не станет хохотать, облегчать себе существование, присыпать язвы и гноища свои порошком «целительного» смеха. У верующего очень трудная дорога. Сказано же: узок путь и тесны врата, ведущие к спасению. Но ведь не только для христиан «путь и истина» в тесных вратах. Я тут верующих беру широко: идейных сюда тоже; в правду, в справедливость, в разум верующих плюсюю сюда же. Сюда же любящих, сюда ищущих, страждущих — всех правдолюбцев свожу воедино.

Но дело сегодня даже не в этом. Самый существенный вопрос в разломное наше время — во что верить? Кому? В бога? Но есть ли он? В идею? Но прошлое — великую цель человечества, — скovyрнули, как засохшую болячку. С чем же осталась моя беспризорная душа? К чему приклониться ей, горемычной? К кому?

Тут необходимо заметить вот что. Не только в моей стране и не только на долю моего народа выпадают такие странные и бездыханные словно бы периоды. Время от времени находят они и на всё человечество или, по крайней мере, на значительнейшую часть его, когда веру, как козявку какую-нибудь, одним пальчиком сощёлкивают. Пальчик шевельнулся

— и громадный, веками изнурительных трудов и высочайших подвигов воздвигнутый храм веры рушится, и оседают беззвучно исполинские куски стен и сводов, и пыль по континентам немо клубится.

Иной раз даже взмолишься, глядя, как само вроде бы по себе, безо всяких сощёлкиваний пальчиком пресловутым, распадается, рушится казавшаяся незыблемой основа. Господи! Да непосильна же задача веры грешному слабому человеку! Сердце не выдерживает Заповедей Твоих и Уроков, разрывается в тщетных усилиях. А в раздробленном сердце какой же храм? А без храма где место Богу? Хохмы одни на осколках его пляшут, зубоскалят, беснуются. Этим же ведь, Господи, удовлетворились после двух-то тысяч лет примера Сына Твоего, Иисуса Христа, и примера Советской власти? Неужели же такой чепухой, таким ничтожеством, каким полна теперешняя наша жизнь, завершается путь народов к правде и счастью? Опять же, о, Господи, в храмах Твоих торгаши и менялы главенствуют, и мрак от света Ты не отделяешь!

...Если широким взглядом окинуть то, о чём я писать приготавливаюсь и что за роман предстоит нам осилить, то замысел мой можно выразить так: всеми силами, всем тщанием, всем сердцем и разумением будем пробиваться мы к ответу на разверзшийся, как пропасть под ногами нашими, вопрос: куда идти? Мы будем искать Ответ. Он должен быть.

Нам нужно знать: что урок минувшей эпохи означает? Только ли то, что счастье есть незаконное дитя страданий, лишений, крови?

Что страдание и есть Тесные Врата Спасения, которое одно лишь и есть счастье и только одно оно может им быть? Но возможно ли такое счастье, достижимо ли? Вот ведь вопрос, две тысячи лет стынувший над человечеством! И не значит ли этот застой, что решён он, только человек не хочет решения этого принимать, ужасается? Ибо вывод чудовищный тут проступает: катастроф подавай человечеству! Без них хомо сапиенс мельчает, опошляется, сатанеет, и нет счастья на земле?

Нам не менее, чем сам Ответ, важен поиск его. Главное, чтобы мы не осели на развалинах, не застряли в нигилизме. Главное, чтобы мы, понимая именно здесь и сейчас, что свободы без веры не бывает, загорелись бы непреклонным желанием, или, скорее даже, жаждой поиска Пути и Истины.

## 2.

Все приключения Фёдора Филипповича Шамардина, человека, с которым нам волей-неволей придётся сойтись ближе всего, начались с какого-то совершенно нелепого случая, с анекдота, особенность которого среди несметного полчища анекдотов минувшей эпохи состояла в том, что был он анекдотом-невидимкой. Пусть даже те немногие, кто принял в нём участие в качестве, так сказать, действующих лиц и исполнителей, в упор анекдот этот не видели и не знали, и не понимали, что анекдот совершился и что именно от него, невидимого, последовала цепь сокрушительнейших событий, закончившихся драматически, и даже трагедия здесь протрубила в свои угрюмые и тор-

жественные рога, тем не менее повторяю, анекдот состоялся и ничем иным как анекдотом назван быть не мог — свидетельствую в этом!

Вот он, анекдот этот.

Среди ночи, в самый мёртвый час её, когда спящие живут своею и, наверное, нездешнею жизнью, вдруг раздался телефонный звонок.

Длинно, требовательно и как-то даже нагло зазвенел телефон в спальне третьего секретаря обкома партии вышеупомянутого нами Фёдора Филипповича Шамардина, спавшего со своею супругой Ларисой Павловной. Сон у супругов был великолепный. Оба они были в той устоявшейся и цветущей поре, когда жизненный горизонт уже не колеблется, не туманится, юношеские дерзкие мечтания безболезненно и даже «красиво отпали», когда многое уже достигнуто и дорога впереди открыта спокойному и опытному взору: ясная, прямая, солидная.

Замечу тут в скобках насчёт того, что «мечты... отпали красиво». Это высказывание принадлежало Ларисе Павловне. Так она выразилась в одной из длительных, но приятных и увлекательных бесед, которые велись между мужем и женой довольно-таки регулярно на темы самые разнообразные, но чаще всего серьёзные, касающиеся не только партийных и хозяйственных дел области, но и вопросов литературных и философских тоже, и была Лариса Павловна Фёдору Филипповичу собеседницей интересной, и даже, казалось ему, много в чём стоявшей выше его самого, хотя ему, надо признаться, царапали душу такие вот выражения её, как «мечты отпали красиво».

Дело в том, что Лариса Павловна вышла из настоящей партийной среды. Отец её, Павел Захарович Сапрыкин, был известный в прошлом партийный и советский работник, занимавший в своё время третьи-четвёртые роли в областном нашем руководящем составе, то есть входил в номенклатуру, высшую номенклатуру, куда вступали только один раз и выпадали из обоймы в редчайших, чрезвычайных прямо-таки случаях.

Но и отец Павла Захаровича, Захар Иванович Сапрыкин, тоже был партийцем и красногвардейцем. То есть сражался на гражданской войне и под ударами белоказаков, бросив свою семью, отступал из Оренбурга на Актюбинск. Зато потом, как только в городе нашем была восстановлена Советская власть, двинули его на руководящую должность. И был Захар Иванович первым заведующим городским коммунальным хозяйством. Ну да об этом как раз факте сообщалось, как бы скороговоркой, между делом. Главное же состояло в том, что дедушка Ларисы Павловны первым был, красногвардейцем был, был членом партии с одна тысяча девятьсот аж восемнадцатого года. Был, наконец, сподвижником таких борцов, таких исторических местных деятелей, как Кобозев, Постышев, Великанов, Измайлов...

И сама Лариса Павловна, со школьной ещё скамьи, горячо и со вкусом включалась в общественную и политическую деятельность. В школе она, едва комсомолкой сделавшись, немедленно возглавила школьную комсомольскую организацию, тотчас же почти признанную лучшей в городе, то есть самой боевой и активной.

В педагогическом институте, куда она поступила после школы, активность её возрастает. С областных трибун она уже произносит речи, в том числе и на широкомасштабных, торжественных, партийных мероприятиях — от имени студенчества, от имени всей союзной и несоюзной молодёжи области.

Прекрасно, вдохновенно, пламенно выступает она — невозможно не любоваться было ею: высокая, статная, белотелая, с каштановой, рыжевато-златящейся косой, со свободной, гордой, чистой и в то же время очень-очень женственной, какой-то даже греховной походкой, которую все старались не замечать и на которую невозможно было — ну никак невозможно! — не обратить внимания. И когда шла по сцене она к трибуне, президиум поворачивал голову свою многоликую за нею и следил за нею с каким-то двойственным интересом.

Нужно сказать, что второй, подспудный, интерес этот вызывал в Ларисе Павловне неподдельное возмущение и протест. Она как бы не понимала — отказывалась понимать категорически! — почему это мужчины смотрят на неё с затаённым сладким прищуром и отчего это они так неуклюже — и смешно, и противно суетятся в её присутствии? И совсем не понимала она, отчего это и женщины не спускают с неё своих восхищённых и... беспощадных глаз — им-то, им чего от неё надо?! Неподдельное возмущение и горячий, искренний протест вызывали у неё слухи о простоте нравов, царивших в комсомольской профессиональной среде, где постель считалась про-

должением, частью комсомольской работы, где в ходу были крепкие словечки, сигаретки да папироски. Пирушки, встречи и проводы вышестоящих товарищей и делегации тоже были составной и существеннейшей притом частью работы.

Знать Лариса Павловна ничего не хотела и о партийном разврате — о домиках всех этих в укромных и пригожих местах, о гостиничках, саунах и русских баньках, о поездках на кавказские и крымские курорты областной номенклатуры — партийной и советской. Грязь, ложь и клевета!

Лариса Павловна не только душою не принимала эту липкую, подлую часть жизни и быта её, марящую и оскверняющую работу, она как могла и на деле боролась с этим гадким явлением: выступала на заседаниях бюро, на аппаратных совещаниях. После вуза, став, естественно, профессиональным работником горкома комсомола, клеймила всплывающие наружу факты разгула и разврата отдельных товарищей; обрывала всякие поползновения на ухаживания и заигрывания с нею всех подряд мужчин. Причём не стеснялась обстоятельствами: могла это сделать и публично, и даже вышестоящего товарища нелицеприятно поставить на место. И её — боялись! Побаивались, сказать точнее, и — не любили. А в ответ она ещё выше поднимала голову, и большие серо-синие глаза на белом породистом лице узились, стыли в какой-то суровой самозабвенной непорочной гордости — так, скорее всего, можно было определить чувства её, добавив к ним только один маленький тайный штришок, штришок самолюбования и

восхищения самою собой, невинного совершенно, впрочем, самолюбования и восхищения.

Но об этом тайном штришке своём Лариса Павловна долго не догадывалась (и в этом именно заключалась невинность её), и если бы ей кто-то указал на него, она бы искренне опять возмутилась и обиделась бы. Но ей никто на особенность тайную её эту не указывал, и она всё длительнее, всё пристальнее разглядывала себя в зеркале, или когда лежала в ванной, или стояла под душем. Всё нежнее и нежнее и даже как-то сладостнее, сладострастнее купала она, если можно так выразиться, саму себя — намыливала свои крупные тугие груди, белый просторный купол живота, бедра, полные сильные ноги свои, не замечая тумана в собственных глазах, приотворённых губ и нежно-прозрачного румянца на щеках, и лёгкого, необычного какого-то опьянения, истомы сладкой, мягко, тягуче ломающей всю её, куда-то вниз тянущееся тело. И вот однажды томная, длинная истома...

Нет, нет-нет, не могу я продолжать, не хватает у меня принципиальности, чтобы и дальше вторгаться в интимнейшую подробность жизни хорошей, милой, чистейшей во всех своих помыслах девушки, к тому же и не любимой отчего-то многими. Нужно мне непредвзято к ней относиться, и шире, чем сама она на себя, смотреть на неё. И понимать не только душу её, но и тело. Скажу только, что плакала она безутешно, совершенно по-детски, и потом, в слезах утихших, долго думала о себе.

Но Лариса Павловна (её, кстати, ещё девочкой, начали звать по имени-

отчеству, сперва в шутку, а потом — по-другому как будто бы было уже нельзя, нехорошо, неправильно) не просила прощения в своих размышлениях и думах — у кого? Была неверующей она, полная и законченная атеистка, всосавшая атеизм этот с молоком матери, с молоком пионерии и комсомола. В отмякшей, притихшей на минутку душе своей она постановила забыть свой случайный грех, зарыть его глубоко и безвозвратно — это во-первых. А во-вторых, сказала она себе, замуж тебе пора. Надо спастись. Иначе та высота, на которую она почему-то вознесла самою себя, та бескомпромиссная, честная, чистая и святая позиция погубит тебя. Ну не выдержит она, не удержит в узде своё развившееся прекрасное тело, ударится в разгул, какого и без неё достаточно в комсомоле, предаст непорочные идеалы и станет она такой же, как знаменитая в своё время Мария Фёдоровна, секретарь обкома партии по идеологии, с кем только и где не валявшаяся (разумеется, тайно и, разумеется, с комфортом. Словечко «валявшаяся» употреблено здесь из чисто психологических требований, с тем, чтобы подчеркнуть и высветить состояние души Ларисы Павловны в тот момент), как и Ленка — ломовая лошадь, ещё одна знаменитость комсомольская. Как... да мало ли их безмужних партиектружениц, сжигавших себя на суровой работе и отчаянно, судорожно, как утопающие, хватавших при случае любого мужика и заваливавших его в постель к себе.

Счастья хочется всем, поняла тогда вдруг Лариса Павловна, пусть даже и такого, искажившегося под

тяжёлым грузом непорочных идеалов и устремлений, пусть убогого и грешного, какое досталось Марии Фёдоровне и всем ломовым лошадям в юбке на партийной работе, и на самом краю которого оказалась и она.

Мысль о счастье, о всеобщем первородном праве человека на него, причём любого, пусть даже скверного самого, только прошлась по убитому сердцу Ларисы Павловны. Но странно, мысль эта бесследно не исчезла, как не раз уже случалось с мыслями её, а легла на одну из полочек души её и стала впоследствии важным и болезненным предметом для фундаментальных разговоров с супругом её, Фёдором Филипповичем. Болезненным, заметим мы тут опять в скобках, сами знаете почему: напоминала подспудно и неумолимо идея счастья о грехе её постыдном, пусть даже глубоко и безвозвратно упрятанном, ибо вылепилось непредсказуемо в сознании Ларисы Павловны: быть счастливым — нельзя, это грех, ибо счастье в основе своей таит нечто постыдное, разлагающее и развращающее душу человеческую. Но раз досталось тебе оно, то нужно его таить и прятать, нужно всячески делать вид, что нет его у тебя, лично у тебя, у тебя одного, а есть только работа, работа, работа — всецелое служение общему делу, бескомпромиссная борьба за светлое будущее.

### 3.

Вот тут-то и появился на горизонте Фёдор Филиппович наш, Шамардин.

Лариса Павловна крупной, фигуристой была девушкой, а Фёдор Филиппович ещё крупнее и массивнее

оказался, с простонародно-развитым, как любили писать классики нашей литературы, телом: толстые руки, толстые ноги, толстые плечи — не жирные, а именно толстомясые, и шея — крепкая, литая. К этому туловищу дано было большое, крепкое серьёзное лицо с тёмно-русскими вьющимися слегка волосами. Даже как-то странно было, что его до сих пор, когда встретила его Лариса Павловна, никто из женской половины человечества ещё не захватил, не оприходовал, не надел на шею хомут каких-либо отношений. Отношения с Ниночкой Андреевной Саморядовой, о которых речь пойдёт ниже, ни ею, ни им в расчёт не принимались. Следовательно, был он не только холост, но и совершенно одинок.

Невольно можно было даже подумать, что именно встречи с Ларисой Павловной, с нею единственной, ждал он, а она — ему одному как бы только и предназначалась. Вскоре эта мысль распростёрлась по всему сознанию её, по всей её прошлой жизни, вытеснив все эти «вроде» и «как бы» напрочь куда-то. А раз так, то она должна и обязана его любить, она его обязательно полюбит. И Лариса Павловна полюбила-таки его наконец — сначала умом, как бы идеей одной, потом судьбой, в чём-то схожей, одиночеством скорее всего — и её, и его, а уж потом и всем сердцем чистым своим.

Она полюбила его горячо и беззаветно лишь после того, как много и самоотверженно поработала над устройством... э-э, как бы тут выразиться поделикатнее, ну да ладно, чего уж там — карьеры Фёдора Филипповича. Заметим ещё раз в скоб-

ках, что слово это было тогда чуть ли не запрещённым и употреблялось оно только в отрицательном смысле, для характеристики не наших явлений и лиц, то есть подпольным было словечко это. Дело в том, что молодой Шамардин был человеком не только без образования и без каких-либо связей — прошу этот факт обязательно учесть и запомнить! — но даже без определённого места и положения в настоящем, а значит, по твёрдым понятиям Ларисы Павловны, без будущего он был. Он был никто, будущий супруг её. Пустое место.

Демобилизовавшись из армии, Фёдор Филиппович в деревню свою родную, где совсем в одиночестве жила и работала дояркой в колхозе его мать, не вернулся, а устроился согласно своим габаритам бетонщиком на стройку. Снимок тогда ещё в областной молодёжной газете промелькнул: группа демобилизованных солдат прямым ходом с чемоданами дембельскими, в парадной дембельской форме — на стройку. Стройка была всесоюзной, комсомольской, ударной — в нагорных степях на востоке обширнейшей нашей области возводили город и обогатительную фабрику, рядом с месторождением медной руды.

Лариса Павловна и название молодого города связала как-то со встречей, с Фёдором Филипповичем, с их любовью, их совместной судьбой. Гай — вот как город назывался. Весёлое что-то в названии этом Ларисе Павловне слышалось, звучное, светлое, чистое. И Лариса Павловна, заметим мы тут шепотком и украдкой, очень любила всё красивое и видела порою красоту даже

там, где она, так сказать, и не ночевала. Конечно, она знала и помнила издевательскую реплику Владимира Ильича по поводу тургеневского Аркадия, который любил говорить красиво и которым Ленин бил своих политических врагов. Помнила, но ничего с собой поделывать не могла и шла здесь наперекор вождю. Любила очень Лариса Павловна не только красиво, но и торжественно и выпендренно порою даже выразиться. От съездов и слётов у неё это осталось, от высоких трибун страсть невинная к парадному «штилю» сохранилась, страстишка, точнее.

Когда они познакомились, бетонщиком Фёдор Филиппович уже не работал, хотя вроде бы и продолжал всё ещё числиться им. А пристроился он в комсомольском штабе всесоюзной ударной разны «молнии» выпускать, точнее, разносить и расклеивать листки эти по заборам, стенам и столбам. А заодно причислил себя к внештатным сотрудникам районной газетки, организовав не совсем, правда, ловко, так как ни с кем вопрос этот не согласовал, корпункт газетки на стройке, точнее, в общежитии, в комнате, где проживал он тогда. И ещё были у Фёдора Филипповича какие-то общественно-комсомольские дела, мелкие. Много их было, и множество он сам на себя навесил. А деньги — деньги получать в общем-то было негде. Жил он в общежитии тоже на птичьих правах, так как комендантша, невзлюбившая энтузиаста и самозваного общественного деятеля, самовольно присобачившего к дверям комнаты, где стояла койка его, тетрадную страничку с надписью: «Корпункт газеты. Кор-



респондент Ф.Ф. Шамардин», гнала его и всячески притесняла: не платил «корреспондент» за место своё в общаге.

Это объявление на вырванном из тетради в клеточку листке и особенно этот «корреспондент» занозой сидели в душе комендантши, которая, будучи личностью продувной, вспыльчивой, мстительной и капризной, прямо-таки взвилась вся от этого «корпункта». Что это ещё за своеволие, что за самоуправство-таки? Кто разрешил? Не потерплю! К тому же внутри этого гнева комендантского копошился страх, она всех этих «корреспондентов» ненавидела и боялась: писали они и о делишках её не раз, не раз оргвыводы по их наущению обрушивались на её бедную голову. Доходили до неё также слухи о том, что сам «корреспондент» Ф.Ф. Шамардин работу свою основную бросил, денег ему никто не платит, а на какие средства, извините, живёт этот толстомясый? Этот бугай молодой — здоровый и красивый? Именно этот вопрос больше всего раздражал и в ярость даже приводил комендантшу.

Действительно, на какие шиши Фёдор Филиппович существовал в эту пору, было неизвестно даже ему самому. Кто-то в столовку за компанию приведёт и накормит, кто-то булкой с чаем угостит, кто-то рублёвку или даже трояк подкинет... Почти что нищенствовал Фёдор Филиппович. Но питаясь кое-как, он тем не менее не худел, не терял румянца и свежести своей юношеской.

Странно, неловко и стыдно даже как-то было смотреть на такого дюжего, толстоплечего, из хлебного, хо-

рошо пропечённого, мякиша как бы выделанного парня, занимающегося какими-то бумажками, статейками, пустопорожней беготнёй с мелкими поручениями от девчонок из комсомольского штаба. Бетонщики зарабатывали тогда огромные деньги, в почёте были. А такой большетельный силач, как Фёдор Филиппович, мог «зашибать деньги» вдвойне или даже втройне. Мог стать передовиком производства и сделать на этой прямой дороге совершенно блестящую карьеру — подхватили бы его и понесли по слётам передовиков, конференциям и активам, пленумам и съездам. И учиться бы определили, и должность руководящая впоследствии, как яблочко райское, сама в руки упала бы ему...

А Фёдор Филиппович — странный какой-то он или глупый, или даже чокнутый слегка — ухватился за мелочовку, за пустяки, за пустоту в общем-то. Вот где вопрос, вот где загадка: почему опустил себя так, зачем позволил себе в таком унижительном положении прозябать? И никто не мог, глядя на Фёдора Филипповича, на его убогую, бездельную как бы, как бы добровольно вычеркнутую из общепринятых рамок жизнь, ответить на злорадные и возмущённые эти вопросы. Но и сам Фёдор Филиппович не мог ответить на них. Он тогда старался их обходить далеко стороной. А позже без стыда и внутренней боли не мог вспомнить тёмный, смутный сей отрезок своей биографии.

Одно время он пытался было дать факту этому такое объяснение: был, дескать, собою неудовлетворён, бетонщиком ни в каком виде становиться не собирался и ушёл с

денежного и перспективного места этого ещё и потому, что дорогу себе в жизни настоящую и единственную нащупывал. И поиски эти, одиночество и неопытность молодости в тупик его завели. И необразованность его тогдашняя, и застенчивость, деревенская какая-то неуклюжесть, которую армия лишь слегка только подправила, и... да мало ли каких тут ещё объяснений можно было насобирать и наскрести!

Однако версия эта слишком простенькой и даже дешёвой показалась ему почти тотчас же, как возникла. Честная, основательная и даже, не побоимся слова этого, благородная (по-своему, пусть даже и по-своему!) натура Фёдора Филипповича отвергала версию эту услужливую. Он до самого дна хотел себя знать и правду искал настойчиво и даже беспощадно по отношению к персоне своей.

Больше всего привлекло его, деревенского парня, вчерашнего дисциплинированного солдата, то (тут он всякий раз задумывался, паузой этой как бы ещё и ещё проверяя правдивость, истинность, искренность показания своего против себя же)... да, именно то, как приезжало на стройку партийное и комсомольское руководство. Как местное начальство водило представительных и таких значительных товарищей по объектам (слова-то, слова какие!), всё руководящим товарищам показывая и разъясняя. А они смотрели на всё... трудно даже выразить, ну невозможно сказать, как смотрело руководство на объекты вокруг себя! Именно взгляды руководителей, выражение их глаз, лиц, их поступь, жесты, — всё, всё пленяло, пьянило,

терзало тихо, сладко и ненасытно душу неискущённого строителя молодого города. Сказкой волшебной, «Аленьким цветочком» всё это ему казалось. Он впал в какой-то совершенно безотчётный соблазн. И возмечтал: самому стать надо одним из таких руководителей и также значительно, умно, прочно шествовать среди свиты, сопровождающей его по объектам (по объектам!). Возмечтал, что называется, и возжелал. Взалкал высших, неведомых ему наслаждений и утех — наслаждений и утех власти.

Но и от этих суровейших саморазоблачений Фёдор Филиппович вынужден был отказаться. Правдой труднодоступной для него было то, что он действительно не знал, почему он в пору молодости своей цветущей стал вдруг вести жизнь мелкую и ничтожную. Бесцельно и бессмысленно суетливая, побирушечная по сути своей жизнь была у него тогда, у Фёдора Филипповича, у Шамардина. Как-то духом он рухнул. Духом — прежде всего, а потом уже расквасилась вся его материальная сфера: работа, деньги, общежитие.

И не было провалу этому внезапному ни объяснения, ни оправдания. И всю последующую свою жизнь тайный, подпольный стыд и пустота, не дававшая ответа, тяготили душу его. И даже тогда, когда сам Фёдор Филиппович годами обо всём этом не вспоминал и не ощущал в себе наличие сосущего стыда, стыд этот тем не менее работал в провале этом, в пустоте безответной. Провал был и как бы сам по себе существовал отдельно от Фёдора Филипповича, не зарастал, не рубцевался...

Татьяна ДЕГТЯРЁВА

## РОДНОЙ УГОЛ ГЕОРГИЯ САТАЛКИНА

*«Нужна бесстрашная художественная и гражданская сила, чтобы на пространстве двадцати страниц создать осязаемо-предметный образ угла планеты под названием «российская действительность».*

*В.Н. Кузнецов, «Половодье жизни»  
(о творчестве Г.Н. Саталкина)*

Трудно не разделить известного мнения, что **ХОРОШО ПИШЕТ ТОТ, КТО ХОРОШО ЧУВСТВУЕТ**, кто способен зацепить читательское сердце, заставить его мучиться, болеть, страдать. Оренбургский писатель Георгий Николаевич Саталкин не просто хорошо чувствует тех, о ком пишет, но каждый раз, буквально растворяясь в своих героях, умело переправляет своё, наполненное до краёв, чувство читателю.

Владислав Бахревский пишет:

*«У Саталкина своя палитра, не наследующая, тем более неповторяющаяся кого бы то ни было, своя, изумительная, самоценная». И ухватить и как-то обозначить обычными словами эту изумительность очень непросто...*

*Георгий Саталкин — писатель-художник, настоящий мастер слова.*

*Его творчество — многоцветное, богатое многими смысловыми оттенками, психологически тон-*

*ко выстроенное и потому убедительно правдивое художественное полотно. Это полнокровная, объёмная проза, какой ей и должно быть, если речь идёт об истинном художественном творчестве. Для писателя-художника главное не «о чём» писать, а «как». Как писатель, взглядываясь в человека, рассказывает нам о сокровенной, не лежащей на поверхности жизни его души. Творчество Г. Саталкина — это каждый раз бесстрашное погружение в такую сокровенность. Как он это делает — объяснить невозможно, и это ни в какие формулы и определения вогнать нельзя. И в таком мастерстве немного найдётся у него соперников».*

Георгий Саталкин, по определению В. Бахревского, — при том ещё и «беспощадный реалист», ни на йоту не смягчающий жёсткость обстоятельств, в которых живут его герои.

При всей условности выделения какой-то определённой темы

(подлинное творчество всегда шире) можно, тем не менее, как важнейшую в творчестве писателя обозначить тему судьбы русской глубинки, её людей в период послевоенной советской эпохи.

Превратность этой судьбы, окаянность русской доли в XX веке — вот поле самых пристрастных творческих усилий писателя.

Первая повесть, с которой Г.Н. Саталкин вышел к большому читателю, — «Скачки в праздничный день». Она написана без малого тридцать лет назад, но непростые вопросы, поставленные в ней, остаются актуальными и сегодня. Это и проблема, так называемого, «маленького» человека, и проблема народа и власти, и вечная проблема нравственных критериев личности и общества.

Интрига, положенная в основу повести, начинается со встречи директора конного завода Павла Козелкова и тренера скакового отделения этого завода Григория Кулиша, которые озабочены организацией традиционных во вверенном им хозяйстве праздничных скачек. Скачки — особенное зрелище, предмет гордости конного завода, на них собирается вся округа и, конечно, приезжает высокое начальство. И, как водится, надо в очередной раз поразить больших гостей чем-то необычным. И вот тренер Кулиш задумывает «сюрприз», по сути, — сложный трюк, требующий от исполнителей прямого риска для жизни. Не всякий может согласиться на такое. Выбор тренера падает на конюха Ивана Агеева и его вовсе не скакового коня Беса.

«А как Агеев на эту идею посмо-

трит, — спрашивает тренера директор. — Это же тебе не армия?

— Ха! — вскрикнул Кулиш, — ... да ему скажи: отруби себе руку — исполнит! Это же такой замечательный товарищ, что вроде как и не человек, а лошадь».

Для Кулиша, который и затевает всю интригу, Иван Агеев — личность малозначительная, почти никчёмная: тихоня, размазня. Жена изменяет ему почти у всех на глазах, а он ничего — терпит все её выходки. С другой стороны, что-то всё-таки задевает, тревожит Кулиша в этом человеке, с чем он никак не хочет согласиться.

«...Кто он такой, этот Агеев? Что он из себя корчит? Ведь только одна его фигура чего стоит — кривоногий и руки короткие. Зачем ему такой лоб? Ему всё равно думать не над чем, из навоза ноздри не выставляет, всю жизнь хвосты лошадям крутит. А глаза какие — страх даже берёт: серьёзно всегда смотрит и умно. В иную минуту усомнишься даже: да Агеев ли это?»

Так выглядит Агеев в глазах Кулиша.

А читатель видит перед собой большого труженика, не просто хорошо, но с любовью и тщательностью исполняющего всякую работу, честного, ответственного за всё, беззлобного, отзывчивого на любую человеческую просьбу. Про таких говорят: святая простота. При всём том, он глубоко, как далеко не каждый, чувствует и понимает природу, ценит всякую жизнь вокруг себя. Он страстно, по-особому любит лошадей. Неслучайно ему удаётся приручить и сделать настоящим другом

самого строптивного в хозяйстве коня — Беса.

Ловкие, прагматичные люди, типа Кулиша, держат таких за дурачков. Кулиш — мастер интриги, укореняющийся тип людей, которые, не имея ни особенного образования, ни высокой должности, зачастую заправляют всеми делами, «кукловодят», преследуя только личный интерес.

Пониманию таких людей недопустимо, как можно что-либо делать во вред себе, соблюдать какие-то непонятные, самому для себя установленные правила, как это делает Агеев. Чтобы только выслужиться перед начальством, Кулиш готов пожертвовать жизнью конюха и его любимого коня. И вот ведь незадача: Агеев всё понимает и, безмерно страдая, идёт, тем не менее, выполнять «приказ» руководителя. Сцена приготовления Беса к скачкам, — по сути, прощание с любимым конём, и об этом невозможно читать без слёз.

В повести драма людей времени партийного диктата: партия сказала надо — значит, невозможно не выполнить.

Это и драма неиспорченного человека, который не в состоянии принять то положение вещей, при котором начальник может быть не прав, или, что он просто глуп, а его советчик — интриган и плут.

Приход недоучек, плутов и лжецов во власть, их наплевательское отношение к людям труда — беда для общества.

Как пишет в своём очерке о Г. Саталкине В. Кузнецов:

*«...писатель, следуя своему принципу высокого и низкого, создаёт свою галерею национальных*

*типов конца века...»* Часто это два противоположных, противостоящих друг другу типа: люди-делатели и люди-пустоцветы, от которых не просто мало толку, а больше прямого вреда.

Как это обычно и водится, такие бездельники подкупают своей внешней обманной приятностью, но при этом, как та паршивая овца в стаде, исподволь всё портят. В рассказе «Аванс» писателем психологически точно выстроен портрет именно такого человека. Это Сиволапов. Он как перекасти-поле, только и изображает вид делателя, бегаёт из хозяйства в хозяйство, ища места полегче да посытнее.

Однажды в ходе деревенского застолья местный уважаемый односельчанин шофёр Сабадаш прямо обвинил Сиволапова в шкурничестве, назвав таких, как он, нахлебниками. Ссора случилась не на шутку: принципиальный Сабадаш мировой от Сиволапова не принял.

И что же? Нерастерявшийся наш герой отправляется в другое хозяйство и ведёт себя так, что совершенно очаровывает его руководителя Александра Жмакина.

«Чем-то он, понимаешь, подкупает, — думает Александр Гаврилович. — Держится с какой-то ненавязчивой и приятной лаской, точно он друг детства твоего. И лицо у него хорошее. Так умно, терпеливо помигивают на нём припухшие глазки, что достаточно окольного слова, а уж он всё сам поймёт, оценит и молча поддержит сочувствием. Или скажет какой-нибудь пустяк, глупость, но всё равно за этим пустяком или даже глупостью угадывается такая

доброжелательность, будто вековое общинное родство дало тут себя знать на минуту».

И как-то само собой получилось, что Жмакин не просто определяет Сиволапова в хозяйство, но ещё и аванс ему выписывает при очевидном и немалом дефиците средств. Показать спрятанное за внешней благообразностью истинное нутро ловкачей — вот главная задача этого рассказа.

Жмакин же — тот самый руководитель нижнего звена, на плечах которого держится всё хозяйство. Усилиями именно таких людей и кормится Россия. Болеющий за дело, он явно перегружен ежедневными большими и малыми проблемами. Таким вокруг оглянуться и увидеть красоту, в которой живут, некогда. Некогда им, увы, всмотреться в окружающих людей и обнаружить пристроившихся рядом с ними обаятельных прохиндеев.

Хорошо, когда в российских хозяйствах есть такие, как Жмакин, как принципиальный Сабадаш. Но когда такие уйдут и останутся одни Сиволаповы, как тогда? Кто и как накормит Россию?

Убеждена, что помимо художественного таланта, есть ещё один существенный показатель в определении истинного писателя — это его человеческая глубина. Она всегда очевидна, а у Георгия Саталкина ещё и замечательно подкрепляется его отношением к женщинам и детям.

Героини Саталкина никак не похожи на почти образцовых и успешных представительниц литературы социалистического реализма. Наташ-

ка из «Родного угла», мать Кольки из рассказа «Паслён», Вера Сивожеlezова из рассказа «А парторга всё нет» — женщины нескладной, незадавшейся судьбы. Все они — замечательные труженицы, но безмятежное будущее не ждёт ни одну из них.

Когда-то Н.А. Некрасов с гордостью за русскую женщину написал: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Эти слова — символ отваги русских женщин в особые, исключительные минуты жизни. У Саталкина же такая отвага его героинь — не исключение, а, увы, ежедневная необходимость, потому что некому больше в их личной жизни «останавливать коней» и спасти свой «горящий» дом. И это про них позднее справедливо допишут: «А кони всё скачут и скачут, а избы горят и горят». Ни одна из его героинь ничем и никем не защищена в своей личной жизни.

Взять, к примеру, рассказ «Родной угол».

Это история молодой деревенской женщины. Её жизнь как-то изначально не заладилась. Родители жили своими интересами, почти не уделяя дочери внимания. Беспризорность Наташки, её простота, излишняя доверчивость к миру, идущая от чистоты натуры, сыграли с ней злую шутку: совсем ещё юной она попала в ситуацию, в которой ничего опасного для себя не увидела и была изнасилована. Уехала в город, где тоже не смогла хоть как-то устроиться, родила девочку и вынуждена была вернуться в родительский дом. И вот здесь, в родном углу своей жизни, и перед односельчанами, и перед небезгрешными ро-

дителями, и перед предавшей её подругой — перед всем белым светом ей мучительно стыдно: болит её душа и за собственную нескладность, и за общую неустроенность вокруг. Героиня проходит долгий и мучительный путь через деревенские пересуды, настолько иногда унижительные, что впору было и сломаться. Но светлая и безответная на зло душа героини, её искренность и доброта помогают Наташке устоять, всё выдержать и дорасти до осознания того, что за всё в своей жизни человек должен отвечать сам.

Писатель — мастер всегда непростого человеческого характера, его глубинной, потаённой сложности, которую он создаёт магией только ему подвластного слова.

В рассказе «Паслён» полное отсутствие событий как таковых, только описание дороги маленького Кольки и его матери к бабушке. Колька и до этого совершал этот путь, но почему же сегодня он так мучительно труден? Почему так неласкова, даже сурова, резка и тороплива его мать? Почему больно, до слёз дёргает она Колькину руку и почти не обращает на измученного сына никакого внимания? Колька не знает ответа, но всем своим маленьким существом ощущает он пришедшую к ним беду.

Показать внутреннее состояние своей героини, сдерживаемую всеми силами горькую бурю чувств несколькими, чисто внешними мазками — это искусство.

От бабушки мальчик узнаёт, что их бросил отец, и теперь мать вынуждена уехать в город на заработки, оставив Кольку на стариков.

И растущий в огороде паслён, пожалуй, единственная радость для маленького мальчика, оставшегося, по сути, сиротой при живых родителях. Мы не знаем, найдёт ли заблудившийся в своём отчаянии Колька дорогу к бабушкиному шалашу, но так или иначе, чувство непоправимого детского одиночества, горького душевного надлома уже не оставит его.

Каждая героиня Саталкина — наедине со своей нуждой и бедой, а промельк радости если и случается, то ненадолго, как в рассказе «А парторга всё нет».

Это рассказ о доярке Вере Сивожелезовой. У неё семья, двое детей, но счастливой её никак не назовёшь. Муж — горький пьяница и забулдыга, ни о чём, кроме бутылки, не думающий. Забитая семейными проблемами, героиня живёт безрадостной, беспросветной жизнью. И вдруг зажигается для неё свет в оконце — появляется в их хозяйстве новый парторг Андрей Васильевич, который не просто «вытащил её из отстающих, забитых ... в передовые, в партию Верку Сивожелезову вовлечь», но и что-то изменил в ней самой.

«...Сон этот, невозможно сладостный, продолжался: она — в числе лучших, со знаменитыми на всю область в одной, как она для самой себя определила, «компании» на слёте передовиков.

Ни одного слова «любовь», «симпатия» или чего-то в этом роде не звучит в рассказе. Да и сама героиня ни за что не отважится как-то обозначить своё отношение к парторгу. Но таково искусство автора, что сло-

вом не названо, но так ощутимо, так светится в рассказе это чистое, именно целомудренное присутствие в нём этих чувств героини!

Но вот парторг куда-то убежал по делам, оставив свою подопечную. И надолго оказавшись одна в этом прекрасном зале, полном хорошо одетых мужчин и женщин, сжимая платочек в красной натруженной руке, героиня вдруг осознаёт своё абсолютное несоответствие окружающему её великолепию. Особенно отчётливо она ощущает и своё одиночество, и то, что «сон этот, невозможно сладостный» — всего лишь сон.

У Саталкина вообще редкое для дня сегодняшнего отношение к женщине. Он женщину «видит» и, как не многие из мужчин, понимает. И не потому, что она в самом деле какое-то особенное существо, а просто потому, что она — женщина, и ей изначально, по природе вещей, совсем иначе, чем представителям сильного пола, живётся в этом мире.

Писатель сочувствует своим героиням даже тогда, когда они, что называется, переступают общепринятые нравственные границы, как, например, в рассказе «День и ночь». Но и в этом случае он не обвиняет и не оправдывает напрочь запутавшуюся Татьяну, он пытается понять, почему с ней такое произошло, болеет за неё.

Дети войны и первых послевоенных лет — тоже постоянные герои рассказов писателя. У них, изначально потерявших право на беззаботность, своя мера понимания жизни, своя мера ценностей.

Вот, например, проникновенный рассказ писателя «Утро».

Для главного героя рассказа, семилетнего Толика это холодное рождественское утро началось со сладостного ощущения того, что день подарит ему что-то очень хорошее, необыкновенное.

«Громадная, страшная, величественная, едва угадываемая, как седая тень мороза, мечта высоко, до обмирания, до сладостного страха возносила душу, а потом из выси этой неизмеримой она летела куда-то вниз, в пропасть, и Толька не знал, что больше ознобливает, сотрясает его — холод бесприютный, барачный или почти небесная, звёздная высота грядущего».

Недавно его отец ушёл из семьи, оставив троих своих детей. В свои семь лет мальчик хорошо понимает, что теперь их и без того скудная жизнь будет ещё труднее и что он, Толик, — старший теперь после матери. Но сегодня утро рождественских колядок, мальчик давно ждёт его.

И так случилось, что самый маленький из троих колядовавших детей, худенький и плохо одетый, он собирал больше других — аж целых 15 рублей. Сумма в представлении ребёнка огромная. И вот теперь перед ним трудный выбор — как ею распорядиться?

Сначала «...он представил, как возьмёт целый кулёк из толстой серой бумаги именно этих залежалых конфет, как молча — и хмурясь, и улыбаясь, положит их на стол перед матерью, и та бережно возьмёт одну и бережно откусит краешек, с уголочка, с такой измученно-печальной, тихой, виноватой лаской в глазах, что смотреть в них Толька не сможет,



потому что если в них смотреть, то он не выдержит, и сам, не зная почему, заплачет».

Но есть у Тольки давняя заветная мечта — он страстно любит и хочет рисовать. Денег у него как раз хватит на коробку красок с двумя кисточками и ванночкой для воды...

Много-много раз «он застаивался перед сказочным богатством на полках и витринах магазина так долго, что продавщица с кассиршей начинали потихонечку выпроваживать молчаливого, ничего не отвечающего на вопросы мальчонку...»

«Не мог Толька ни продавцам, ни даже матери сказать, что видит и не видит даже — ощущает, чувствует цвет каким-то совершенно особым чувствованием — он для него как хлеб, как вода, как воздух: он предметен, имеет свой вкус, свой запах».

«Он никогда ни с кем не открывничал, не говорил, как хочет, как нужны ему эти краски!»

«Как, ну как ему теперь быть? Куда идти, в какой магазин? В какой?»

Читатель напряжённо ждёт, какой же выбор сделает мальчик. А рассказ заканчивается несколько неожиданно:

«Утро разгоралось — ясное, морозное, хрустящее новогоднее утро, а Толька, всё ещё нерешительно топтавшийся за воротами, страшно не хотел, чтобы оно превращалось в день».

Почему?! Потому что выбор Тольки очевиден: мальчик, с таким чутким сердцем, с таким недетским пониманием относящийся к своей несчастной матери, к оставленным

отцом сестрёнке и братику не может пожертвовать их радостью ради своей, пусть самой заветной мечты. Но пока длится утро, ещё длится и его прекрасная иллюзия — эту мечту осуществить.

Недосказанность, недоговорённость как искусство обозначить сложность и неоднозначность многих явлений жизни, а более всего тайну «сокровенной внутренней жизни» человека — вот задача, каждый раз с блеском разрешаемая писателем. Например, в рассказе «Однажды осенью».

Это небольшое, яркое, как вспышка, размышление на тему творчества и творца, ответ на вопрос «каким должен быть писатель». Юный герой рассказа Алёша, покинув родной уютный дом, любящих родителей, добровольно отправляется служить простым матросом на старый катер с целью мир посмотреть, людей узнать, чтобы потом стать настоящим, знающим всему цену писателем. Ему это легко удалось, потому что «зарплата матросская была мизерной» и потому что характер механика этого катера — Авраменко Григория, просто терроризировавшего каждого служившего с ним матроса, был ужасным.

И вот новое испытание для матроса: капитан и механик на одной из стоянок ушли в город, оставив катер на Алёшу. Тот, забывшись, не увидел, как судно стащило с песчаной полосы. И только невероятными усилиями, преодолевая небывалый страх и смятение, юноша исправляет положение, выводя катер на место. И это делает его впервые здесь, на этой незадавшейся службе

по-настоящему счастливым. Ему открывается истинное видение своей будущей профессии писателя.

«Важнее всего то, ...что внутри тебя самого происходит. Сокровенная внутренняя жизнь — вот где человек подлинный, вот где жизнь настоящая таится! Но и это ещё не всё! Важнее всего, наверное, то, каков ты сам есть, пишущий, что несёшь в своём сердце, как себя ведёшь в реальной жизни и соответствуешь ли ты слову, провозглашённому тобой, писателем?»

Ближайший же случай, увы, трагический, ещё более обнаруживает сущность Алёши и доказывает, что дело, которому он хотел посвятить себя, выбрано было им по праву...

Рассказывать о войне можно по-разному. Можно создать многостраничный роман и при этом оставить человека равнодушным. А можно написать сравнительно небольшое произведение и сокрушить читательское сердце. Это и делает в своём рассказе «Летом после войны» Георгий Саталкин.

Такое безобидное, пожалуй, даже обнадёживающее название рассказа! Ведь лето — это самая безмятежная, приятная пора. «После войны» — значит, самое страшное позади. А рассказ Георгия Саталкина как раз о том, что не для всех это «после войны» стало возможным.

В рассказе весь ужас войны, всю её трагическую неотвратимость вместил всего один день жизни семилетнего мальчика Мити Вознякина из небольшого российского городка.

Повествование блистательно выстроено на контрасте внутреннего состояния двух его главных героев.

Как хотелось маленькому Мите Вознякину взглянуть за пределы своего городка — мир посмотреть. Мир представлялся большим, загадочным, сулящим непременно радость. Долго просил он родителей отпустить его с поселившимся у них в доме после войны Рубановым в его очередную инспекторскую поездку. Наконец согласие было получено.

И вот началось это долгожданное для Мити путешествие. Писателю замечательно удалось передать момент настоящего, только в детстве возможного счастья открытия красоты мира: поднимающееся над горизонтом солнце, звенящие в небе жаворонки, неожиданные краски, запахи — всё восхищает и заставляет трепетать детское сердце. И так хочется разделить с кем-то эту переполняющую радость...

Но его попутчик не отзывается на чувство мальчика. Митя видит перед собой только мерно покачивающуюся широкую, тяжёлую и равнодушную ко всему спину сурового и страшноватого человека.

Ни имени его, ни отчества он не знает — Рубанов и всё. И уже одно это обстоятельство рождает чувство чего-то тревожного.

Митя плохо понимал, почему поселился у них в доме этот странный человек — Рубанов, довоенный однополчанин отца.

И почему, когда напивался, то часто «...осевшим, страшным шёпотом задаёт он один и тот же всех истязующий вопрос: а мои где? Где Маргарита Севастьяновна, где Дина, Мила и Юрка, сыночек его?!».

И однажды неожиданно для всех, по какому-то детскому наитию

Митя разрешает тяжкое сомнение постояльца:

— Бомба упала, взорвалась, и все они погибли...

«И теперь какую-то странную, безысходную, неуследимую вину вознякинской семьи перед Рубановым ощущал весь дом, вся крохотная квартирка в Лесной школе, и весь город, и весь, кажется, мир нёс эту казнящую вину перед этим толстым, лысым, со щелями вместо глаз и лягушечьим ртом человеком...»

Пройти всю войну «от звонка до звонка», перенести все тяготы и унижения плена, отважиться на дерзость побега, чтобы возвратиться домой и обнаружить, что дома-то и нет, как нет и ни одного родного человечка.

Именно такой жестокий счёт выставила война главному герою рассказа.

И среди многих, перенесённых этим человеком ударов судьбы, этот, уже послевоенный, оказался самым мощным, поистине сногшибательным.

Читая рассказ «Летом после войны», проводишь невольную параллель с классически известным рассказом М. Шолохова «Судьба человека». Внешняя канва судьбы Андрея Соколова и Константина Рубанова почти одинакова. Одно поколение. У того и у другого к началу войны сложилась семья, родилось по трое детей, оба прошли войну, перенесли все ужасы плена. Но главная беда — потеря всех самых родных людей — была у обоих впереди. Только в рассказе Шолохова личное горе героя преодолено, а в произведении Саталкина этого не случилось, что

художественно оправданно. Перед Шолоховым стояла другая творческая задача: надорванному войной народу требовались надежда, светлые эмоции.

Цель Георгия Саталкина — иная. После войны прошло много лет. Многое стало забываться. А главное, люди перестали ценить жизнь, забыли о страшной цене, заплаченной за победу.

И рассказ Саталкина — жёсткий удар по такому благодушию и беспамятности. Он потрясает. А именно это и нужно сегодняшнему, особенно молодому, читателю.

Говоря о творчестве Георгия Николаевича Саталкина, нельзя обойти и такую важную его составляющую, как искусство пейзажа. Вот где его талант художника проявляется с особенной силой. Природа в его произведениях всегда настоящая, живая, говорящая, полная волнующих тайн.

«Но вот Колюшка выскочил из-под деревьев и застыл, точно налетел на что-то и себя уже не помнил, не было его как бы уже. А было: вдали, за песчаными гривками, за коричневато-лиловой, тёмно пестреющей галечной россыпью плавно неслась тугая, стеклянно-зелёная речная гладь. И было в безмолвном движении реки что-то жуткое, непреклонное, пленительное, приводящее в немой восторг всё обмирающее существо этого человечка»...

Написать так, что и читатель вместе с мальчиком, будто впервые, ощущает и жуть, и непреклонность водной стихии, и даже её запах и вместе с ним обмирает сердцем — это дар особого видения.

И потому вовсе не случаен рассказ «Сегодня снег с дождём».

В нём только два главных героя: рассказчик и поле, в которое он вышел на очередную прогулку. Это рассказ-раздумье. Рассказ-память. В нём удивительное чувство родного, той боли и тревоги за всё, которую можно обозначить известной строчкой С. Куняева: «Чем ближе ночь, тем Родина дороже».

«Тут запахи другие, дыханье вольное, тут цвет матёрого чернозёма утешает глаз. Тут я преображаюсь, делаюсь человеком, который поражает меня самого и счастьем которого я дивлюсь и печалюсь, потому что тот, другой во мне человек, никогда не выберется из оков, будет томиться, умирать во мне и оживать, преобразаться только во время моих отлучек в поля».

«Ходил я по ним и вёснами, когда всё кругом расчёсано крупным гребнем сеялок, умиротворено зачатием.

...И повсюду густо горят одуванчики. Я наклоняюсь, тихо трогаю их жёлтые лохматые головки пальцами. Мне радостно, я улыбаюсь, как в раннем детстве, только вот подламываюсь сердцем всякий раз почему-то».

«Бывал я в полях и летом, особенно в первую его половину. Под разломом синего неба. О, сколько цветов по обочинам дорог, канавам, неудобьям разным! Россыпь смеющихся ромашек, бледно- и тёмно-фиолетовые перья шалфея, малиновые ядра дикорослого татарника, бледно-алые чаши полевых мальв, водянисто-красные капли мышиноного горошка, розовая, белая, желтоватая гуца полынно-пахучих кашек — богатство какое, и всё само в руки просится!»

«...И до того волновали эти вечные запахи, так просто и покойно чувствовал я себя на убранном поле, что, подойдя по мокрозолотому следу грузовика к копне свежей соломы, со всего размаха счастья бросался в её пружинящую утробу и часами валялся, раскинув руки и ноги».

Как же надо любить свою землю, как чувствовать её, чтобы так, каждый раз «подламываясь сердцем», писать о ней!

И как хорошо, как справедливо, что у земли нашей есть писатели, достойные её красоты и величия. Один из них — наш замечательный земляк и настоящий мастер слова Георгий Николаевич Саталкин.

*Поздравляем Вас,  
Георгий Николаевич, с юбилеем —  
75-летием со дня рождения!*

*Дай Вам Бог здоровья и творческого долголетия  
на благо русской литературы.*



Владимир НАПОЛЬНОВ

## «РОДИЛИСЬ СВЕТЛЫЕ СТИХИ!»

*Владимир Александрович Напольнов родился в 1968 году в Кувандыке Оренбургской области. Учился в Оренбургском техникуме железнодорожного транспорта, служил в рядах Советской армии, в том числе в горячей точке – Нагорном Карабахе. Работал помощником машиниста, слесарем, командиром отделения спасателей. Окончил Самарский институт инженеров транспорта, Московскую государственную юридическую академию. В настоящее время – редактор отдела журналистских расследований областной газеты «Южный Урал». Печатался в областных газетах, журнале «Москва», альманахах «Гостиный Двор», «Брега Тавриды», «Родительский день», «Дон», антологиях и коллективных сборниках. Член Союза писателей России. Автор сборника стихотворений «В стране великих потрясений». Участник первого Всеуральского фестиваля молодых литераторов в Нижнем Тагиле. Лауреат областных литературных конкурсов «Победа», «Оренбург», премии имени С.Т. Аксакова, всероссийских журналистских премий имени А. Боровика «Золотой Гонг», литературной премии «По золотому листопаду», посвящённой 75-летию поэтессы Ольги Фокиной.*

### АЗИЯ

Порой нага до безобразия,  
Порой закутана в меха.  
Века была, степная Азия,  
Ты домом лишь для пастуха.

О сколько стрел в тебя метали,  
Огнём пытались разорить!  
Тебя веками покоряли,  
Но не сумели покорить.

То ты по-девичьи невинна,  
То всех готова растерзать...  
Лишь ветру позволяешь чинно  
Скупую грудь свою ласкать.

Века прошли – всё ты не прячешь  
Простор степей во тьму времён.  
И также и поёшь, и скачешь  
Со всех сторон, со всех сторон.

**ВИЛКИ**

В столовке школьной вилок не дают  
С недавних пор. Ножи давно  
убрали.

О добром, вечном — речи не ведут,  
И Пушкина преподают едва ли.  
Ну, может, только в самый  
крайний час,

Когда из районо летят депеши,  
Что вот, мол, деревенские невежи,  
Через неделю будем и у вас!..

Село редееет, папы-мамы пьют  
Почти все поголовно и запоем.  
Ни вилок, ни работы не дают  
Погрызшим в водке взрослым:  
волком воют!

Хоть лучик бы надежды  
ниспослать,  
Хоть проблеск бы — пусть это  
мелочишко...  
Навстречу мне — девчонка  
и мальчишка  
Домой ведут испившуюся мать.

А я приехал им стихи читать!..  
Мне в школе намекнули:  
«Это слишком,  
В столовой им и вилок не видать, —  
Пырнут зараз!.. Прескверные  
детишки...»

**МЕЧТЫ**

Тяжёлый день прошёл как сон,  
Опять округа в чёрном теле.  
Луна — что выжатый лимон —  
Бредёт по небу еле-еле.

Вздыхает в полудрёме степь,  
Едва подрагивая гущей:  
Раскрепощаемая крепь  
Суровится на сон грядущий.

Но и во сне, и в кутерьме  
Мечтать ей никогда не поздно.  
Ведь и во тьме, в кромешной тьме  
Горят пленительные звёзды.

**МОРСКОЙ ЗУЁК**

*Ярославу Назину*

Не каждый в мире уголок  
Для домика сгодится.  
Живёт в степи морской зуёк —  
Редкостная птица.

Издадека сюда летит,  
Из Африки далёкой.  
Всё лето тёплое гостит  
У нас на солнцепёке.

В трудах без устали снуёт.  
Умей себя заставить  
Потомство вырастить своё  
И на крыло поставить!

А тут уже и холода,  
Пора в другие страны.  
Скорей лететь пора туда,  
Где жаркие саванны.

Мне рассказал мой друг Санёк  
(А он ведь орнитолог!) —  
Поёт лишь изредка зуёк,  
И век его недолог.

Вся жизнь — в заботах и трудах,  
И в долгих перелётах:  
Летит зуёк всегда туда,  
Где тяжкие заботы.

Но я услышал песнь его —  
Заливчатые трели!  
Как будто с неба самого  
Мне ангелы пропели.

И если прав мой друг Санёк,  
Звени бодрей, морской зуёк!

**РОВЕСНИКИ**

*Храни себя, храни, Россия,  
Русь!  
Распахивая поле, веруй  
свято:  
Твои подзагулявшие ребята,  
Авось, ещё опомнятся...*

*Ольга Фокина*

Лихих не ведали годин  
И даже, в общем, не тужили.  
Но и до первых до седин  
Совсем не многие дожили.

Сидим на Дне выпускников  
Когда-то всем родной нам школы.  
Но где же Лёха Росляков?  
Но где Андрюха Долгополов?

И скольких прочих рядом нет!  
А нам ведь всем — едва за сорок...  
Сквозит какой-то грозный морок...  
И поминальным стал обед.

О мир, когда ты изменился?  
Друзей приходится делить  
На тех, кто спился  
и не спился  
Пока,  
но продолжает пить!

И чья же в том была вина,  
Что жили — как кому придётся?  
А может, скрытно, но война  
Велась, и до сих пор ведётся?

Больней всего теперь судить,  
Что если и ответ усвоить,  
То никого не возратить.  
И никого не успокоить...

**РУССКОЕ СЕЛО**

Здесь было русское село —  
Веками люди жили.  
Теперь бурьяном поросло  
Всё, что веками было.

Прошли сквозь столько всяких войн  
И малых, и великих —  
Не дай Господь! Но Боже мой,  
Откуда повилика?

Откуда горькая полынь  
И лебеда-бедунья?  
Повсюду глушь, повсюду стынь —  
Беспамятства колдунья.

Лишь кладбище — людской загон —  
Напоминает были.  
Здесь русских множество имён...  
Тех, что веками жили.

**ВЯЗОВКА**

Прошло и закатилось лето,  
Но снова солнце светит мне:  
В одной Вязовке столько света,  
Как в субтропической стране!

Здесь ветер скачет разудалый, —  
Степной казак, лихой казах, —  
И сердцу мало,  
мало,

мало

Метаться в вековых вязах.

Гляжу на весь на мир окрестный,  
Пытаясь дрожь в груди унять.  
Как жаль, что я совсем не местный,  
Не мне тут ветры догонять.

Но всё же — пусть уснуло лето,  
А я тут на день — не беда:  
В одной Вязовке столько света!  
Запоминаешь навсегда.

**СТИХИ С НАТУРЫ**

Сижу в селе, пишу с природы —  
 Не курам на смех, не спешу...  
 Сбегались от соседей куры  
 Глядеть на то, что я пишу.

Слетались воробьи, синицы.  
 И даже щупленький зүёк  
 Глядел, как ветер мнёт страницы,  
 Исписанные поперёк.

Слова легко слетались в строки,  
 Паря под птичий говорок.  
 Слова взлетали, как сороки,  
 Под наблюдением сорок!..

К исходу дня, устав изрядно,  
 Я утомился, сам не свой.  
 И недовольно куры рядом  
 Встряхнулись и пошли домой.

Синицы тренькнули, прощаясь,  
 Затосковали воробьи.  
 К обыденности возвращаясь,  
 Печали вспомнили свои.

И всё как будто стало прежним,  
 Как со времён ещё сохи.  
 Но на земле на этой грешной  
 Родились светлые стихи!

**СУГРОБЫ**

Румянцы щёк и злы и ярки,  
 Сугробов много намело.  
 Мороз прочёсывает парки,  
 Но как-то вяло, тяжело.

Почёсывает шубы нутрий,  
 Но видно по всему — зачах!  
 И с каждым следующим утром  
 Всё меньше нутрий на плечах.

Картавые вороны крики  
 Сугробам предрекают крах.  
 Сугробы — мрачны, злы и дики —  
 Лежат на вжатых животах.

И дышат, дышат, пышут злобой.  
 Но дни давно их сочтены:  
 Зима, морозы и сугробы  
 Теперь уже обречены.







Влада АБАИМОВА

## «ТОЛЬКО РАЗ БЛЕСНУТЬ, КАК МОЛНИЯ...»

*Влада Александровна Абаимова  
родилась в Оренбурге. Окончила  
среднюю школу № 76. Студентка  
оренбургского филиала Российского  
государственного торгово-  
экономического университета.  
Печаталась в газете «Вечерний  
Оренбург», журнале «Москва»,  
альманахе «Гостиный Двор»,  
коллективном сборнике  
«Внуки вещего Бояна» и др. изданиях.  
Член Союза писателей России.  
Лауреат Всероссийской  
Пушкинской литературной  
премии «Капитанская дочка»  
во второй номинации (2008),  
лауреат литературной премии  
для молодых поэтов альманаха  
«Гостиный Двор»  
«Чаши бытия» (2010),  
Всероссийской общенациональной  
премии А.Дельвига  
«За верность Слову и Отечеству!»  
в номинации «Литрезерв» (2013).*

Ты вернёшься ко мне  
Из крошечного ада, откуда никто  
не выходит живым.  
Ты вернёшься ко мне,  
Проходя сквозь кислотный туман  
и свинцовый дым.

Ты вернёшься ко мне  
По пылающим рекам, по ледяным  
берегам.

Ты вернёшься ко мне  
Даже в виде земли, приставшей  
к чужим ногам.

Ты на атомных станциях  
Ядерной зимой будешь есть  
отравленный снег.  
Даже если останется  
Волосок от тебя, то и тот прилетит  
ко мне.

Потому что я здесь,  
Героиня твоих бредовых  
навязчивых снов.

Потому что я есть.  
Потому что ты для меня  
не погибнуть, а выжить готов.

\* \* \*

— Возврати мне мою жизнь.  
 — Забери свою жизнь назад.  
 — На запястьях узлы развяжи.  
 — Я тебе развяжу глаза.

— Ева, ты мне уже не сестра.  
 — Ты мне больше, Адам, не брат.  
 Не сладка нам земная страсть.  
 Наши губы — и те горчат.

Рассыпаются миражи.  
 Зарастает бурьяном сад.  
 — Возврати мне мою жизнь.  
 — Забери свою жизнь назад.

— Больно! Будто бы от меня  
 Половину хотят отнять.  
 — О, утешься! Когда умрём,  
 Вновь я стану твоим ребром.

\* \* \*

Забывтый в старом доме,  
 Зброшенный старик  
 Всё помнит, помнит, помнит  
 Каждый пустяк и миг.

Служи верой и правдой —  
 Наука от дедов.  
 А денег мне не надо,  
 Я и без них готов.

Я в новом мире лишний,  
 Словно паук в пыли.  
 Но вишни... эти вишни...  
 О, как они цвели!

Их белизна слепила,  
 Как чистое бельё,  
 И сердце веселила  
 Смирненное моё.

Кому сказать хоть слово  
 Про золотые дни?  
 От всякого дурного  
 Господь их сохрани.

От вещи ли пропавшей,  
 От вредной ли еды,  
 От насморка и кашля,  
 От смерти и беды.

А всё-таки любили,  
 Серчая и кляня!  
 Уехали... забыли...  
 С вещами... без меня...

\* \* \*

Я пишу тебе это письмо  
 Из далёкого тихого края.  
 Пусть оно долетит само  
 До тебя, с ветерком играя.

Как безмолвны здесь голоса,  
 Доносящиеся из жизни!  
 И уже не прольётся слеза  
 По тебе,  
 возлюбленный ближний.

За окном шелестит листва,  
 Птица села на подоконник.  
 На бумагу ложатся слова,  
 И рука легка и спокойна.

Я пишу тебе не о любви —  
 Есть на свете заботы важнее.  
 Не люби меня, только живи,  
 Даже если живёшь с нею.

\* \* \*

Каблуки уже не цокают  
 И волочится подол.  
 Катю ждёт река глубокая —  
 Наименьшее из зол.

Волга-Волженька, родимая,  
Пусти на берег сырой.  
Волга-Волженька, прими меня  
И от глаз чужих сокрой.

Сокрой волнами могучими,  
Волнами, души темней.  
А девчоночки замученной  
Понапрасну не жалей.

Собралися тучи тяжкие  
Над бедовой головой,  
Как повойником украшенной  
Сизой донною травой.

А они так и не поняли  
Катин замысел простой:  
Только раз блеснуть, как молния  
Пред грозой.

\* \* \*

В столбе золотого света  
Порхают рыбы, как птицы,  
Кольшутся сонно и нежно  
Стебли диковинных трав.

Вверх запрокинуты лица,  
Отмеченные печатью  
Мудрости и покоя,  
Что недоступны живым.

Неужто на свете бывает  
Звон стекла, лязг железа,  
Визг тормозов и шелест  
Свежих газет поутру?

В столбе золотого света,  
Под лазурным покровом  
Сон полуденный слаще,  
Чем в небесном раю.

\* \* \*

И ты, учивший меня считать  
Позвонки на спине,  
Стал однажды не нужен мне,  
Как детский рисунок на евростене,  
Как сбывшаяся мечта.

На красную переходя строку,  
Я так и не доверила языку  
Ни слова о тебе.  
А первая стрелка ползла по чулку —  
Причастие взрослых скорбей.

Ты был так мудр, но поздно постиг,  
Что в устах зреет мёд,  
А в сердцах стынет лёд.  
Прости, учитель! Один ученик  
Всегда тебя предаёт.

\* \* \*

Опустилось небо, как плита,  
На лесную дикую страну.  
Осень. Люди учатся летать,  
Прерывая вдохом тишину.

По холодной северной реке  
Ветка одинокая плывёт.  
Ветер на своём языке  
О разлуке вечной поёт.

Чёрные деревья встали в строй,  
Словно воины, на смерть идя.  
Вязнут сапоги в земле сырой.  
Надвигается стена дождя.

Скрип уключин слышен  
сквозь века.

Тянет прелью. Небо и река  
В параллельных плоскостях  
скользят,  
Как и сотни лет тому назад.

\* \* \*

Я в степи, как в пустыне, влачусь.  
 Отойди, Сатана.  
 Истекает бараньим жиром  
   град Астана.

В мире полдень, а в небе месяц,  
   такой золотой.  
 За два дня моя родина стала  
   далёкой мечтой.

Моя снежная, ветреная, ледяная  
   страна,  
 Ты на свете одна, и я на свете одна.

Базар лопочет, серьги бренчат,  
   муэдзин кричит,  
 А в ушах звон русских колоколов  
   звучит.

Тёплый ветер лижет лицо  
   как ласковый пёс,  
 Но никто мне не пригладит рукою  
   волос.

Я лягу на полку лицом к стене  
   и закрою глаза,  
 Чтобы проснуться в чёрных от туши  
   слезах,

Как будто была зима, и шёл  
   тихий снег,  
 И касался дыханьем ресниц  
   родной человек.

\* \* \*

Завтра в полуночную грозу  
 Я воду живую тебе принесу  
 В пустых глазницах своих.

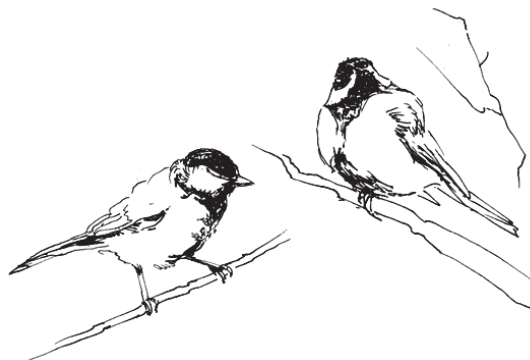
Она горька и солона,  
 Её так много, что хватит сполна,  
 Чтоб вылечить раны твои.

Тебе не нужно сердце моё —  
 Оно в груди, как в земле, гниёт.  
 Всё, что я могу тебе дать —  
 Живая вода.

У кошки боли, у собаки боли,  
 У тебя пусть будет всё хорошо.  
 На холодном теле горячие капли  
 Оставляют ожог.

Отойди —  
 Меня пугает гроза  
 Не сильнее, чем летний слепой  
   дождь.

Погляди —  
 Ты впервые в моих глазах  
 Своего отражения не найдёшь.





*Кириллов Илья Николаевич родился в 1981 году в Оренбурге. Окончил Оренбургский государственный педагогический университет. Публиковался в местной периодике, альманахах «Гостиный Двор» и «Новый Енисейский литератор», журнале «Москва», интернет-журнале «Парус», коллективных сборниках «Оренбургская заря», «Здравствуй — это я!», антологии Оренбургского областного литературного объединения имени В.И.Даля «Внуки вещего Бояна» и др. Лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка» во второй номинации (1999), премии альманаха «Гостиный Двор» «Чаша бытия» для молодых поэтов (2013). Живёт в Оренбурге.*

Илья КИРИЛЛОВ

## «НА РУСИ КОСТРЫ, КАК ВЕХИ...»

\* \* \*

*В ночь с 27 на 28 августа в селе (...) сгорело кладбище (...) Сгорело всё — оградки, могилы, кресты.*

*«В Крыму дотла сгорело кладбище».*

*ИА «Контекст-медиа»,  
Крым, 29.08.2006*

*На днях пожар разгорелся на Кузнецком кладбище, в результате сгорел целый квартал захоронений. (...) Причина проста и банальна — роль сыграл человеческий фактор.*

*«Пожар на кладбище».*

*Телекомпания «ТВН»,  
Кемерово, 18.04.2012*

*Горело кладбище в ночи.  
(Ватага юношей сбежала.)  
И шумом близкого пожара  
был поднят город весь почти.*



## ИЗ ГРОЗНЕНСКОЙ ТЕТРАДИ

### 1

В том курмыше,  
в той заповедной вотчине,  
в том логове за каменной стеной,  
где шесть хребтов, как шесть  
флотов, воочию  
предстали в первый раз  
передо мной;

в урочище, где сунженской  
проточной  
воды гортанна речь и коренной  
жилец вершин во области заочны  
стремил крыло;

в той местности дрянной,  
где эхо выстрелов, до выстрелов  
охочее,  
клял муэдзин, кладя поклон  
земной,

где бредили наёмные рабочие  
войны и мира  
миром и войной, —

предшественники, сверстники,  
воители,  
в предсмертном ужасе глядевшие  
с брони,  
как кровь в ушах, ваш голос  
отрезвительный  
звучал настойчиво, разборчиво  
в те дни!

Ещё подростки — мученики,  
ратники,  
бомбометатели и жертвы гекатомб,  
простите ль нам попойки наши,  
праздники,  
благополучие, здоровье и апломб?

И прочее, и прочее, и прочее,  
в чём нет вины, но это утай...  
Грядут в ночи, немую плоть  
ворочая,  
солдаты, собеседники мои.

Забвенья нет. Есть опростанье духа.  
О современники в плену своих  
истом,  
душа моя внимает вам вполуха,  
как витязь под ракитовым кустом.

Он пал в бою, но он ещё не умер,  
и всё его земное существо  
в слабеющем улавливает шуме  
уж голос, окликающий его.

И он парит над миром и державой,  
пресветлым сном так странно  
окрылён,  
навстречу Воинству, овейанному  
славой,  
его сиянием, как жаром, опалён.

### 2

#### Дерево на скале

Лишь низринется туча, червива  
и зла,  
надвигается следом другая,  
из объятого прахом немого узла  
по гробу на ходу изрыгая.  
Низвергается ветер с орлиных  
высот  
и крылом, голубым в позолоте,  
как повинную голову, махом сечёт  
голубиную тень на излёте.

Я сплетенье узлов. Я не ведаю слов,  
я роняю угрюмые листья  
между бурых, исхлёстанных влагой  
стволов  
в горном воздухе кровопролиться.





где нас не воскресят,  
лишь стены ужасом в бреду  
однажды просквозят:  
мы пали в марь и лебеду  
мгновение назад...

*Грозный – Оренбург*

## АВВАКУМ

...и видев вашу пред собой темницу  
и вас троих на молитве стоящих  
в вашей  
темнице, а от вас три столпа  
огненны  
к небесем стоят простёрты...  
«Житие протопопа Аввакума»

Солнце облаком затмится,  
истомится сердце, веря,  
на восьмой страстной седмице  
распечатываются двери.

Четверых, как по ступеням,  
поведут по снегу рано.  
Край небесный тучей вспенен —  
след вечернего бурана.  
Восприми молитву, Отче!  
Будь со мною, Елифаный!  
Воздух полон мглы сорочьей  
и весенних упований.

Так диковинно зевакам  
видеть зарево за далью.  
И возносится Аввакум  
над страной и над печалью.

Сколько скорби в дальнем эхе!  
Сколько боли в красках  
стёртых!  
По Руси костры, как вехи,  
к небесам стоят простёрты.

На Руси сызмальства всякий  
обретает радость муки.  
Сколько света в зодиаке!  
Сколько нежности в разлуке!

Сколько гордости и грусти  
под упрямый звон кандалный  
изольёт душа, как в устье,  
в речи злой, исповедальной.

Принимай, душа, подарки:  
сплошь морошка да кислица,  
и горит берёза в парке,  
опаляя наши лица.

\* \* \*

Сжигают листву по предместьям;  
натянут канатом витым,  
каким-то неясным предвестьем  
возносится к облаку дым.

Ваш ровня по слову и делу,  
по взору и духу — родня,  
в родные до дрожи пределы  
вступаю, как в область огня.

Объятый мучительным жаром,  
минуя ряды бочагов,  
как по пламенеющим мшарам,  
вдоль зыбких иду берегов.

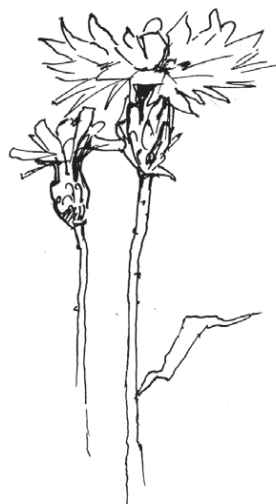
Не глину в печах обжигают,  
не жгуче цветёт сухоцвет —  
то, Родина, путник шагает  
на твой очистительный свет.

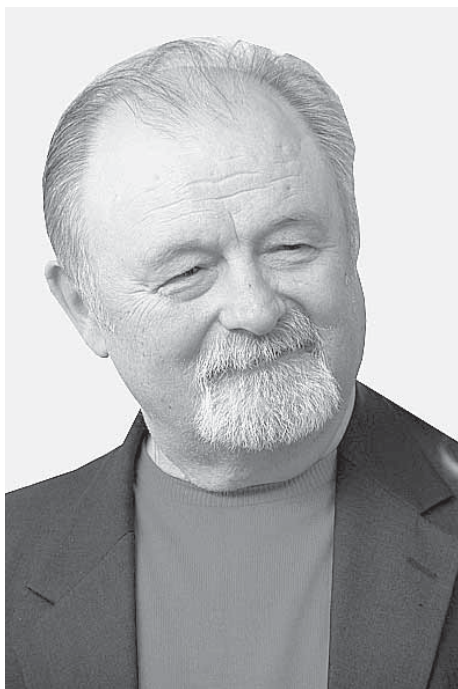
И Родина всеми тылами  
тому, кто охвачен в кольцо,  
сквозь пепел и жёлтое пламя  
вдруг пристально смотрит в лицо.

— Скитаясь по чуждым пределам  
в сиянии чуждого дня,  
о сыне мой, словом ли, делом  
ты не отступил от меня?

— Встречавшимся разным пройдохам  
о разном далёком трубя,  
о мать, ни взором, ни вздохом  
я не отступил от тебя!

И вновь на разбитой дороге,  
подобный прилудному псу,  
свои вековые ожоги  
как знак благородства несу.





Павел РЫКОВ

## НАУЧЕНИЕ ДОБРУ

*Павел Георгиевич Рыков родился в Москве в 1945 году. Учился в школе № 2 Оренбурга, работал на заводе «Гидропресс», затем окончил Московский государственный институт культуры. В Оренбурге – с 1975 года. Работал журналистом на областном радио и телевидении. С 1988-го по декабрь 2012 года руководил Государственной телерадиокомпанией «Оренбург». Ныне декан факультета журналистики Оренбургского государственного университета. Поэт, прозаик, драматург. Член Союза писателей России. Автор пяти поэтических книг. Лауреат международных и российских премий в области радио и телевидения, конкурса «Современная российская пьеса» в номинации «Драматургия добра» (2006), премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2010), региональной литературной премии им. П.И. Рычкова (2012).*

### ПАСХА ГОСПОДНЯ

К Пасхе начинали готовиться загодя. Откуда бралось это слово? Возникло оно как бы ниоткуда, но, слетевши однажды с бабушкиного языка, уже никуда не исчезало, хотя и не выставляло себя напоказ. «Пасха» было словом потайным. Радио его не произносило. В календарях-численниках и слова, и дня такого не сыщешь. Там обозначены всякие другие дни; в марте – красный, будто кровоточащей рукой нарисованный, день рождения товарища И.В. Сталина. В январе – чёрный, словно печной сажей намазанный, день кончины товарища В.И. Ленина. Мелькали один за другим дни Парижской коммуны, работников леса, артиллериста, Военно-морского флота, взятия какой-то бастилии, годовщина Октябрьской революции. Отрывались и выбрасывались листки численника, на которых пропечатаны дни медицинского работника, шахтёра, железнодорожника – каждое воскресенье чей-то день. Не жизнь,

а бесконечный праздник! Радуйся и ликуй! А Пасхи не было, хотя она была, коли к ней заранее принималась готовиться бабушка Софья Аполлоновна.

В апреле 1952 года пасхальные заботы начинались с выбора и покупки муки. В те времена муку в магазинах, случалось, давали. Кто-то прибегал и сообщал задышливо: «Дают». Давали, именно давали абсолютно всё: муку, хлеб, сахар... Приходилось всем, кто свободен от работы или иной повинности, бросая даже ребячьи наши игры, нестись сломя голову, занимать за кем-то очередь и часами неотлучно в ней выстаивать, потому что в одни руки любой товар давали не более килограмма, и кто-то из последних в очереди обязательно выкрикивал, что надо бы по полкилограмма. Хотя кто согласится стоять столько времени за ради какого-то полкилограмма! А если отойдёшь, например, пописать? Очередь могла назад и не впустить! Но если товара было в досталь, и если ты смог дотерпеть-достоять (а как иначе?), то тогда!!! Давали всё, кроме жёстких брикетов фруктового чая. Его продавали. Это были смётки сухофруктов, запрессованные вместе с мелко искрошенными веточками и листочками. Брикет можно заваривать или просто грызть, потому что в прессованном мусоре таился некий намёк на сладость. А иногда чай был и вовсе сладок, когда по чьему-то явному недогляду в брикетной массе оказывалась больше положенного абрикосовой или черносливовой мякоти, сушёных яблок или мушмулы. Свободно продавали и наисолейшую, серебристую хамсу из бочки.

Такую, что можно есть только с голодухи. Потому торговали хамсой по принципу: не хочешь — не бери. Но брали.

А за мукой нужно идти на базар. Он звался колхозным, хотя ни один колхоз там не торговал. Под деревянными навесами стояли бок о бок крестьяне и крестьянки и перед ними на прилавке теснились раскрытые мешочки с мукой. Денег тогда в колхозах людям не платили вовсе. Но, как великую милость, выдавали натуроплату с учётом начисленных трудодней. (Кто из теперешних воспевателей колхозного строя помнит, что это такое?) Скажем, могли выдать некую толику зерна. Его перетирали на домашних жерновах, убережённых чудом в коллективизацию от разбивания, мололи на колхозной мельнице, если таковая была, обменивали зерно на муку, не забывая гарнцевый сбор. Хлеб деревенские пекли и съедали сами. А «излишки» везли в город, словно старатели, намывшие золотого песка. Другого способа заработать наличные не было, как и никакой возможности сбежать из села куда глаза глядят. Паспорта в деревне не выдавали. И вообще слово «деревня» носило несколько уничижительный характер. Паспорта были привилегией городских. Правда, у них там могли быть некие буковки и циферки, которые потихоньку (без лишних свидетелей) в просторечии звали «каиновой печатью». У одних — за плен, у других за «политику», у третьих... У каждого находилось что-то такое, за что можно было припечатать. А если не было за что, следовало при-

печатать на всякий случай. Говоря по-учёному, пре-вен-тив-но.

Да что же это я всё не о том! Договорились же — о Пасхе! Но я и говорю о ней. Вернее, сначала о муке. Покупатель или покупательница в базарный день шли вдоль ряда торгующих и разглядывали предлагаемое. Выбор всегда томителен. А тут — вдвойне. Во-первых, нельзя ошибиться. Куличи требуют хорошей муки. Во-вторых, слушать зазывные слова, смотреть в глаза заведомо униженных людей — занятие тягостное. Вы спросите: «Откуда я это помню?» Да вот, помню. Кругом конечно же полно всякого затейливого: запряжённые верблюды со свалившимися набок горбами, возы с кладью, понурые лошадиные морды, обтёрханные ослики, затрёпаные юбки, штаны, «татарские» галоши с загнутыми кверху носами, надетые прямо на носок грубой вязки. И опять штаны, заправленные в сапоги: обычно кирзовые, изредка яловые и уж совсем в праздник — щегольские «офицерские» хромачи. А что ещё мог видеть ребёнок, влекомый взрослым по весенней грязи? Однако видел я и лица продающих. Кое-кто смотрел на покупателя подчёркнуто равнодушно: «проходи-проходи», а на меня поневоле свысока. И в этом не было гордыни, но только некая спасительная отстранённость. Так смотрели чаще старики. Женщины были поразухабистей: зазывали, льстиво улыбались, заигрывали со мной, сыпали словами, словно сквозь сито сеяли. А в самой глубине глаз всё равно жил страх: «А вдруг не купят? Неужели домой да без выручки?» Муку можно

и должно пробовать. Она, конечно, и на вид одна от другой рознится. Но её ценят не за пушистость и не за красноречие торговки, а за клейкость. Продавец нахваливал, приговаривая: «Кубанка, кубанка, чистая кубанка!» Соседка благовествовала: «Ей-богу, не пожалеете! У нас крупитчатая. Тесто будет всхо-ожее!» Покупательница поопытней на уговоры не льстилась. Она, поплевавши на пальцы — большой и указательный, прихватывала мучицы и проверяла, насколько клейко получилось. Выбирать было из чего. А большой привоз сбивал цены. В конце концов мука покупалась и ссыпалась в хозяйкин полотняный мешочек. Теперь её ждала дома большая глиняная корчага, в которой заводили тесто. Но не всё сразу.

Пасха — это не только куличи, для которых столь придирчиво выбиралась мука. Это ещё и пасха — обязательная творожная пирамидка с усечённым верхом, с отпечатками креста и букв «ХВ» на гранях. И её предстояло сделать. В покупке молока для пасхи я не участвовал. Его приносили в жестяных бидончиках, переливали в большую кастрюлю и тут же ставили в духовку. Там оно начинало томиться. В этом процессе мы с братом принимали посильное участие. Дело в том, что оно должно вытомиться и вытопиться, обрести нежный кремный оттенок, а также тот неповторимый вкус, которым обладает только топлёное молоко «от коровы». А мы-то здесь при чём? А притом, что молоко покрывается пенкой, которую надо снимать. Её снимают, а мы со Славкой тут как тут. Тёплая, коричневая, жирная,

сладкая! Когда молоко достигало готовности, кастрюлю доставали из печи и охлаждали. А затем заквашивали. Но здесь обходились без нас, поскольку заквашивание — волшебный биохимический процесс и лишние глаза ни к чему. Поэтому нас отправляли на улицу или ждали, пока мы утомимся и уснём. Образовавшийся плотный сгусток выкладывали в полотняный мешок и подвешивали над ёмкостью, куда начинала сочиться сыворотка. А вот тут без нас не обходилось. Нельзя допустить, чтобы сыворотка перелилась через край. Приходилось следить за процессом и в критические моменты отпивать. Это, конечно, не пенки, но тоже полезно.

Яйца были свои. Во дворе дома теснились сараи жильцов. И в каждом — расписные куры. Почему расписные? А потому, что каждая хозяйка метила кур краской по-своему. В те годы всяк спасался, как мог. Куры — это одна из попыток выживания. В провинциальных городах России — чуть отступи от здания власти — квохтали куры, надрывались от собственного всемогущества петухи, мекали козы, всхрюкивали свиньи. И коровы также могли гордиться тем, что они горожанки. Ежедневно мимо наших окон шествовало изрядное стадо.

Процесс вымешивания и расстойки теста, а также выпекания куличей описывать не стану. Общение с тестом — занятие почти колдовское. Женщины не жалуют праздных соглядатаев. Был бы я девчонкой, тогда да! Брату — он был постарше — доверяли взбивать белки с толикой сахара для намазывания макушки

кулича. Я завидовал. Но брат честно делился возможностью пополам долизать миску, в которой взбивалась сладкая масса. А когда в субботу всё было готово: куличи испечены и украшены, пасха из формы выложена на блюдо и накрыта крахмальной салфеткой, а яйца выварены в отваре луковой скорлупы, роскошество это исчезало из дома. Всякий раз я не успевал понять, куда оно исчезает? Кто подхватывает и уносит благоуханные куличи, нежнейшую пасху и нарядные яйца? И зачем это делается? Притом, никто из взрослых из дома не уходил. Правда, нас укладывали спать. Но засыпалось не без проблем: куличи манили. Да и Пасха наступала! Но что же это такое, мы не ведали. По всем признакам — праздник. Но в календаре-то его нет!

А утром, когда мы просыпались, куличи уже ждали нас.

— Это уже Пасха?!

— Да, — отвечала бабушка. — Пасха Господня! Христос Воскрес! — и троекратно нас лобызала.

А мы целовали её.

— Значит, можно кулича попробовать?!

Дальше я шёл поздравлять (не зная толком, с чем) деда и родителей. Кто такой Христос? Что означает слово «воскрес»? Так ли важно было это знание мне тогдашнему? Ребёнок живёт образовывающимися в нём смыслами. Но более — ощущениями в процессе зарождения смыслов. Ощущение праздника, не числящегося в численнике, было и в запахе свежее испечённых куличей, и в таинственном их исчезновении и в не менее таинственном возвращении,

и в той особой ласковости, с которой обращалась к нам довольно-таки суровая моя бабушка Соня. Дед в ответ на поздравление отвечал положенное: «Воистину воскрес!» Но без истовости в голосе. А родители просто целовали и не говорили ничего. Затем следовало чаепитие, но прежде надо было дождаться тётю Нюсю.

Вообще говоря, в строгом смысле слова, тётей она не была. И в то же самое время была. В этом также таилось нечто загадочное, до конца мною не понимаемое. Бабушку она называла крёстной. А её звали крестницей. Непонятно! Но непонятное следовало принимать как данность, не требующую объяснений: тётя и тётя. В нашей тогдашней жизни и детям, да и взрослым тоже, многое надо было принимать на веру. С верой в душе жилось проще. Спокойнее. Но вот тётя Нюся, молодая и нарядная, приходила вместе с мужем Володей. Но на самом деле его звали Вадимом. Опять все христосовались. Ставился на стол чай, взрезался кулич, откидывалась салфетка с пасхи, разрешалось взять по яичку. Пасха Господня! Из праздников праздник, которого в календаре-численнике нет.

Только много лет спустя, когда почти все из сидевших тогда за пасхальным столом, ушли в мир иной, я смог уяснить весь смысл моих бессвязных воспоминаний. И здесь поневоле приходится употреблять слово «страх», которое так не вяжется со Светлым Христовым Воскресением. Но без этого слова не уловить аромата происходившего. Говорят, псы чувствуют страшящегося

человека. Опасность заставляет организм вырабатывать адреналин. Он попадает в кровь и почти моментально начинает выделяться через кожу. Но нам не дано учуять, чем пахнет страх. Носы у людей маломощны. Собаки, особенно конвойные, куда в этом смысле совершеннее человека! Конвойных псов, понятно, в доме не держали, но мог и другой кто-то, специально натасканный, принюхиваться к запаху куличей, этой предательской улике таинственного праздника. И потому открыто чтить Пасху было страшно. Дело происходило после войны, во время которой от полной безысходности, и чтобы замуслить глаза союзникам, Сталин восстановил патриаршество и приказал не терзать людей только за то, что они верили в Бога. Но война победно завершилась. Союзники плавно перешли в разряд противников. Настала пора приниматься за прежнее. И принялись. Попам дали окорот. Вновь заспешили по намеченным адресам чёрные «воронки». Ждали в каждый момент такого визита и у нас дома. Деда-то в подобной машине уже увозили перед войной, и только каким-то чудом он остался жив. Не иначе, заступничество Высших Сил помогло. Но 58-я статья никуда не делась, как и социальное происхождение. Не от тех родителей дед имел глупость родиться. Ох не от тех! Значит, и все мы вполне соответствовали глубинному смыслу поговорки: «От худого семени не жди доброго племени». И это правда. Вместо того чтобы сестрьядком и поговорить ладком, например, о падении абсолютизма во Франции или о чём угодно столь же

положительном, ели куличи. Да не просто куличи! При случае, изворачиваясь, их можно назвать «кексом «Весенним». Собрались, мол, чайку с ним отведать. Но сидящие за столом разговлялись освящёнными куличами! Это означает, что некто пасхальной ночью ходил в церковь и мракобесничал: слушал антинаучные поповские рассказы, жёг свечки, молился и крестился. Умилялся и радовался. Возводил очи горе. Ждал того момента, когда Варсонофий — попище долгогривый — пройдёт мимо, взмахнёт кистью, окропит так называемой святой водой. А потом ночью этот некто же нёс освящённое в дом, где каждую пасху ждали возвращения не без трепета. Никто не знал: а вдруг отберут — там, возле церкви в Форштадте, милиции полно. А им что?! Прикажут — и отберут. Да ещё и задержат для выяснения личности и последующего препровождения куда следует. Или глазастые соседки заметят приносимые в дом куличи! Что, например, смотрящему по двору Кузьме не посидеть во дворе да не посмотреть в сей поздний час, кто к кому и с чем идёт. Этот доброхот любил порой захаживать в нашу квартиру с вязкими разговорами на разные темы. Например, про очередное снижение цен на товары. Зайдёт и говорит, и говорит, а потом слушает, склонивши голову к плечу. И так слушает, будто не сами слова, а то, что за словами скрывается. Кто знает, что ему удавалось услышать? Но коли не приезжал ночью «воронок», существенного услышать пока не удавалось. Так кто же был (либо была) этот таинственный некто?

А тётя Нюся и была этим некто. За дедом и всей нашей семьёй следили. И отслеживали всё, что только можно. А за ней что следить? Женщина вроде из простых, малообразованная, отсталый элемент, подвержена религиозному дурману, хотя на выборы ходит, за вовек нерушимый блок коммунистов и беспартийных голосует (с этим строго). Бывшим, из ликвидированного почти подчистую эксплуататорского класса, не родня. Да и муж у неё со вполне пролетарской, кажется, биографией и профессией. С именем, правда, у мужа какая-то ерунда. Но с этим как-нибудь разберутся. Чуть-чуть позже, пока руки не дошли. А что касается крещения... Нельзя же всерьёз говорить о нём, дорогие мои товарищи! Её же маленькую крестили. Она ещё не могла в купели религиозному дурману сопротивляться. А тётя Нюся не сопротивлялась и по сю пору. Вечером они с мужем приходили за куличами, яйцами и пасхой и шли в Никольскую церковь. А потом возвращали уже освящённое назад. Для бабушки, а тем паче деда, храм был заказан. Им оставалось только тихое, сокровенное моление. Тем более немыслимо это было для родителей. Хождение в церковь для врача означало поражение в правах. А теперь все сидели за столом и вели неспешные разговоры о том о сём. Но при нас, мальчишках, настоящих разговоров не было. Нам делалось скучно, мы покидали застолье, напоследок ухватив ещё по куску кулича, и отпрашивались на улицу.

А на улице хорошо. Чирикают воробьи, проглянуло солнце. Даже если день дождливый, на Пасху



солнце всё равно одолевает тучи. Хоть на часок, но явит себя людям, словно подтверждая слова молитвы: «... да расточатся врази его». Мы, сбившись в стайку, без спроса отправлялись на Урал. Вот уж где была волюшка! Урал взломал лёд, изодрал в клочья и сплавил его вниз по течению за ажурный железнодорожный мост. Гужевого моста нет. Его загодя разобрали. И теперь на азиатскую сторону можно переправиться только на пароме. Или на лодке. Это промысел мужиков, живущих на другой стороне реки. Их дома стоят по пояс в воде, семьи — на подловке, а они сшибают рубрики за перевоз, выгребая поперёк бурливой реки. Всхлипывают от натуги лодочные ключины. А на причале фырчит новенький «ЗИС», взбираясь на паром. Взбрыкивает и храпит запряжённая в телегу лошадь, уловив покачивание парома, и возчик басом уговаривает дурашку не боятся. А с того берега кто-то взывает начальственно и крайне нетерпеливо и сулит паромщику муки мученические за задержку. А паромщик передразнивает кричащего: «Ух ты! Ух ты! Кипит... самовар начищенный!» Река гуляет, заплетается в косы, крутит воронки. Она мутна от песка и глины с подмываемых уральских откосов, от всего, что скопилось на дне и мешает устремляться к далёкому, но столь желанному морскому простору. Поберегись! Урал идёт! Всё, что ещё вчера казалось столь незыблемым, окончательным и бесповоротным, что сковано было ледяным страхом, находилось в оцепенении под конвоем заиндеветших вётел, высящихся по берегам, — всё

теперь в неостановимом движении. Кто бы мог поверить неделю назад, что Урал-батюшка, присмиривший и внешне покорный, словно человек со связанными руками и ногами, вдруг очнётся, поведёт плечами, и все пути разом спадут. Весна, Господи! Половодье!

Вернувшись домой, мы узнаём, что гости уже ушли. О чём они говорили без нас, неведомо. Может, о чём-то нейтральном. Может, отец и дядя Володя-Вадим говорили о чём-то фронтовом. А женщины, скорее всего, вспоминала, как тётя Нюся родилась прямо в Казанском соборе, где её беременная мать, сбежавшая из Черноречья от красногвардейских зачисток и беспощадного голода, жила скудными подаяниями. А может, вспомнили ещё один голод, когда в стране Сталин приступил к социалистическому переустройству села, то есть коллективизации. А может, 37-й год, когда деда взяли? Но нет! Об этом старались не вспоминать и даже снов не видеть. А если и видели, то просыпались, чтобы сон прервался. А может, о ещё одной тайне тихохонько говорили, например, о том, почему Вадим стал Володей и почему фамилия у него сейчас такая? А прежняя где? И почему мама его, свободно говорящая на нескольких европейских языках, не выказывает этого своего умения и сына языкам не учит? О многом могли они говорить. Но о многом и предпочитали молчать. Боялись? Конечно. Больше за нас боялись, хотели, чтобы дожили мы до той поры, когда Россия, словно Урал, сбросит ледяной панцирь и обретёт волю вольную.

За самовольный поход на Урал нас отругали. Но не сильно. Всё-таки была Пасха. А в такой день гневаться грех даже по столь серьёзному поводу. Освободили нас и от супа с клёцками. И мы опять ели кулич, припахивающий мускатом. Он был рассыпчатым, сдобным, жёлтым от шафрана. Внутри попадался сладкий кишмиш без косточек. А верхушка кулича вообще казалась вершиной творения. Белая, усыпанная разноцветным крашеным пшеном, она одновременно ублажала глаз своей живописностью, услаждала вкус и завораживала обоняние, особенно разыгравшееся после похода к реке и стояния у воды. Даже обязательный дневной сон не казался обременительным. Глаза закрывались сами собой, и пред ними неслась тугая непроглядная вода, в которой против течения, видимые только мне, шли золотисто-розовые сазаны в панцирях, подобных тому, в котором нёсся на бой со страшной Головой неустрашимый Руслан из поэмы Пушкина...

Потом наступал вечер, и собиралось общее чаепитие. А когда оно заканчивалось, дед брал нас с братом за руки, и мы маршировали вокруг стола, ступая с левой ноги. А дед пел песню, совсем не похожую на те, что с утра и до вечера голосило радио:

*В двенадцать часов по ночам  
Выходит трубач из могилы;  
И скачет он взад и вперед,  
И громко трубит он тревогу.  
И в тёмных могилах труба  
Могучую конницу будит:  
Седые гусары встают,  
Встают усачи кирасиры;*

*И с севера, с юга летят,  
С востока и с запада мчатся  
На лёгких воздушных конях  
Один за другим эскадроны...*

Сегодня Пасхальная Ночь. Неисчислимо пламя свечей, которые молящиеся держат в руках. Они высвечивают всё больше молодые, а то и вовсе юные лица. Ветер, до того вольно гулявший вдоль улицы, здесь, у церковной ограды, смирил порывы, словно понял всю неуместность буйства. Вот по ступеням паперти спускается клир во главе с настоятелем, а следом шествует весь крестный ход. Идущие опоясывают храм и у паперти останавливаются. Пение смолкает. Отец Никодим поднимается на ступени, чтобы лучше было слышно, и обращается к молящимся, троекратно возглашая:

— Христос Воскресе!

Слышите ли вы, ушедшие от нас?  
Повторяете ли, благословляя:

— Воистину воскрес?

## НАУЧЕНИЕ ДОБРУ

Сложнее всего говорить о простом, с виду незамысловатом. Замысловатое само красуется. Напишешь, например, изойдя потом от усердия: «экзистенциализм» или «трансцендентальный» и загордишься, что смог буквы в правильном порядке расположить. Уж не говорю о таком слове, как «парадигма». Редкий человек достигает глубин, сокрытых в этих понятиях. Для того чтобы такие слова запечатлеть, а потом и осознать написанное, мало одного знания букв алфавита. Тут надо набраться отваги, запастись

воздухом и нырять вниз головой в тайные тайны сказанного, не будучи, однако, уверенным, что воздуха хватит и на сам нырок, и на возвращение к поверхности здравого смысла. Я знавал несколько умников, и даже одну вполне аппетитную даму, которые так и не вынырнули из бездны премудрости.

Другое дело — простое русское слово «доброта». Как определить, что это такое? Какие шифры подобрать для раскрытия всей сокровенности этого, вполне очевидного, понятия? Впору братья за словари. У Владимира Ивановича Даля две с половиной страницы убористыми буквами заполнено после слова «добро». Тут добро явствует, как достаток, имущество, стяжание. А рядышком мудрость народная, которую Владимир Иванович услышал и в Словарь поместил нам, невеждам, в назидание: «Захочешь добра, посыпь серебра», или «Бредёт Татьяна недобре пьяна». А вот ещё: «В ком добра нет, в том и правды мало». Прочёл и думаю: славно сказано! А следом новый поворот мысли: «Немец хоть и добр человек, а всё лучше повесить». Поди, пугачёвское речение — все эти рейнсдорпы, кары, деколонги, корфы, да и сама матушка Екатерина — из немецких земель! Немало они досадили бунтовщикам. Каково Далию такое было слышать и в Словарь помещать — сам из датских «немцев». Однако, вот истинно учёный человек, — не утаил!

Добрался Владимир Иванович и до самой доброты: «Доброта, добрина — прочность, достоинство вещи, качество самого припаса».

А ещё — «добродушие, доброжелательство, склонность к добру, как качество человека». Однако «Доброта без разума пуста». И напоследок припечатал: «Не ищи красоты, ищи доброты». А мы, дурни, всё за красотой ухлёстываем...

Поневоле вспомнилось ни с чем не сравнимое тепло доброты, лучившееся от другой моей бабушки Елены свет Александровны. Мы в Трапезной церкви Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ведёт службу Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский). Теснота невероятная. Я совсем мал и не вижу ничего для себя занимательного. Пред глазами одни серые да чёрные юбки и редко где — мужские брюки. Мне становится невыносимо скучно и одиноко. Я тихонько дёргаю бабушку за подол. Она подпевает невидимому мне хору: «Иже херувимы тайно образующее, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение: яко да Царя всех подыдем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». Бабушка крестится, а я вновь тяну её за подол.

— Там патриарх, — шёпотом назидает бабушка. — Потерпи, миленький! Потерпи, золотой мой!

Но что мне патриарх, когда я не вижу его. Бабушка поднимает меня на руки. Теперь вижу: передо мной люди, люди, люди — сплошь головы и большинство в белых платочках. А ещё дальше стоят какие-то фигуры в нарядных шапках, пылающих в лучах света, льющегося слева из окон. Шапки окутаны клубами дыма. Блещут неисчислимые свечи. Синие,

красные, зелёные лампы источают свет и тепло пред иконными ликами. А ещё глубже — тёмное золото иконостаса. Несчитанное множество людей! Согласное звучание певчих! Скромный белый куколь невысокого по росту Святейшего неприметен среди симфонии огней, молитвенного звучания, блеска одеяний священников и завораживающего запаха ладана. Я-то полагал, что патриарх должен быть ростом до потолка, а на голове золота, как на церковном куполе. А его не видно.

— Увидел? — спрашивает бабушка. Я чувствую, ей тяжело держать меня на руках. Она чуть отклоняется назад, чтобы уменьшить тяготу для руки. Я обнимаю её за шею, прижимаюсь к её лицу щекою. Она ощущает моё сопение и тоже льнёт ко мне. Мы оба впитываем ладанный дым, клубы которого доплыли до нашего ряда почти в самом конце храма. Описать чувства, охватывающие меня, невозможно. Да и зачем?!

— ...Тебе, Господи! — подпевает бабушка. — Увидел Святейшего?

— Нет.

Она опускает меня на пол. Я уже изросся, стал тяжёленьким, а она немолода. Некоторое время спустя мы выходим из храма. Весна! Воробьи расчирикались. Передо мной пятиглавие Успенского собора с центральным золотым куполом и четырьмя главками небесного цвета, усыпанными поверх голубого золотыми же звёздами. Ко мне вновь возвращается ощущение трисветлого праздника, утраченное было в тесноте огромной Трапезной церкви.

— Христос Воскресе, бабушка!

— Воистину Воскрес!

Тебя уже давно нет, милая! Но чувство праздника праздников всё ещё со мной, как и тепло натруженных рук твоих, как безмерная доброта взгляда твоего сквозь сильные линзы очков, запотевшие от радостных слёз и чувства умиления от Пасхи Господней.

Прошли годы. Мы обедаем. В комнате на стене чёрная тарелка радиорепродуктора. С военной поры, когда Москву бомбили и бомбы ложились рядом с домом, а она с соседками укрывалась в щели, вырытой ими же во дворе, репродуктор не выключается. На дворе самый разгар развязной хрущёвской травли православия. Порою кажется, что и правда: другой заботы у власти не осталось. О разрушении церкви рапортуют, как об успехах на жатве. Хотя по части хлеба успехов-то особых нет. Относительное разнообразие на полках магазинов только в Москве. Но даже в ближайшем Подмосковье, в каком-нибудь насквозь пролетарском Орехово-Зуево, люди если и собираются на экскурсию, то только по колбасным местам столицы. А из репродуктора чревоущательница с труднопроизносимой фамилией, оправдывая доверие, оказанное ей родной и любимой коммунистической партией, взхлёб повествует о некоем священнике, который — о, подлец! — запустил руку в церковную кружку, а следом — под юбку монашке. Я отрываюсь от постного борщика, сваренного бабушкой, и спрашиваю:

— Бабуля, слышишь?

Дед Семён — многолетний антипопонец и насмешник, начитавшийся в молодые годы сочинений гра-

фа Толстого, похохатывает, слушая разоблачительницу.

Бабушка, милая, кроткая, добрая моя бабушка смотрит прощающе и говорит просто, без ожесточения:

— Каждый будет предстоять на Божьем суде сам. За спину другого там не спрячешься.

Она уходит на кухню, чтобы подать нам с дедом картошку, прежде сваренную, а следом разжаренную на сковороде, и любимую рыбу наважку. Её она мастерски запекает в духовке, обваляв предварительно в муке. Сейчас такой рыбы я не встречаю. Видно, всю выловили.

Добролюбие не входит в число обязательных дисциплин, изучаемых в школе жизни. Это предмет по выбору. Чаще всего жизнь читает нам совсем иные рацеи.

Бабушки уже нет. Мы прощались с ней в храме Успения в Гончарах, что на Таганке. Изразцовых дел мастер Степан Полубес изрядно потрудился, чтобы нарядной и радостной была божья обитель, из которой мы провожаем бабушку в мир вечный. Изразцы, изготовленные им, словно только что остыли после обжига, хотя вышли из печи триста лет назад. На бабушку, лежащую в гробу, взирает Божья Матерь «Троеручица». Бабушка говаривала, что икона чудотворная. Спасла храм и от наполеоновых продвигателей Свободы, Равенства и Братства, и от разрушителей иных времён, и что колокола на звоннице древлеправославные, никто на них доселе не посмел покуситься. Дед при таких рассказах хмыкал. Но сейчас ему не насмешничается. Его Лена умерла. Случилось это внезапно, и дед

не успел выпросить прощения за всё недоброе, что вольно или невольно привносил в её жизнь. Теперь прощения не попросишь. Теперь пред ним гроб, а в гробу телесное вместилище души, как оказалось, действительно не вечное. Лена умерла. А с ней окончательно и бесповоротно умерла его собственная молодость. Навеки ушли зрелые годы. Вот-вот упокоятся с миром надежды и огорчения. Ушло неотмоленное недоброе. Но и то доброе, что было, тоже ушло. Бесповоротно. Осталось неуклонное, медленное следование по пути за ней. Куда только? В загробную жизнь он не верит. Размышления о могильных червях приводят его в содрогание. А от надгробной жизни утешения и пощады ждать не приходится. Дед плачет. Вспоминает, что был крещён, и даже возлагает на себя крестное знамение. Жаль, у бабушки глаза закрыты. Увидела бы — из гроба выпала. Болгарский священник помахивает кадиллом. Навевает ладанный дым, совсем такой, как тогда, в Трапезной церкви лавры.

### **«...НЕСТЬ НИ ПЕЧАЛИ, НИ ВОЗДЫХАНИЯ!»**

Девятью девять — восемьдесят один. Учительницы-терзательницы огнём и мечом вложили в нашу память таблицу умножения и то, что квадрат гипотенузы равен квадрату двух катетов. Но главное, они приучили следовать набору расхожих истин, которые в обиходном смысле на самом деле истинны. Хуже обстоит с добротой. Она не поддаётся заучиванию наизусть. И даже прямое

повторение, и даже насильственное следование Нагорной проповеди не обеспечивает добросердечия. Когда коммунистические часы, ёкнув, остановились, открылась для многих неприглядная правда: девятью девять — не всегда восемьдесят один. Настала пора жить своим умом. Поступки совершать сообразно велению собственной совести. А ума как не бывало. А совесть отменили в связи со сменой общественно-политической формации. И мера времени потеряна. Прежде часики, хоть и с боем (иногда до смерти), но шли. А теперь? А теперь — хрен, который, согласно поговорке, редьки не слаще. Что хочешь, то и делай. Беда!

Поднимаюсь по трём крашенным охрой ступенькам на крылечко старого, просевшего домика в бывшем казачьем пригороде. Белая филёнчатая дверь со старомодной прорезью для писем и газет. Нажимаю кнопку звонка. Мне отпирают. Вхожу. Перед мной застеклённая веранда. Стёкла подёрнуты инеем. Снимаю пальто и шапку, стаскиваю ботинки. Надеваю разлатые «гостевые» шлёпанцы. Мне предлагают пройти в дом. Направо — дверь в тёмную крохотную прихожую. И опять направо.

— Боже мой! Неужели сам Павел Георгиевич?! — Из-за стола навстречу поднимается владыка Леонтий — митрополит Оренбургский и Бузулукский. В возгласе владыки и приветливость, и лукавство одновременно. Я — гость неожиданный, потому что телефона в доме нет — не по чину попу телефон. А владыка и не настаивал, полагая, что прав был древний царь, сказавший: «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни

с трудом и томлением духа». Крещусь. Комнатка, куда я вошёл, во все невелика. Это и не комнатка, а, скорее, келейка. Основное в ней — иконы и книги. А ещё старенькая фисгармония и большой рабочий стол. На нём бумаги, конверты с письмами. Дальше — дверь в спальню. Владыка указывает на стул, сам усаживается на своё рабочее место. Затеваем беседу.

В те годы Церковь начала выход из катакомбного существования и являть себя миру. Написал и думаю: а почему я уверен, что Церковь таилась в неких катакомбах? Не сами ли мы позволили загнать себя во мрак духовных узилищ? А она оставалась сама собой, гордая и неприступная для тех, кому суесловие услужливо преподносит расхожие истины. Не стану сейчас ничего говорить о гонениях на веру и верующих, масштабы которых даже римским императорам-язычникам не снились. Уместнее вспоминать собственное наше малодушие — вдруг крестное знамение, совершённое прилюдно, венчание в храме, крестины родившегося ребёнка будут не так истолкованы, прервут карьеру, начавшуюся столь складно и позволявшую надеяться, что в дальнейшем чай с сахаром повезёт пить и внакладку и вприкуску одновременно? В этом же ряду, твёрдая убеждённость в абсолютной познаваемости мира и окончательности нашего утлого знания.

Вспоминается давняя уже беседа с одним важным чиновником от народного образования, начинавшим свою карьеру комсомольским ватаговожатым. Мы говорили о возможности и желательности введения

просвещенческих уроков в школах, которые знакомили бы детей с основами религиозных знаний. Он замотал своей лысеющей головой, крепко посаженной на шею, уже начинающую деревенеть от многолетней ответственности и необходимости держать себя соответственно выслуженным должностям. Помазыванием он выразил резко отрицательное отношение даже к гипотетической возможности таких уроков.

— Но почему?

— Лично я ни в какого бога не верю! — не без пафоса в голосе ответил он.

— ?!

— Я учился на физмате пединститута. Поэтому твёрдо знаю: никакого бога нет! — И лицо его порозовело от нахлынувшей гордости за Знание, которое Сила.

А мы с владыкой беседуем об организации прямой трансляции Рождественского богослужения из Никольского кафедрального собора. Или, по крайней мере, видеозаписи службы с последующим воспроизведением в эфире телеканала. Он не без сомнения относится к идее теле-трансляции, полагая, что служба не зрелище, но молитвенное сослужение. Разговаривая, владыка поглядывает на меня и что-то для себя важное помечает на листочке бумаги ручкой с пером-вставочкой. Обмакнёт перо и пишет. Потом снова клюёт пёрышком в чернильницу. Пишет размашисто. Пишет не по-русски. А по-каковски? Буквы латинские. Интересно! Но совсем-то уж таращиться неудобно. И спрашивать зазорно. Мне, однако, говорили: владыка свободно владеет польским языком,

латынью, разумеется, церковно-славянским, древнегреческим. Несомненно, и литовским, ведь родился в 1913 году в Тракайском уезде Виленской губернии Российской империи. Обращаясь к пастве, говорит раскатисто с неподражаемым белорусским акцентом: «Дорогие мои орэнбург-ржцы!»

Вспоминается, как мы познакомились в 1984 году. Летом я получил ответственное редакционное задание. Надо было провести круглый стол в прямом эфире с членами правления Оренбургского отделения Фонда мира. Была в СССР такая псевдообщественная организация, собиравшая деньги якобы для борьбы за мир во всём мире. В правление входили люди славные и не очень. Но входили. Таково было партийное поручение. Куда только ни входили и ни вступали советские люди, когда их об этом просили товарищи горкомычи и обкомычи — люди с медными лбами и твёрдой верой, что Их царствие ныне и присно, и во веки веков пребудет, и потому Им даровано право говорить с пасомыми от имени вечности. Передача должна была быть из разряда нужных, общественно-политических бесед, которые считались высшим пилотажем журналистики. За такие передачи и платили побольше, рублей на пятнадцать. Если конвертировать это в универсальную валюту тех дней — 5 (пять) бутылок водки. Или три доллара по официальному курсу. Но о долларах тогда думали только субчики-валютчики или шпионы-разведчики. Но о тех и других неусыпно пеклись люди, которых никто не знал в лицо, но о которых знали

все. Мы — остальные-прочие — движимы были голой идеей. Те, кто по-старше, знают, насколько идея та была голой.

Пришли участники передачи и среди них владыка в чёрной шёлковой мантии, белом клобуке с золотым крестиком. В руке митрополичий посох. На груди панагия с Казанской иконой Божьей Матери. Среди официозных, гладко выбритых борцов с угрозой войны, владыка выглядел куда как внушительно. Борцом за мир он был не самым главным. Однако самым денежным. Оренбургская епархия, а с ней и вся РПЦ, вносила самый большой вклад в дело мира во всём мире. С простого работяги или зачуханного интеллигента пойдя, возьми взнос в фонд! А Церковь — куда она денется, и деньги куда ей девать?! Как миленькие принесут, мракобесы долгогривые! И несли! Уж не знаю только, вносила ли епархия деньги гривенниками да пятиалтынными, которыми расплачивались за купленные свечки бабушки-старушки, или копеечку конвертировали в более крупные купюры, но сумма добровольных взносов Русской православной церкви была велика. И митрополит огласил эту цифру в прямом эфире. И оглашённая сумма, а что ещё важнее, само появление священника на телеэкране произвели-таки впечатление на уважаемых телезрителей. Да и на нас, грешных. Так мы с владыкой и познакомились. При этом он мило-стиво и лукаво, ещё до начала прямого эфира, предоставил мне право выбора при именовании. Я мог называть его, как в миру, Леонидом Фаддеевичем Бондарем или же про-

сто: Ваше Высокопреосвященство, митрополит Оренбургский и Бузулукский владыка Леонтий. Я выбрал второй вариант. Хотя с первого раза трудненько было запомнить. И передача состоялась. Мы сидели рядышком — борода в бороду. Только у владыки бородка седа, а моя тогда ещё чёрная, пополам с рыжим. Говорили исключительно о борьбе за мир. Но славно говорили.

Минула ночь. Утром на студию прибыл новый заведующий отделом оболванивания обкома партии. С ним вместе, почтительно поотстав на шаг, подручный с блокнотом, в котором, как оказалось, была законспектирована передача. Меня пригласили в кабинет зама по телевидению. Пришёл и тогдашний председатель Комитета по телерадиовещанию. В кабинете сделалось тихо. Так тихо, что определения подобной тишине в русском языке нет. Помолчали. Затем Обкомыч зловещим шепотком спросил меня: «Кто вам позволил пригласить попа на телевидение?!» Пришлось отвечать в тон: «А кто вам позволил задавать такие вопросы?» Терять-то было нечего. Ясно, что с журналистикой предстояло навеки прощаться. Но судьба смиловилась. Может, от дерзости отпора. А может, владыка в то утро молился за меня, и молитва была услышана в небесной канцелярии. А может, прояснило у партийного чиновника в его сознании, и не по молитве, а по каким-то иным, вполне материалистичным причинам. Но в тот день идеологическая гроза громыхнула, однако хляби небесные не разверзлись. И мою глупую голову, а заодно и мудрые головы моих начальников



не унесло бурными потоками. Такие сухие грозы редко, но случаются в наших безжалостно засушливых степных краях.

Постепенно тогдашний разговор с владыкой развивался своим чередом. Мы уже не говорим о трансляции Рождественского богослужения. Беседуем о всяком. Он и не спрашивает особо ни о чём, а я ловлю себя на ощущении, что мне хочется и может быть рассказывать ему о своих заботах, сомнениях, да просто о жизни. Я говорю, а он слушает. И слышит. За свою журналистскую жизнь довелось мне поговаривать с великим множеством людей. Довольно часто собеседник слушает тебя только затем, чтобы, уловив некую паузу, втиснуться со своими рассуждениями, врубиться подобно топору, накинуться, заклубить в вихрях собственных мыслей и наставлений о том, что такое журналистика и чем должен на деле заниматься журналист, а не смотреть в тёмные углы. Разумеется, каждому из нас свойственно обращать внимание прежде всего на личные переживания. А уж свои-то мысли, даже если они вольно или невольно заёмные, всего дороже. Кто ещё может думать так же, как я?! А?! Монологичность сознания — настоящая бубонная чума наших дней. Мы с детства не научены внимать другому человеку. Смирение и тихая созерцательность вовсе исчезли. Их даже не вносят в Красную книгу человеческих добродетелей. Навсегда опоздали это сделать. А владыка слушает и направляет разговор подобно умелому лодочнику. Помнится, как в детстве меня переправляли на долблёной лодке-

душегубке. Перевозчик не грёб. Он, стоя, тихонько направлял скольжение воистину душегубного судёнышка, зная норы речушки и прекрасно понимая, что противоборство со стремниной хорошего не сулит.

Так и владыка Леонтий. И я рассказал ему многое, о чём не стал бы говорить ни с кем. Даже и с самим собой. А он слушал. И во взгляде его глаз с раскосиной читались внимание, доброта, сопереживание и... лукавство. Владыка был человек с юмором, смешливый, мог прыснуть, если что-то казалось ему особенно забавным. Не стеснялся спросить, уточняя. Ведь реалии мирской жизни, а уж тем более жизни провинциального телевидения, были от него далеки, как мне казалось. Но недаром бабушка Лена любила поговаривать: «Когда кажется, креститься надо». На деле, всё он понимал. А технологические подробности, знанием которых так щеголяют профессионалы, ничего не меняют в человеческой сути, вряд ли радикально изменившейся со времён босого Проповедника, кормившего тысячные толпы вокруг него пятью рыбами и таким же количеством хлебов. Мне конечно же хотелось расспросить владыку, как он жил при немцах на оккупированной территории, но не спросил. Была возможность выведать, что испытывал он в те годы, когда мы регулярно слушали по радио разоблачительные передачи про гулящих попов — упустил. Он сидел напротив в светло-сиреневом подряснике, выцветшем от многолетней носки, и вслушивался в сумятицу моих сомнений.

Владыка был несравненно мудрее всей моей мнимой учёности и житейской нахватанности, но и тени снисходительного покровительства не мелькало в его взгляде.

Я засиделся. Чувствуя, что пора и честь знать, подозревая, что владыку утомил своими разговорами, начал откланиваться. Говорил шутливо, что спешу в свой «монастырь», игуменствовать. Посетовал, что приходится иногда епитимью накладывать на телевизионных «насельников» за нерадение.

— А вы чаще прощайте, — просто, как-то по-будничному сказал владыка, провожая меня до дверей дома. Одевшись, я спустился по ступенькам крылечка. Перед тем, как сесть в машину, обернулся. Владыка стоял в дверях: выцветший подрясник, седая бородка, венчик серебряных волос. Он перекрестил меня вослед. Поклонившись, я уселся в машину. Впереди ждали очередные, такие важные дела да делишки.

В Никольском соборе, как войдёте — справа, глыба белого мрамора. Горят свечи. Зайдите. Прислушайтесь. Бог даст, услышите:

— А вы чаще прощайте!



Владимир БАКЛЫКОВ

## ВЕЛИКИЙ МОЛИТВЕННИК

*К 100-летию со дня рождения  
митрополита Оренбургского  
и Бузулукского  
Леонтия /Бондаря/*

*Владимир Павлович Баклыков родился в 1965 году в г.Невьянске Свердловской области, работал учеником слесаря на Оренбургском машиностроительном заводе (ныне ПО «Стрела»). Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, вернулся на родной завод инженером-конструктором. С 1995 года в журналистике. Работал заместителем редактора газеты «Вечерний Оренбург», директором газеты «Патриот Оренбуржья», пресс-секретарём главы администрации Оренбургской области, главным редактором газеты «Станица Славянская». Лауреат Всероссийской премии движения «Яблоко» – «Вопреки» (им. Ларисы Юдиной). В настоящее время редактор журнала «Православный духовный вестник Саракташского благочиния».*

*В двадцатых числах января 1999 года в самом центре Оренбурга разносилось какое-то лёгкое – не то цветочное, не то древесно-ладанное – благоухание. Многие, кто его ощущал, не могли понять источник. А 24 января отошёл ко Господу владыка Леонтий, митрополит Оренбургский и Бузулукский. И благоухания не стало.*

### «ВТОРОЙ ВЕРХОТОМКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!»

Владыка Леонтий (в миру Леонид Фаддеевич Бондарь), тогда ещё в сане епископа, был назначен на Оренбургскую кафедру в мае далёкого 1963 года. Как он сам считал, его приезд в наш степной край явно нёс печать Божиего промысла, о чём он и говорил в своей речи в день 40-летия архиерейского правления 10 августа 1996 года. Дело в том, что за два года до этого епископа Леонтия из Белоруссии, которую высшее партийное руководство решило сделать тогда

первой атеистической республикой Советского Союза, направили в качестве правящего архиерея в Новосибирскую и Барнаульскую епархию.

Единственную в тот момент коммунистическую партию «качнуло» тогда на повсеместное закрытие церквей (времена «хрущёвской оттепели»). И вот, вернувшись из отпуска, владыка Леонтий узнал, что уполномоченный по делам религий (была тогда в каждом обкоме КПСС такая должность) в обход всех законов снял с регистрации (проще говоря, закрыл) приход в селе Верхотомка. Взволнованный архиерей тут же направился в обком и, влетев в кабинет уполномоченного, выпалил: «Второй Верхотомки больше не будет!» (по аналогии с расхожей тогда фразой — «Второго Мюнхена больше не будет!»). Здесь стоит пояснить, что под «Мюнхеном» имелись в виду переговоры 1938 года, когда Англия, Франция и Италия в обход Советского Союза вынудили Чехословакию передать Германии Судетскую область с компактным проживанием немцев. В итоге, после присоединения Судетов, Гитлер захватил всю Чехословакию и дал ей название — протекторат Богемия и Моравия. Тогда, кстати, одну из областей присовокупила и Польша. Но это не помогло полякам ни в сентябре 1939-го, ни позже.

Однако подобное поведение владыки было столь нетипичным, что уполномоченный был ошарашен таким поворотом и недоумённо спросил: «Почему?» — «Потому что впредь Вы будете руководствоваться Указом от 1963 года!» — был ответ.

Надо заметить, что сам владыка называл этот демарш дерзкой и не-

типичной выходкой. Но, как бы там ни было, через несколько дней епископ Леонтий получил телеграмму от Святейшего Патриарха, который своим Указом перевёл епископа на Оренбургскую и Бузулукскую кафедру. Было件нятно, что это работа партийных товарищей.

Однако ещё до Верхотомки, как вспоминал владыка Леонтий, к нему во сне несколько раз кряду приходил один и тот же образ Богоматери, как ему тогда казалось, совсем необычного вида из-за тёмного цвета ликом Богоматери и Богомладенца. И лишь прибыв в Оренбург, он нашёл подтверждение своим снам — это оказался Табынский образ Богоматери.

## **ЖИЗНЬ ВЛАДЫКИ В ОРЕНБУРГЕ**

Владыка Леонтий прожил долгую жизнь. Он видел, как в середине прошлого века светская власть вела активную борьбу с религией, когда взрывались храмы, осквернялись алтари, а из вековых намоленных икон делали школьные парты, а то и что совсем не потребное. В Оренбургской епархии с началом Великой Отечественной войны не было ни одного действующего храма, а к 1969 году (после начала новых гонений на Церковь) оставалось лишь 13 храмов (пять сельских и семь городских, включая собор). И если бы не активная деятельность правящего архиерея, их было бы ещё меньше. А затем фактически те же люди стали помогать воссоздавать старые храмы и строить новые. И к 1999 году число приходов выросло до 111.

Сам владыка прожил 86 лет, из них 69 — по монашескому уставу, в

том числе нёс архипастырское служение — более 42 лет, из которых 35 лет управлял Оренбургской и Бузулукской епархией. Именно владыка Леонтий был тем самым архипастырем, который 7 июня 1990 года, когда колокол Троице-Сергиевой лавры возвестил об избрании пятнадцатого всероссийского патриарха, как старейший по хиротонии архиерей Русской православной церкви, произнёс новоизбранному Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II слова поздравления. Более того, по свидетельству митрофорного протоиерея Василия Лищенюка, после интронизации Алексия II владыка Леонтий сказал, что его патриаршество продлится долго, а после него патриархом будет Кирилл (Гундяев), и его патриаршество также продлится долго...

Примечательно, что оренбургский архипастырь пользовался всенародным уважением. Верующие ласково звали его «владыченька». В Оренбурге же он стал почётным гражданином города. Его общественная деятельность была отмечена орденом Дружбы. Были награды и от Русской православной церкви: в 1981 году он был награждён орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени, в 1983 году — орденом Святого равноапостольного князя Владимира II степени, в 1986 году — орденом Преподобного Сергия Ра-



**Епископ Леонтий,  
1963 г.**

донежского I степени, в 1996 году, к 40-летию архиерейской хиротонии, — орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

И причина этого очевидна. Просто этот человек весь смысл своей земной жизни видел в служении Богу и людям, с ними, простыми прихожанами, он делил горести и беды, наставлял, проповедовал, советовал... Рассказывают, что во время визита в Оренбургскую епархию Патриарх Московский и всея Руси Алексей II решил посмотреть, как здесь живёт правящий архиерей. Зайдя в бывший дом офицера Оренбургского казачьего войска Петра Красноярова, который многие годы принимал оренбургских владык, Святейший спросил:

— Как Вы здесь живёте, владыка?

— Замечательно, Ваше Святейшество, замечательно живу, — с ярким белорусским акцентом сказал архиепископ Леонтий.

И будто бы при этих словах на кровать владыки Леонтия упал кусок штукатурки с потолка.

— Ну, мне всё понятно, — улыбнулся Святейший Патриарх.

А ведь в этот дом приходили не только оренбуржцы. Здесь были гости из других городов и даже стран. Однако, прожив в Форштадте тридцать пять лет, владыка так и не дождал-

ся обещанной асфальтовой дороги к дому. Машина с владыкой Леонтием, знакомством с которым гордились многие, так и плюхала до конца дней его каждую осень и весну по ухабинам бывшего казачьего предместья.

Вся его деятельность здесь, в этом мире, была одной долгой молитвой обо всех грешных, оступившихся, не помнящих своих корней людях. Не прерывалась она ни в годы гонений на Церковь, ни во времена «моды на религию».

— К Богу надо прийти, а не заставлять себя верить, — убеждал людей владыка, — на сердце человеческое благотворно действуют проповеди, церковные песнопения и чтение церковных книг...

Вот так жил и молился этот великий человек. За весь мир и за каждого из нас. И практически никто в Орен-

бурге не знал, что владыка абсолютно ничего не видит одним глазом. А трагедия случилась сразу после войны в Белоруссии, под Молодечно. Тогда на дорогах было много заминированных предметов, как бы сейчас сказали — взрывных устройств. И вот однажды, тогда ещё иеромонах, Леонтий ехал с товарищем по служебным делам на обычной крестьянской подводе. И такой заминированный предмет взорвался возле подводы. Очнулся будущий владыка уже в больнице. Лечение в Молодечно, а потом в Минске и Москве ничего не дало. Врачи сохранили только глаз, но не зрение.

И иногда кто-нибудь из знакомых говорил владыке Леонтию, что у него косит левый глаз, на что тот всегда спокойно отвечал:

— Ну это трудно сказать. Косит или не косит...



**Рукопожатие с главой администрации Оренбургской области Владимиром Елагиным, конец 90-х**



Владыка Леонтий на крыльце своего дома

За фисгармонией



Владыка обладал каким-то внутренним зрением...



Молебен в честь великомученика  
Георгия Победоносца, 1997 год

Пантелеимоновский  
придел Никольского  
кафедрального  
собора,  
где упокоился  
владыка Леонтий



На открытии  
стелы  
митрополиту  
Оренбургскому  
и Бузулукскому  
Леонтию,  
3 сентября  
2005 года







И за советом, и за интервью к владыченке!

И ещё один важный штрих к портрету митрополита Леонтия, характеризующий его как мудрого руководителя. Он всегда старался решить все вопросы спокойно, путём компромиссов, согласия, переговоров. Владыка старался не ставить конфликтные вопросы вообще, потому что считал их причиной враждебных актов, которые нарушают равновесие и ничего полезного создать не могут. Проще говоря, добро притягивает добро, а зло ничего кроме зла притянуть не может.

Говорят, что даже патриарх Алексей II сказал ему однажды: «Сколько мы с Вами работаем и никогда у нас не было конфликтных ситуаций!» На это наш митрополит ответил, что ехать с конфликтной ситуацией в Москву бессмысленно, поскольку все вопросы, которые отправляются в Москву, возвращаются обратно, и решать их всё равно нужно на местах.

### «ЗДЕСЬ У ВАС, ОРЕНБУРЖЦЫ, ЛЕЖИТ ВЕЛИКИЙ МОЛИТВЕННИК!»

Рассказы тех, кто общался с владыкой, поражают. Очевидно, что ему был дан дар провидения. А проявлялось это вроде бы в обыденных вещах. Так, прихожанка Никольского собора Валентина Федоринова рассказывала, что когда её сын решил поступать в Саратовскую духовную семинарию, то пришёл за рекомендацией к владыке. А тот с порога и говорит: «А ну-ка, Ваня, расскажи мне псалом 90-й!» А это был единственный из программы псалом, который молодой человек оставил «на потом». Зато когда юноша пришёл к владыке через неделю, тот безо всяких вопросов написал ему рекомендацию.

Или другой пример. Принесла как-то женщина, работающая в епархиальном управлении, докумен-



**Владыка любил благословлять детей**



**И великий Мстислав Ростропович  
приходил на поклон  
к великому молитвеннику**

ты на подпись владыке. А владыка её спрашивает:

— Что это Вы так последовали в такой ранний час?

— Я Вам документы на подпись принесла, — отвечает женщина.

— Что же там подписывать, документов-то нет!

Дело в том, что у сотрудницы была папка, которая завязывалась тесёмками сбоку, а сверху и снизу не закрывалась. И, очевидно, по дороге документы выпали. Женщина этого не заметила, а владыка увидел каким-то внутренним зрением.

Ещё один характерный пример рассказывали учителя. Они приходили к владыке за благословением перед конкурсом в Москве. При этом одна из учительниц говорила, что очень хорошо подготовилась, даже кассеты с иллюстрациями по Тоцкому взрыву есть, которые можно на экране показать. На это владыка сказал, чтобы, несмотря на это, она обязательно взяла с собой и плакаты на бумаге. Он



**Во время визита Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Свято-Троицкую обитель милосердия, 6 сентября 1996 года**

даже взял какие-то газеты и показал: «Вот так их прямо сверните и положите там на окно. Там же могут свет отключить, — говорил он, — а Вы не волнуйтесь, не «ох!» и не «ах!», а спокойно возьмёте эти плакаты, развесите их и всё прекрасно расскажете».

Самое удивительное, что всё случилось именно так, как и предсказывал владыка! Свет действительно отключили. Но наша конкурсантка всё же успела сделать плакаты и заняла достойное место.

Большое внимание владыка Леонтий уделял развитию приходов в епархии. Так, частым гостем он был в Симеоновском приходе, куда направил настоятелем иерея Николая Стремского (сегодня он протоиерей, благочинный Саракташского округа, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия). После восстановления поруганного в безбожные годы Симеоновского храма и увеличения числа прихожан отец Николай задумал пристроить к ста-

рой церкви два новых придела. Обратился за благословением к владыке. Митрополит подумал немного и трижды воскликнул: «И на века! И на века! И на века!»

Отец Николай удивился, потому что Симеоновский храм был уже ветхим и явно не мог простоять века. Лишь позже стала понятна суть пророчества, и сегодня все могут убедиться в его истинности. Так, 8 сентября 1998 года митрополитом Оренбургским и Бузулукским Леонтием было совершено освящение семейного детского жилого корпуса и домово́й церкви в честь святителя Николая Чудотворца. А буквально через три месяца владыка освятил Богоявленский храм, в центре которого размещена большая купель для проведения таинства крещения с полным погружением в воду.

Только потом настала очередь храма Симеона Верхотурского. По благословению уже нового владыки — архиепископа Оренбургского

и Бузулукского Валентина храм был демонтирован и 21 августа 2001 года на его месте был совершён чин закладки Свято-Троицкого собора — уменьшенной копии взорванного большевиками Казанского собора в Оренбурге. 10 января 2010 года владыка Валентин в сослужении духовенства освятил новостроенный собор.

Есть и другие воспоминания. Некоторые из них приведены в журнале Оренбургской и Бузулукской епархии «Лествица» № 1 за 2009 год.

Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий сразу и безоговорочно поддержал возрождение казачества. Ведь не секрет, что казаки всегда были людьми верующими, которых до революции называли даже «рыцарями православия». Поэтому владыка лично участвовал в казачьих кругах и лично освятил войсковое знамя возрождённого Оренбургского казачьего войска.

Не забывают своего владыку и казаки. Так, когда заслуженный работник культуры Софья Се-

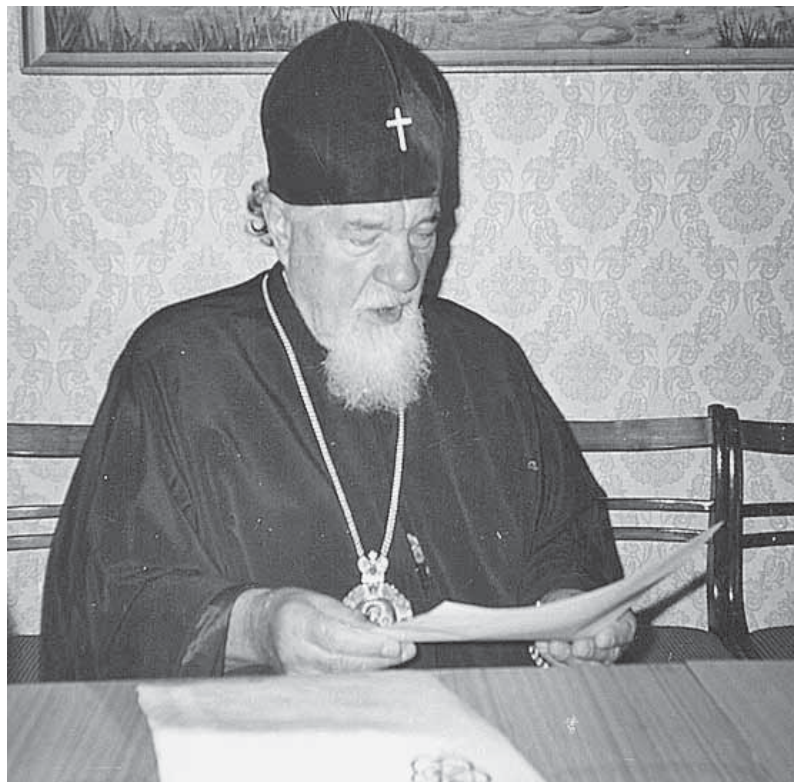


**Он молился за нас до последнего вздоха...**

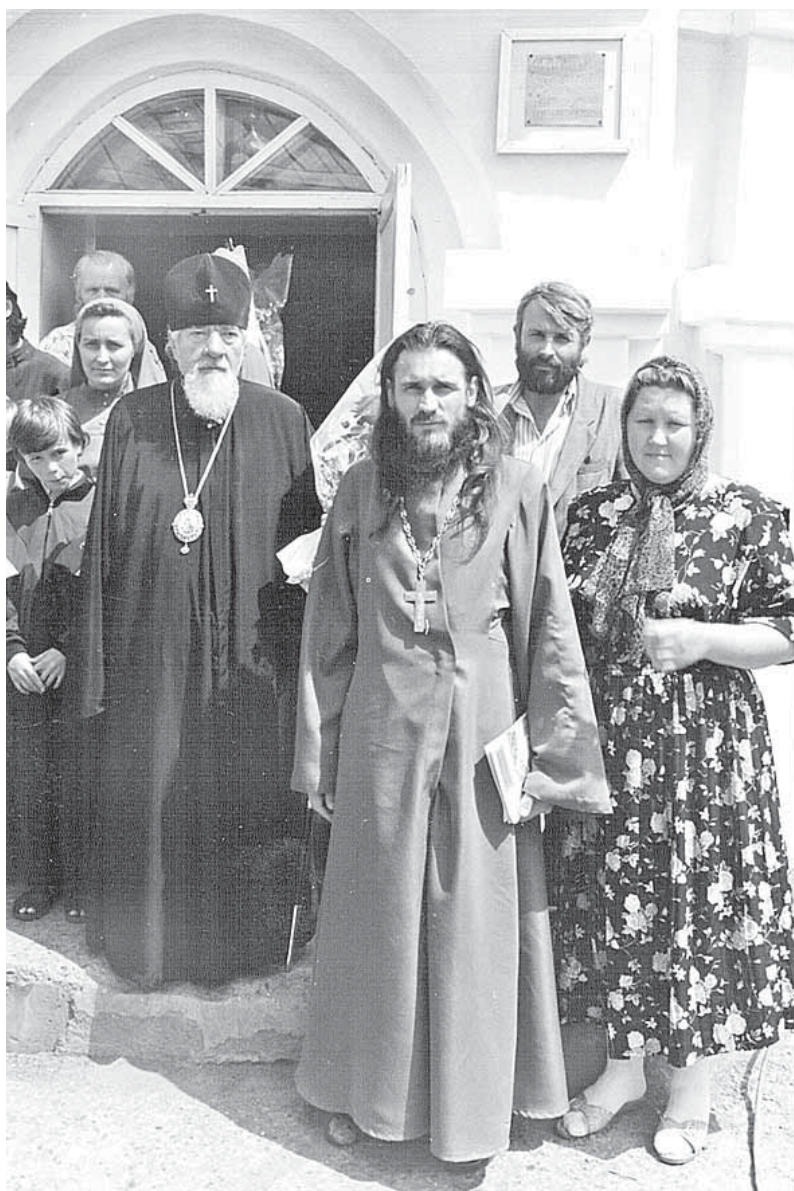
мёновна Радущина вышла к городским властям с инициативой сооружения стелы любимому пастырю возле Никольского кафедрального собора и наименования парка его именем, казаки безоговорочно поддержали эту идею. И на открытии монумента,

которое состоялось 3 сентября 2005 года при большом стечении народа, была и большая группа представителей казачества.

После поминальной молитвы, которую совершил митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин в сослужении духовенства Николь-



**Архипастырь, «владыченька», почётный гражданин города...**



**После освящения  
Православной гимназии  
преподобного  
Сергия Радонежского,  
1997 год**

ку с цветами и говорили: «Святый владыко Леонтие, моли Бога о нас!» И то же самое происходит в Пантелеимоновском приделе Никольского кафедрального собора, где упокоился владыка Леонтий. Могу засвидетельствовать лично, что не один и не два человека — гости нашего города, которые при жизни владыку не знали, побывав в Никольском соборе, говорили: «Здесь у вас, оренбуржцы, лежит великий молитвенник!»

И это абсолютная истина. Владыка совершал своё архиерейское служе-

ского кафедрального собора, памятный знак владыке был торжественно открыт. И теперь казаки обязательно приходят сюда в дни рождения и смерти любимого пастыря, а также в дни государственных, православных и войсковых праздников. Сам же сквер уже светские власти после открытия стелы так и назвали — имени почётного гражданина города Оренбурга митрополита Оренбургского и Бузулукского Леонтия (Бондаря).

Ну а на открытии стелы фактически повторилась та же ситуация, что и во время похорон владыки Леонтия. Многие люди, знавшие его, подходили к памявному зна-

нию, молился до последнего вздоха, потому что с креста не сходят — с него снимают!

## **ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Край Оренбургский: стопами Православия // Шеф-редактор Р.А. Храмов. — Оренбург: Орлит, 2006.
2. Русские монастыри. Южный Урал и Зауралье // Автор проекта и главный редактор А.А. Феокистов. — Новомосковск, Москва: Очарованный странник, Троица, 2007.
3. Баклыков В., Морозова Т. Милосердная обитель // Оренбургский край, № 1, 2006.
4. Морозова Т. Он разговаривал с Богом // Лествица, № 1 (08), 2009.
5. История Бобруйской епархии. Епископ Леонтий (Бондарь) // сайт Бобруйской епархии: [http:// bobruisk.hram.by/](http://bobruisk.hram.by/)

Андрей ЛЫСЕНКО

## «ОН НЕ ЗАБЫВАЛ И ЗЕМНЫЕ НУЖДЫ...»



— С владыкой Леонтием я познакомился в августе 1991 года в Епархиальном управлении.\* Не помню уже, что именно меня привело к нему, но точно помню, что это был четверг, поскольку владыка принимал по вторникам и четвергам. В конце беседы он попросил меня быть в субботу за пятнадцать минут до вечерней службы у главного входа в Никольский собор.

От большого волнения я пришёл на полчаса раньше и встал там, где мне было указано, наблюдая как готовится встреча владыки. Ко мне

подошёл настоятель собора отец Василий Лиценюк и поинтересовался, что я тут делаю. Услышав, что это указание владыки, успокоился.

Когда владыка прибыл и дошёл до меня, он остановился и сказал:

— А!.. Ондрэй!.. — и, обращаясь к настоятелю собора: — Отец Василий! Как начнётся служба — заведите Ондрэя ко мне!..

Когда отец Василий завёл меня в алтарь, владыка вдруг сказал:

— Отец Василий! Выдайте Ондрэю стихарь и орарь. Он будет у нас иподиаконом!

Поскольку на тот момент я был больше комсомольцем, чем православным человеком, то ожидал чего угодно, только не такого поворота событий. Пытаясь как-то «выпутаться», я сказал:

---

\* А.Н. Лысенко был иподиаконом у митрополита Оренбургского и Бузулукского Леонтия († 1999 Бондаря) с 1994 года до его кончины (на фото первый слева).

— Владыка! А можно я пока просто постою на службе?

Тот усмехнулся и сказал:

— Ну постой-постой...

Таким образом я стоял года три. И вот однажды в день приезда митрополита в соборе не оказалось ни одного иподиакона. Встречать владыку вышли два служителя в возрасте, которым самим нужно было помогать. Увидев меня, отец Василий велел мне быстро переоблачаться и служить владыке. Так я и стал иподиаконом.

Сейчас много говорят о том, какой необыкновенный это был человек. И я могу только поддержать эту точку зрения. Удивительной была его способность общаться с людьми на любом уровне, не разделяя их на обычный и элиту. Так, владыка знал по именам многих прихожан Никольского собора и перед службой, пока шёл от машины до алтаря, успевал переговорить со многими и даже дать советы. Во время архиерейской службы все, кто там был, каким-то особым чувством ощущали, что служит именно владыка. Он прекрасно знал все службы. Когда читал молитвы, то практически не смотрел в молитвослов, но переворачивал страницу точно на последнем слове страницы.

При этом он не забывал и земные нужды. Не постесняюсь сказать, что в моей жизни был период, когда зарплату родителям задерживали по нескольку месяцев, и приходилось собирать за гаражами бутылки. Тогда, бывало, во время службы владыка Леонтий даёт руку для благословения, а когда убирает, у тебя на ладони остаётся денежка, 500 рублей.

А он подмигивает и говорит: «Это тебе на конфетки».

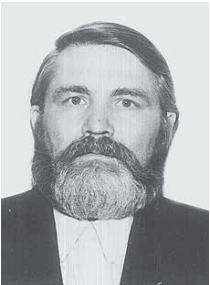
Ещё хотел бы сказать вот о чём: для верующего нет высшей награды как получить после литургии из рук архиерея богородичную просфору. Однажды я, глядя как для владыки заворачивают богородичную просфору, подумал: «Вот было бы здорово получить её из рук владыки!» Практически тут же владыка Леонтий попросил меня зайти после службы к нему домой. Когда же он открыл мне дверь, то первый его вопрос был: «Ну что? Богородичная просфора?..»

Запомнился также приезд к владыке Евгения Максимовича Примакова. Он тогда был министром иностранных дел. Его самолёт летел из Алма-Аты в Москву и приземлился в Оренбурге для дозаправки. Всё время, пока шло обслуживание самолёта, Евгений Максимович провёл с владыкой. Естественно, владыка Леонтий показал Евгению Максимовичу Никольский собор. А когда тот уезжал, то заметил: «Сейчас Вы приехали как министр иностранных дел, а в следующий раз мы ждём Вас как премьер-министра!»

Примаков стал возражать, что ему вполне достаточно и нынешнего поста. Это было в конце июля 1998 года. Буквально через пару недель грянул «чёрный вторник», правительство Кириенко ушло в отставку. А после того как Госдума дважды отклонила кандидатуру Виктора Черномырдина, Примаков действительно стал третьим премьер-министром новой России.

Кстати, после кончины владыки Леонтия первая телеграмма с соболезнованиями была именно от Евгения Максимовича!

# СТИХИ ПО КРУГУ



**Александр  
ФИЛАТОВ**

Осыпается иней с берёз,  
А на улице нет ветерка.  
Хорошо нам с тобою до слёз,  
Не замёрзнет в руке рука...

Осыпается иней с ветвей,  
Словно рушится небосвод.  
Расскажу о любви своей,  
Как закончится старый год.

Неожиданно счастье блеснёт  
И обманет пылинками грёз.  
На дома, на людей, на лёд  
Весь осыпался иней с берёз.

\* \* \*

*Марине Львовне*

Ветер не знает цели.  
Ветер — один свободен.  
Ветер, на что ты годен?  
Помнишь, о чём мы пели?

Пели... А может, выли  
Наши простые души —  
Правду, что мы любили,  
Правду, что нас разрушит.

Ветер увяз в сугробе,  
Дождиком льёт досаду —  
Был он свободным вроде,  
Не было с ветром сладу.  
В прошлом его любви,  
В прошлом его метели...  
В мире всегда свободен  
Тот, кто не знает цели.

\* \* \*

*Наталье Абдрахмановой*

Не шучу и вовсе не ругаю,  
Но стихами тайну не прикрывать:  
Будешь ты иною, и другая  
Растеряет ветреную прыть.  
А пока — мне каждый жест

понятен,

А пока — не ведаешь греха,  
А покуда глух он и невнятен —  
Робкий лепет твоего стиха.  
Но — витийствуй! Благороден поиск  
Мира, счастья, смысла и любви.  
Ты ещё напишешь чудо-повесть  
На страницах собственной судьбы.



День за днём. Одну.  
 И без помарок!  
 Остальные опыты — потом.  
 Догорит свечи твоей огарок —  
 Воссияет стихотворный том.  
 Том ли? — Капля в море-океане...  
 Но без капли целому не быть!  
 Проживи свой век в святом обмане  
 И попробуй правду полюбить.

\* \* \*

Снова по зимней одежде  
 Снега шуршит толокно.  
 Словно прожектор надежды,  
 Вспыхнуло светом окно.  
 Скоро проявятся краски  
 Нового зимнего дня.  
 Жить бы легко, без опаски —  
 Все во Вселенной родня...  
 Делим пространство на части,  
 Вот и устала Земля...  
 Обыкновенное счастье  
 Снегом легло на поля.

\* \* \*

Протальник, протальник! —  
 Иные ветра,  
 Иные рассветы, иные закаты...  
 Рыдают сосульки, светлы вечера...  
 И падают царского снега палаты!  
 А солнца осколки блуждают  
 в следах,  
 И пробует голос певунья-синица.  
 Морозное зло умирает во льдах,  
 И в полночь девице не спится,  
 не спится.  
 ... К утру всё яснее таинственный  
 свет  
 От лика святой православной  
 иконы.  
 И нет у природы ненужных сует.  
 И мир справедливые правит  
 законы.



**Владимир  
ПЕТРОВ**

На моей на малой родине —  
 В Старояшкине-селе,  
 В полгектара огородине  
 Низко кланяюсь земле.  
 Овощей понасажаю,  
 Бой с амброзией сведу,  
 Собранному урожаю  
 Место в погребке найду.  
 В свежем виде ли, в соленьях  
 Каждый овощ дорог мне,  
 Но капусте — предпочтенье,  
 А картофелю — вдвойне.  
 Огородным им, бессменным,  
 Благодарный мой поклон:  
 Я на них в послевоенном  
 Скучном детстве был возвращён,  
 Чтобы в старости на родине —  
 В Старояшкине-селе  
 Всё на той же огородине  
 Низко кланялся земле.

### **ДИЧКИ**

Для родни мал отчий дом,  
 И мне проще  
 В отпуске в селе родном  
 Жить у тещи.  
 А у тещиной избы,  
 У завалинки  
 За дождями, как грибы,  
 Встали яблоньки.  
 Словно два боровичка  
 Поздней осени,  
 Потянулись два дичка  
 К солнцу в просини.

Не случайно я сравнил  
Их с грибами —  
Листьями тепло укрыл  
С «головами».  
Оренбургской стужи знал  
Злую хватку,  
В огород весной их взял,  
В пересадку.  
Выбрал уголок земли  
Возле баньки.  
На другой год зацвели  
Дички-яблоньки.  
Они в зиму сбереглись  
Не напрасно —  
Яблочки на них зажглись  
Жёлто-красным.  
После зим, скурых на снег,  
Сверхморозных,  
Лишь они средь яблонь всех  
Плодоносны.

\* \* \*

С тобой не вижу две недели,  
В тебе нуждаюсь больше всех.  
За это время улетели  
На юг все птицы, выпал снег,  
И так же, как упал неожиданно,  
Внезапным съеден был дождём,  
Напомнившем: в непостоянном  
С тобою мире мы живём,  
Что нужен друг надёжный, сильный  
Прижатому со всех сторон...  
Но недоступен твой мобильный:  
Не с новой симкою ли он?

\* \* \*

Декабрь себя сам огорчил —  
На зиму «накатал телегу»:  
Дождём неожиданно застрочил  
По свежевыпавшему снегу.  
Свёл за два дня его на нет  
И запоздало спохватился,  
Что погасил вдруг снежный свет  
И в хмурость осени скатился.

## ЯНВАРЬ — 2013

С небесной щедростью зима  
Сдружилась в искреннем  
общенье,  
В свои засыпав закрома  
Снег до Крещенья.  
Не зря подходы к торжеству  
Над высшей скупостью искала,  
Что часто снег и к Рождеству  
Не отпускала.



**Вениамин  
ПОБЕЖИМОВ**

Как быстро наша молодость  
прошла...  
Всё грезится: девчонки  
и мальчишки —  
Мы лихо мяч гоняем вдоль  
двора,  
Свалив на траву пиджаки  
и книжки.  
И будто только что, под тенью лип,  
В ответном ритме сердце  
простучало  
Любви, ещё застенчивой, начало,  
Несмелой, но пронзительной,  
как крик...  
И гвалт двора, и нежный шелест  
лип  
Давным-давно исчезли  
за плечами.  
И светлыми весенними ночами  
Остался лишь воспоминаний  
всхлип...  
О молодость, ты как маяк вдали!  
...Но нет уже за ним для нас  
земли.

**ВРЕМЯ**

Время лечит.  
 Время убивает.  
 И палач и врач одновременно.  
 Лечит быстро, долго —  
   всяк бывает,  
 Но убить старается мгновенно...  
 Практикуя на душе и плоти,  
 Время постоянно на работе.

\* \* \*

Лес вздрогнул от дыхания весны,  
 От птичьей неуёмной канители.  
 И сбросили с себя дубы и ели  
 Зимы суровой затяжные сны.  
 Снег почернел. Его почти что нет.  
 Река ручьи берёт в свои объятия.  
 И каждый день, едва придёт  
   рассвет,  
 Весна, как модница, свои меняет  
   платья...  
 Ещё чуть-чуть — зашелестит трава.  
 А сами мы, восстав из снежной  
   были,  
 Найдём в душе прекрасные слова —  
 Слова любви, что за зиму забыли.

\* \* \*

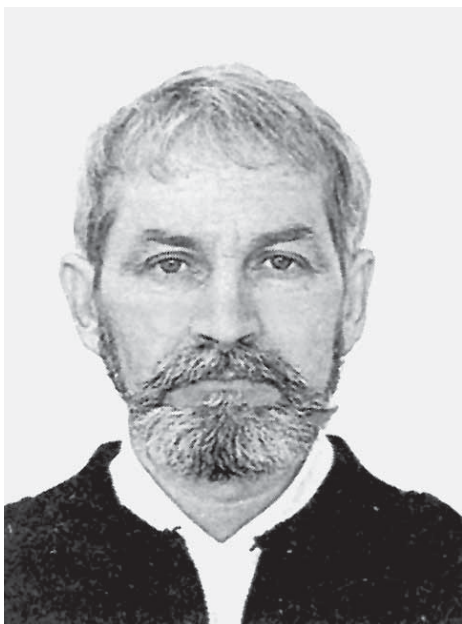
Все хотят дожить до ста...  
 А потом ещё б немного...  
 Жизнь, подаренная Богом,  
 Удивительно проста:  
 Всё продумано вперёд —  
 Луч рассвета,  
 Луч заката,  
 И в саду пчелы полёт,  
 Соловьиная соната,  
 Шум дождя и бег ручья —  
 Всё в святом законе строго...  
 Думал я, любовь ничья,  
 Только и она от Бога.

\* \* \*

*Н. Рубцову*

При жизни затоптан.  
 Посмертно заласкан.  
 И мечется память, как рыба в садке...  
 Теперь-то готовы хоть орден  
   на лацкан,  
 Да только поэт уж в другом  
   «пиджаке».  
 Ему безразличны теперь дифирамбы,  
 И дождь словоблудья, и почестей  
   гром...  
 И кружат печально хорей и ямбы  
 Бездомною стаей над серым крестом.





Александр ЯЛФИМОВ

## АТАМАН БАРБОША\*

*Главы из романа*

*Александр Петрович Ялфимов родился в 1948 году в посёлке Серебряково Уральской области (Казахстан). Потомственный уральский казак. Окончил Уральский педагогический институт, работал в школе, на стройках, заводах. Прозаик, публицист. В литературном творчестве выступает в двух ипостасях: как мастер устного чтения рассказов в оригинальной манере уральского говора и как автор малых жанровых форм – литературных сказов, миниатюр, баек. Член Союза писателей России. Лауреат областной литературной премии им. С.Т. Аксакова (2011), премии альманаха «Гостинный Двор» им. Валериана Правдухина (2013). Живёт в Уральске.*

### 13.

Ох да ах на Руси! Мефодия-чернеца, Мефодьюшку то и дело поминает Строганов, к Москве подъезжая. Успеваешь тока креститься да молитвы творить, а оглядки и не считал. Голова рона на колу, вкруговую. На дороге лесной, узкой, тёмной возникнут вдруг человеки, замаячат то спереди, то сзади, шут их разберёт кто такие. То ли слуги царски, то ли шайки разбойные.

Почти у самой Москвы невесть отколь выскочили верховые, наглые, пьяные. С бранью, хохотом – к обозу, к телегам, а тама гостинцы царю, меха, серебро. Посшибали возниц долой, охрану обозную в кружок взяли.

Не столько от храбрости, сколь от злобы, Аника на ноги, вырвал кнут у возчика своего, хлобысть подвернувшегося, крайнего, заорал:

---

\* Роман «Орлы приятицкие». Начало в № 30, 40

— Отхлынь! Царёво добро! Брякну яму, расскажит!

— Я те расскажню,— кнутом хлобыстнутый, — я тя по суставам разорву!— и к Анике.

— Ну-к стой,— подлетел моложавый, красивый опричник,— кто таков? Про како царёво добро орёшь? Ну? — Саблю из ножен вытянул,— омманешь, тут и ляжешь.

Аникей, сознавая, что всё едино пропадать, ещё яростнее:

— Строганов я! По грамоте царёвой еду. В телегах им указанное!

— Не ори,— наезжая конём, осадил купца опричник. — И не грози, язык отрежу. Слышал про тебя. Поворачивай в слободу Александровскую, тама двор государев, да радуйся, што живым остался.

— В каку слободу,— опять было в крик Строганов...

— Делай што велю. А ты,— к тому, которого Аника кнутом опоясал,— проводишь его от греха. Пошёл не мешкая.

Ускакали опричники. Поворотили назад, на дорогу ко Владимиру, что делать-то, плачь, кричи, а ехать надо. Подпрыгивает на рытвинах возок Аникея, сам он нахохлился, в тревоге нахлынувшей.

Опричник, к обозу приставленный у возка, рот кривит, с присвистом Аникею:

— Меня, слугу царского, кнутом, да я тебя, тебя, зарезу...

Строганов, о своём, тревожном думая, огрызнулся вскользь:

— В слободу, ету вашу приедим, правь сразу к Григорь Лукьянычу, он тя наградит за усердие...

Придержал коня опричник, от-

стал, остальной путь ехал в стороне, на купца косился.

А в слободе — ни пойми, ни разбери. Войсками окружена, рвы копают, валы наваливают, рона к баталии готовятся. Скачут во все концы верховые, кто не отпрыгнул, конём стопчут, кнутом урежут. Пыль столбом, шум, крик.

Рассердили бояре царя Ивана. Цап он самое дорогое да древнее, постом Рождественским айда в слободу Александровскую. Иконы древние, византийские, книги духовные, утварь церковную, драгоценную, казну с собой упятил. Завёл в слободе Двор опричный, Думу, Приказы, а всё, что на Москве осталось, Земщиной объявил.

В февральскую метель, гневом налитой, в Москву нежданно нагрязнул, Земский собор собрал.

Прели в шубах бояре от речи царской, обличительной. Стыла кровь в жилах боярских от взваленных на них забот по войне Ливонской. Морокком взялись души боярские, услышав о земельном разделении.

Ушиб словами заключительными. Упёрся взглядом поверх их голов, в очах пламень, пальцы в перстнях то в кулак, то в растопыр. От гласа царского по хребтам боярским мурашки побегли:

— Люда простого гнев мой и опала не касаемы. Отныне на изменников опаляться, казнить их иль миловать, буду без вашего, боярского, соизволения. Добро казнённых и всё имущество на себя забираю.

Зашевелились было бояре, бородами затрясли, а царь посохом в пол ахнул, с угрозой добил:

— А за отъезд мой выньте и положите мне из казны земской сто тыщ рублей, да быстро, а не то,.. — ещё раз посохом пристукнул.

Поникли головами бояре. Не было такова дива на Руси, не безумен ли?..

Не пимши, не емши, в пылище, еле доволоклись до слободы Александровской. Уж так подвезло Строганову, Богдана Бельского в суете людской узрел. Вскочил в возке на ноги, закричал:

— Богдан Якыльч, поворотис сюды, я эт, Строганов!

Услыхал. Пропихнулся скрозь толпу, к Анике подъехал.

— А, купец,— сдерживая сытого коня, ощерился Бельский.— Давай за мной, пока не растрясли тебя. С Москвы припожаловал, али с солей своих?

— Какой с Москвы! С дороги заворотили. Кто, зачем, знать ни знаю, не чаял и живым добраться...

— Не боись, — хохотнул советник царский,— определю тебя на постой рядышком, не тронут. Кто жа заворотил-та?

Опричник, сопровождавший обоз, к Бельскому, заговорил с придыхом, косясь на Строганова. Богдан Яковлевич послушал, лицом построжал:

— Забудь на век, о чём шепчешь. Беги к своим, а то и я тебя, самолично...

Опричник шапку сдёрнул, перекреститься намереваясь, напугался видно, бац коня под бока, ускакал.

— Ну вот, купец, тута и живи,— обвёл Бельский плёткой нарядной ветхое подворье, на видимом поприще от слободы. — Землицу-та раско-

вырял даденную? Велик ли доход? Чаю, опять челобитную царю подать хочешь?

Строганов индо руками развёл в удивлении:

— Господь с тобой, отколь доходу взяться? Разор один, эва сколь всего надобно...

— Што ж просил тады?— перебил Бельский.

— Ну тык тока подступил к делу, когда ещё...

— Не стони, свово не упустишь. Ладно, всё одно тебе к царю надобно, уж лучше я. Што привёз-та?

Смекнул Строганов, что у Бельского на уме. За ради дела да спокою ай мзду не поднести.

— Тебе особо Богдан Якыльч гостинцы от меня, как водится. Рухлидишка мяхкая да сребреца малость...

— Ну тык давай, а то мне к двору царскому. Шепну Государю про тебя.

Кой день сидит Аника в избёнке крестьянской. Бельского дожидает. Впервые за многие годы душа враспыл. Разумом ясным, цепким охватить не может, что сотворилось на Руси.

— Зачем тут сижу? По какому-такому случаю царь вызвал? Дома дела невпроворот, а я в избёнке этой, вонючей, чаво жду?— Томится душа, сердце болит.

Глухой ночью в дверь заколотили. Вскочил с лавки, молитву творя, одёжку зашарил. Во дворе тени, ржанье конское, факела пылают, с треском дверь раскрылась, голос Бельского:

— Эй, купец, отзовись. Спишь, што ля?

— Какой сон...

— Сбирайся, царь ждёт.

— Ночью-та?

— Айда, айда, ночью лучше видать...

Ведёт Бельский Аникея коридорами тёмными, переходами путанными. Позади несут опричники меха, Строгановым привезённые, укладку с серебром. Щупает то и дело купец карман кафтанный, в коем самородки золотые.

— Эх, бьётся в голове, — хыть ба ларец какой под золото. Спешка всё, провались она. — Тут же другое на ум, непонятное. — Што за нужда царю в потёмки играть, дня, што ли, мало?

К двери подошли, низенькой. Расступились служивые с бердышами перед Бельским, тот Анике буркнул — «Обожди» — шмыгнул внутрь. Не успел Аникей разглядеться, дверь отворилась, втянул Бельский купца в палату. Не давая у порога на коленки упасть, поволок далее.

В углу палаты, множеством икон, убранным, в зыбких отблесках от драгоценных окладов, Государь, царь и Великий князь Всея Руси. Разглядел Строганов, обмер — не тот, не тот перед ним, коего на Москве зрил! Тот высок, широкоплеч, красив, а этот станом согбенный, борода редка на просвет, в одеянии чёрном, долгополом. Глаза ещё страшней, чем ранее. Веки нависли, в красном обводье, рона вывернуты, в свете слабом чёрным огнём полыхают. Строганов на колени, бородой в пол, замер не дыша.

— Зачисляю тебя, холопа нашего, в опричину, — голос у царя хриплый, дышит с присвистом, — со

всеми соляными промыслами, коими мы тебе владеть дозволили. Честь тебе великая, служи верно, корысти для себя не ищи...

Пока царь Анике выговаривал, Бельский велел мех у порога свалить, укладку с серебром раскрыл, шагнул поближе, затих.

— Держать тебя здесь не буду, — впился взором мрачным в Строганова, — о деле ему сказывай, — на Бельского указал, — он мне донесёт. Встань, купец.

Грузно ступая, царь прошёл к мехам у двери, поворошил концом посоха вспыхнувший искрами драгоценный мех, назад к Анике.

— Начал положил ли делу в пермской земле? Набегают сибирцы, али притихли? Людишек работных отколь берёшь?

Бельский к купцу шагнул, ткнул в бок, прошипел:

— Говори...

— Набегают, Государь, во множестве набегают сибирцы-та. Разорчинят, еле отбивам. Делу зачин положен, сыновья в трудах, всё, што было, ввалил, — повёл в сторону Аника, желая избежать ответа о работниках, — тружусь, маюсь...

— О людишках сказывай, где берёшь, не с Руси ли?

— Избави Бог, Государь, — брякнулся на колени Строганов, — тамошний народец...

— Лукав ты, купец, — вроде даже улыбнулся царь, — да в деле купецком без оного не можно. Так, говоришь, набегают сибирцы...

— Набегают, во множестве набегают.

— Встань. Челобитную подай, что надобно укажи, — закашлялся

царь, задышал хрипло, рукой махнул,— ступай с Богом...

Назад опять коридорами да переходами. А по ним, отколь взялись, люди, люди вереницей, все в чёрном, лиц не разглядеть, будто демоны во мраке. Только на воздух выбрели, бухнул колокол на звоннице, гул волной, к земле давит, жутко, боязно...

— Дядюшка знак подал, — шепчет Бельский,— поспешать надо.

Только в избёнке почувствовался Строганов. Виденное ночью, будто бредовый морок при хвори-лихоманке, рона в другом мире побывал. Встал с лавки, кафтан праздничный с плеч, звякнуло что-то.— Золото царю не отдал!— Тут же успокоился,— а может, оно и лучше так-то.

С ног сбился, пока челобитную состряпал. Слобода не Москва, ярыграммотеев не сыскать, абы к кому с этим делом не ткнёшься. В приказах, царём учреждённых в слободе, не писцы, разбойники. Лица зверовидные, без мзды не подступишь, слова путают, названия искажают, да ещё огрызаются. Как сию небылицу писанную царю подать? В который раз пожалел, что Федьку-приказчика с собой не взял. Ему тут самое место, одна масть с опричниками.

Наконец сделал дело. Сел уставший к окну, в избёнке опротивевшей, Бельского ожидать. Тот рона учуял, тут как тут. Цап челобитную, в придачу соболька-одинца, Аникой за беспокойство предложенного, ещё обождать велел.

На четвёртый день, слава богу, хыть не ночью, а утром ранним, предстал Аникей перед царём. Си-

дит Государь за шахматной доской, угрюм, тих, вроде как дремлет. Бельский, тихо ступая к царю, к уху наклонился, не громко, но внятно:

— Государь, по слову твоему купца привёл.

Будто и не слышит, сидит себе неподвижно, в доску с шахматами уставясь. Бельский Аникею знак подал, подойди, мол, поближе, да кланяйся, а царь уж смотрит на купца, заговорил тихо, устало:

— В челобитной своей просишь ратниками али казаками набраться, с тыщу, для оборонения от сибирцев. Оборонять надобно, слов нет, да где их взять, ратников-та? Али забыл, што война который год? Впо-ру мне самому на поле с сабелькой выскакивать, а ты ратников...

Аникей бац на колени, рот было раскрыл, Бельский глаза на него выкатил, кулак тайно кажит.

— А про казаков и речь не веди. Служилые нам для брани надобны, а воровских призовёшь, тебя же на дым и пустят. Так-та.

Царь потянулся за посохом, медленно, будто хворый, встал, пошгал не спеша.

— Верховьем Чусовой-реки владей, как просишь, но знай, то вотчина наша, говорил тебе. Ставь там городки, крепосцы, своих людишек ополчай. Вот тебе и защита от сибирцев, закроешь дорогу к промыслам главным. И на эту землю льготу даю.

К Анике подошёл, пахнуло от одежд царских воском свечным, ладаном, глянул сурово:

— Встань. Постом великим воевода с Чердыни-городка по слову моему дьяка к тебе пришлёт. Отпу-



стишь ему мех добрый, серебра по мере, соболей одинцов. Да не скупись, купец, воздаст тебе Господь. Отправишь с охраной к воеводе, а он сюды. Иди с Богом, помни ласку нашу.

Домой возвращался тихий, увиденным и услышанным потрясённый. Вспоминал, как в прошлый раз из Москвы ехал. Душа пела, кровь бурлила, готов был горы своротить. Грамоту, царём даденную, то и дело ощупывал. А теперь? Вот она, ещё одна, и нужная, и со льготой, а радости нет. В опричной службе, вишь, теперь, честь велика. А вылезло куды, мех давай, серебро, да по мере, а мера какова? То-то и оно, мера одна, разор. Дед по копеечке собирал, родитель тожить. Я в трудах денно и ночью, а тут бак, опричника, честь...

Пока до Соль Вычегодской доехал, вся жизнь перед очами прошла. И каждый раз в думах своих к Мефодию-чернецу возвращался, к словам его. Прав странник божий, все трепыхания людские на земле, все стремления человецев к богатству, власти, славе — суть от лукавого. Душа главное, напитанная Верой, трудом во благо, любовью искренней и бескорыстной.

По приезду в гнездо своё, вызвал Строганов сыновей. Тихий, будто подменённый, о делах поведал. В конце объявил:

— Всё, детки мои, натрудился я. Дело наше не разбивайте, думайте одной головой. Живите дружно, брат брата в скорбях не бросайте, Богу молитесь. А я в монастырь ухажу, за вас молиться буду. Простите мя Христа ради.

Мефодий-чернец явится, обласкайте, обогрейте, напитайте. Велик духом сей человек, недосыгаем для нас, грешных, божий человек. Оставайтесь с миром\*.

#### 14.

После набега на Астрабад поворотили струги к родным берегам. На острове, с коего набег и предприняли, отдохнули малость, помянули погибших. Оттоль махнули поперёк моря, направлением на Баку. Под Баку остров Чирей, у него встали. Пополнили запас пресной воды, придерживаясь кавказских берегов, пошли дальше.

Гожохынко плывём, бузили казаки, да вина нет. Скоро устье Волги, прощаться будем, а как без вина?

В виду Дербента, при тихом море, встали на якоря. Навалили в два струга ткань, ковры, всё одно добро это на зимовку не попрёшь, айда на удалую к берегу.

И на этот раз повезло. У купца армянского тут же обменяли на вино и баранину, устремились дальше.

В устье Волги выбрали островок покрупней, раскинули шатры, выставили котлы. Пока баранина в котлах прела, размотали тюк ткани, постелили кольцом на земле. Во всяку посуду вина налили. Чтоб далеко не ходить, бочки с вином рядом угнездили.

\* Через год, в монастыре, прожив 72 года, 2 сентября 1569 года, помре инок Иоасаф. Был это Аника Строганов. Царство ему небесное.

Пировали ночь, день, ещё ночь. На утро попрыгали в воду, дурь хмельную смыли, раздували на-грабленное меж теми, кто с Дону приплыл, и яицкими.

Перед расставанием старики и атаманы ватажные внимания потребовали. Григорию Алексину дозволили слово молвить.

— Казаки,— шагнул в круг Алексин,— возблагодарим Господа нашего, што живыя к берегам своим пристали. Да простит Он нам грехи вольные и невольные.

Кто на коленки пал, кто стоя крестится, ногаи, Багман, Азимурад да Алим Юнусов в сторонке, своему Богу молятся.

— Старикам нашим,— продолжает Алексин,— казакам-горынычам, спаси Христос за науку и наставления. Помним о вас, чтим. И ещё, казаки, дело одно. Галеру, кою для полона отбили, ништа им, мученикам, оставим? Вася Губарь, брат наш, да Ваня Выпряжка общаютьца мимо Астрахани её провести, а тама уж как Господь велит. Как думыти?

— Пущай плывут,— со всех сторон голоса, — чай домой охота.

— Ну и ладно. Давайте прощаться.

Попрыгали казаки на струги. Расплываясь, ахнули из пушек вхолостую. Лёгкого пути, тёплой зимовки...

Подплывая к устью Яика, приметил Черной, побратим его, Тимофей Пуд, ёрзать принялся. Глаза то тьмой нальются, то огнём вспыхнут. Ткнул его локтём в бок, в глазыньки заглядывая, спросил:

— Што, брат, видать, Арина шибко за тебя молится. Без единой болячки с промысла?

Ухмыльнулся Тимоха, вытянул из-за пазухи узелок.

— Гля, гостинчик Арине припас. Ет вот серьги, а ет браслетка сребряна, с глазками. Как?

— Баскый гостиниц. Пади, с ушей выдрал у какой-нибудь?

— Што ты. Николи баб не обижал, хыть какех. Главно — разыскать её, там ли, где оставил.

— В голову не бери. Куда денетца на острове, ды щя с Зузаном и Фролом.

— Тока што, — вроде успокоился Тимофей. Тут же встал, спихнул с нашеста весельщика, уселся, гребанул, индо струг колыхнулся.

— Тиха ты, бугай, струг перспрокинишь,— зазывали со всех сторон.

— Не боись, гребни шибче, мне скоро нада...

Смотрит Черной на Пуда, завидует по-хорошему.

Персиянка всплыла в разуме. Вот уж где краса писана. Волос волной чёрной, брови рона нарисованы. А глаза, будто ятови на Яике, тёмные, бездонные, завораживают. Облика такого, женского, не видал ранее. В плечиках не широка, в поясе хыть перерви, а бёдра крутые, мощные. Сотворил же Создатель диво такое.

Не единожды корил себя, почему не взял с собой. Сам и отвечал, пожалел красу ненаглядную, зачахнет, помрёт в холоде и снегах. А она, всё прошедшее, в глазах, будто в яве...

Не кричала, не сопротивлялась, ножик бросила. Обнял, почувствовал, дрожит вся, ноздри трепещут, дух его тянут. А он, ярость ещё не схлынула, мышцы буграми, ратной силой набухшие. В крови, толь мужа её, толь хозяина. С испуга видно

прильнула, меж алых губ кипень зубов... Рона в прорубь крещенскую мырнул, полыхнуло нутро огнём, опрокинул на ковры, канул в сладкий морок...

Рёв рога, созывающего казаков, хуже пули, хуже смерти, ладно хыть не раньше...

На ноги её, отколь блажь в башку, в грудь себе кулаком: Черной, Черной я! Ты кто, имя скажи, имя!

Поняла, ладошки к груди: — Наги, Наги!, — а грудь у неё, а остальное...

Рона кто толкнул его тогда. Встал на колени перед ней, обнял ножиньки её дивные, поклонился красоте женской, редкостной, драгоценной...

Рог медную глотку рвёт, казаки бегут, грохот, стрельба, а он, Устин Черной, сроду ни перед кем голову не склоняющий, на коленях.

Ножик её, ей же в ладонь, завалил подушками, одеждой, ворохом какой-то ткани, в надежде не догадуются персы, что в руках неверного была.

Надо было с собой взять, надо...

На ранней зорьке встрепенулся Яик-Горыныч, насторожился. Наслышал скрозь волглый туман скрип уключин, всплеск воды от вёсел, радостный говор казаков. Признал своих, метнул под днища серебряну рябь-волну, запричмокивал, зацеловал выбеленные морской водой струги, принял на свою спинушку долгожданных детушек. А детушки виснут с бортов, черпают пригоршнями сладкую воду, пьют, омывают прокалённые солнцем лица, шепчут благоговейно: Яикушка, Батюшка.

Алексин повернулся к каравану,

свил ладони трубой, крикнул зычно:

— Казаки, орнём!

Хапнул вольного воздуха полную грудь, наливаясь силой выхлестнул:

— Брыт, живой!

— Живой, брат! — волной по стругам.

— Старинушка, вот оне мы!

— Мы, мы! — взревели казаки.

Рванул с седых кудрей повязку, в воду её.

— Брыт, прими!

— Прими, брат! — Полетели в воду шапки, повязки с голов, азиатски халаты, старики, кланяясь родным берегам, метнули в воду по щепотке соли.

Тока вывернули к Медвежьему острову, глянь, а навстречу будара порит. На корме, стоя в рост, вваливат кормовиком девка. Волос по ветру веет, в распахнутых глазах за лето скопленное печаль, надежда, ожидание, страх. Кинжал хивинский по бедру бьёт, не замечает, кричит:

— Тимоша! Тимоша, ты где?!

Заявали казаки, грести бросили, врут смачно:

— Продыли мы яво...

— Трухменцы на мясу взяли...

— В Золотой мечети, к бабам в полон угодил.

— В Баке остался, абусурманился...

Рёв, гогот, свист!

Арина весло бросила, руки к груди, глазами по стругам. Перекрывая зёв, взревел Тимоха:

— Ариша, вот он я! — Хлобысть в воду, индо струг закачался, и к девке своей.

Алексин обратно ладони трубой:

— К острову правь! Котлы на берег, столы-скатерти стели!

— К острову, к острову,— по стругам, чуя отдых и винопитие.

Старый Зузан на бережку, то ли плачет, то ли смеётся, плечи вздрагивают, шепчет умилительно:

— Казыньки мои, приплыли мои гожины, ненаглядныи...

Фрол Погодаев, донельзя худющий, бежит по кромке воды. Видать, рыбу ловил, в каждой руке по таловому кукану, на каждом по сазану, обмохи по песку:

— Бытта чуил, бытта чуил, рыбки пумал...

Вмиг котлы на берег, бочку с вином на попа. Зузана с Фролом затискали: живыя заразыньки!

Ванька Бубен, успевший вина глыкнуть, над Фролом навис. Посовиному глаза выпча, мокрый рот кривя, лепечит без передыху:

— Шах-та пирсицкий, крашена борода, кланитца тебе. Хде, спрашиват, Фролка-батырь, каку мамакину ни припожаловал? Скиды, яму гостиниц припас, цельный куль трёхплёх, ды в сундуке осьмнадцать блох...

Погодаев, в чём душа держится, с восхищением на Ваньку смотрит, писклявым голоском в ответ:

— Вдругоре, ит меня яму поклон клади, тока матри сам себе на пятки ни наклади.

Обнял Ванька товарища боевого, поволок к стругу своему, в коем бочонок с вином под нашестом схоронен.

Ермолай Перша, пытая Зузана о житии на острову, цапнул проходящего Ревка, к старому подтянул:

— Во, матри, деда, эт громила-

удалец, шарпальщик Микита Рявок. До сей поры по всяму трухменскому берегу бабы стонут. Все кумганы у них поворовал, сполоснуть причинны мяста не ис чива.

— Дядинька Ермолай,— взмолился Микитка, а Перша далее:

— Веришь ли, Сухорука с Шумилой на Камынином острову перепил, так и вярнулись на Дон в досаде...

Глухой, как камень, помаргивая линиялыми глазочками, дед головой помотал, изрёк важно:

— Славуцёй, славуцёй казак. По ухваткам вижу, быть яму в итаманах.

Прыснул Микитка, отворотился, а Перша деду в ухо:

— Да-а, уши у тебя рона у волка. Иди... винца вона испей.

Пока суд да дело, похлёбка в котлах вскипела. Багман с Полозом черпаками замахали, казаков созывая. Напузырили кому во что хлёбово, рыбу звеньями на лопухи наваляли.

Зарубу как всегда в гулебны атаманы крикнули. Встал тот на ноги, крестное знамение сотворил, перекрестил яства:

— Братия мои, с трудным переходом нас, с благополучным прибытием к родным бирягам. Помогите нам, Господи, перезимовать на Яикушке без скорбей и хвори, будущего летичка дождатца.

Ахнули винца за пожалание, зафыркали похлёбку, костями отплёвываясь, на рыбу навалились.

В самый разгар пира Тимоха из кусьёв вымырнул. Харя рона маслом обмазана, глаза пылают, к Устину сунулся:

— Брат, утробу чем бы набить, ды вина хоца...

— Об чём речь,— вскочил на ноги Черной,— справим.

Похватили мяса, рыбы, в глубокую посудину из котла похлёбки налили. Уцепили бочонок с вином, поперли к Ариной лачужке. Казаки и глазом не вядут,— понимаю, стясътье у Тимохи.

Удерживая на отлёте посудину с хлебовом, Черной на Пуда зыркнул:

— Арина што? Чаво глаголит?

— Ай до разглаголивания,— ощерился Тимофей, — словом перемолвиться некыли. Пожуём вот, ды обратна. Не девка, брат, хельва пирсицка!

Заржали оба, чуть куски из рук не поваляли.

У лачужки Арина счастьем переполнена. Понятливый Черной похлёбку на траву поставил, шепнул Тимохе:

— Иди, брат, воюй дальше.

Утром попили, поели, Круг объявили. Приговорили в трёх кошзимовьях на зиму встать. На безымянной речке, не доходя Сундукгоры, на мысу, где Чаган в Яик впал, да ещё выше по Яику, на переволоке в Красной Луке. Две переправы, две основных караванных тропы из Азии, в аккурат между зимовьями угождают.

— Мало ли што, а вдруг зимней порой купец из Азии, иль наоборот в неё, — толкует Алексин, — а мы вот оне. Всё одно бегать друг к дружке будим, езлива што, налетим, косточки разомнём. Приговорили, зимуем по слову атамана ватажного.

Не мешкая, раздували зелье, крупы, вино, разбились по желанию да по силе на две ватаги. В третью,

малую, всего из десятка казаков, старики сбились, у них дело особое, головой Устин Черной.

Погребли на зимовки. Время не терпит, не успеешь оглянуться, зима нагрянет. Лачужки ухитить надо, дров припасти, да мало ли забот перед стытью.

Алексин повёл своих в Красную Луку. С ним Ермолай Перша с Ревком, Бахарь, Еремей Фофан, Вася Голунов с Гришкой Котлом, Агейка Брянчик, ещё казаки. Всего три десятка голов набралось. Прикинул Алексин, в этом коше одна лачужка лишняя оказалась. Пристали к нему и Тимофей с Ариной. Несподручно бабе с казаками в одной лачужке зимовать, а тут и рыть не надо, поправь да живи.

Спиридон Уфинец на мысе, где Чаган в Яик впал. С ним Кондратий Пачколя, Емельян Шапка, Афоня Полоз с Багманом, Семён Тюря, Азимурад Ерманов да Алим Юнусов. Всего сорок казаков. Место бито, зимовье большое, зимуй не хочу. Ванька Бубен пометался, пометался, тоже к ним пристал.

На безымянной речке, в глухой урёме, у неохватного, с сухой вершинкой осокоря, ещё одно зимовье, давнее. Приплывные о нём не знают, а оно главное на Яике. Всего одна лачужка в глухом месте, вся травой да кусьями заросша. Ни дорог, ни троп, к воде тока долопка, на зверину похожа. Из лачужки под землёй ход прорыт к яме просторной, сухим кругляком выложенной. В яме запас зелья в дубовых бочатах. Свинец, оружие на крюках висят. Тугими рулонами кошмы свёрнуты.

В кадках дубовых, крепко запечатанных — крупы, соль. В других, в человечесий рост, сукно грубое, для одёжки зимней, жеребьячи шкуры мягки, выделаны. Азямы на вате азиатской, шапки, рукавицы, одним словом, всё что сгодится зимней порой. Кадки закупорены, воском залиты. Старики главные хранители. С промысла возвращаясь, запас перетряхивают, пополняют. Не ими заведено, они лишь казачьему закону следуют.

И в этот раз пристали караваном к Бухарской стороне, на струге Алексина вплыли в безымянную речку. Стаскали к лачужке порох, еду, оружие, на промысле добытое, малую бударку оставили.

Отчалил струг атаманов. Закрестили его вослед старики, Каратай да Заруба, Фрол Погодаев да Зюзан. Махнули рукой уплывающим, Феденька Скоба с Сёмынькой Засухой, Иван Муха да Ларион Долгой. Понимая, что и кого им доверил атаман, крестятся матёрые казаки, Ефим Горшок да Устин Черной.

Плыви, Гриша, плыви, атаман лихой да заботливый. Сподобит Господь, повидимся скоро, весной долгожданной, весной радостной.

*Конец первой части.*



Ирина БУШУХИНА

## «Я НА ЭТУ САБЛЮ ПОВЯЖУ ПЛАТОЧЕК...»

*Ирина Владимировна Бушухина родилась в Свердловске, закончила факультет истории искусств Уральского государственного университета им. М. Горького. Искусствовед, заведующая галереей «Оренбургский пуховый платок» областного музея изобразительных искусств. Автор книг об истории и искусстве оренбургского пуховязального промысла. За годы работы в музее собрала уникальную коллекцию оренбургских пуховых платков. В 2009 году за концепцию создания музея платка была удостоена губернаторской премии «Оренбургская лира». В 2012 году за выставки, прославляющие оренбургский промысел, награждена памятной медалью П.И. Рычкова.*

### 1.

Оренбуржье — край казачий. Немало документов, памятных вещей бережно хранятся в городских и сельских домах, напоминая о нелёгкой военной жизни своих предков. Не всегда родные могут рассказать, где и как сложил голову лихой казак, но в домашнем альбоме можно увидеть фотографии, которым уже более 100 лет. На них изображены деды и прадеды в казачьей форме, с шашкой наголо. Чубатые головы, взгляд, когда с прищуром, когда открытый, но всегда твёрдый, уверенный. Опора, заступники, сила. Снимались, видимо, где-то далеко в столичном городе или в походе — на чужой земле. Видно, что долго готовились к съёмке, чистились, подтягивались, поправляли усы. Усаживались основательно, чтобы всех было видно. Фотографировались на долгую память: для себя, для родных, для любимой...

Снимки толстые, наклеенные на картонное паспарту. На обратной стороне надписи, гербы, медали чу-

жеземных фотосалонов. Качество изображения на фотографиях, выполненных по старым технологиям, поразительное! Выражения лиц, воинские знаки различий, мелкие детали костюмов — видно всё, и это рассматривание, знакомство, изучение доставляет нам огромное удовольствие.

Однако что же на коленях у бравых воинов? Ажурные, вышитые платочки?! Что за сентиментальность? Зачем рядом с шашкой женская безделица? Вглядитесь: один из казаков часы показывает, другой гармошку растянул... Понятно, всё, что дорого — напоказ, на демонстрацию: шашка боевая — доблесть казачья, гармонь — для души, для весёлого привала, где казаки запева-лы. Но и «тряпица» на коленях — платок, вышитый руками казачки, в этом ряду вещь не последняя, особо хранимая, заветная и поведать может многое.

## 2.

В одном из писем к И.Е.Репину художник Г.Г. Ге обращается со словами восторга от впечатления, которое на него произвела картина «Запорожцы». Однако «несколько деталей, — писал он, — мне кажутся ошибочными; белый платок в руках плачущего вояки. Были ли у них носовые платки? От этого платка отдаёт современностью».

Ответом на вопрос живописца могут быть слова Н.В. Гоголя: «Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху», — так, что даже у старых казаков всегда был платок, вышитый







женой. Эти слова из предисловия к «Тарасу Бульбе», и четырёхсотлетний путь носовой платок точно прошёл. Этот четырёхугольный кусок ткани наделялся столькими символическими значениями, что гигиеническая функция, по сути носового платка, уходила далеко на задний план.

### 3.

Считалось, что, вышивая ткань, женщина передаёт ей свои мысли, сокровенные думы: «Рушничок я вышивала — про Андрейку вспоминала». Кусок ткани, покрытый вышивкой, в народе был оберегом, хранителем. Верили, что такой платок защитит и станет преградой на пути беды и опасности человека, для которого он вышивался. «Узор нему-

дрён, да силища в нём» — говорили о народной вышивке.

Вышивали платки крестиком по канве, тамбурным швом или гладью. Выполняли вышивку по периметру платочка или в углах — в сложенном виде именно эти части платочка несли основную декоративную функцию, реже задействовали центральную часть. Основными узорами вышивок были цветы, птицы, геометрический и растительный орнаменты. Очень часто в вышивку включались тексты, указывавшие на подарочное значение вещи, выражавшие добрые пожелания, любовь и заботу, слова располагались в 2-3 ряда по краю платка. Порой ука-

зывались имена детей, жены, могла быть фамилия, реже монограмма. Чаще использовали только два цвета — чёрный и красный. Доминировал красный цвет, им выполняли изобразительные формы, а чёрным — надписи. Встречалось также сочетание синего с зелёным, с чёрным цветом, известны и многоцветные вышивки. Обшивали платок кружевом, тесьмой, пропускали по краю мережку, обвязывали крючком, распускали бахромой край. Размеры платка могли быть от 30 см до полуметра, достаточно большие.

Как много воспоминаний вышитый платок будил у старой казачки! Глядя морщинистой рукой семейную реликвию, она возвращалась в свою молодость, вновь переживая несравненное, не погашенное временем чувство к статному красавцу-казаку, желание подарить ему весь

окружающий мир — все свои внутренние чувства, переданные иглой на небольшом платке. Но это другая история. В нашем случае интересны примеры отношения к платку именно мужского состава казачьих войск и удивительно, как много фактов, связанных с этой «пустяковиной», в полной драматизма особой казачьей жизни.

#### 4.

Начиналась человеческая жизнь и уже здесь платки фигурировали в ритуальном одаривании тканью участников родильного ритуала. Обладающие защитной силой носовые и головные платки дарились и на крестильном обеде. Первая детская игрушка в казачьем и крестьянском доме — кукла, сделанная из платка.

У донских казаков крестный сажал годовалого мальчонку на коня на расстеленный платок и провозил вокруг церкви три раза. Платок был белого или зелёного цвета, но никогда не синий и не пёстрый. Во время такого выезда по малейшим приметам старались угадать судьбу будущего воина. Если ребёнок хватался за конскую гриву — быть ему казаком, расплается — казака не будет, а упадёт — быть убитому в бою.

В год крестная срезала крестнику первые прядки волос, которые потом хранила в том самом платке за именной иконой. Срезанные волосы в правилах всех древнейших магий имели огромную силу, поэтому их тщательно прятали, а первые детские — особенно. Опасались, что волосы попадут к врагу и тот совершит

над ними заклинания, причиняющие порчу.

Роль платка в этом казачьем обряде, как кажется на первый взгляд, не связана с самим действием. Но дело в том, что не всякий платок использовали в этот торжественный момент.

Платок могла выдать свекровь, старшая в роду женщина-казачка — ревнивая хранительница древних обычаев. Она обладала и хозяйскими способностями, и знаниями по организации и проведению праздничных и ритуальных мероприятий. В заветном её сундуке хранилось множество платков, предназначенных для сенокоса, свадьбы, поминок, посиделок, для воскресенья, для покрывания под шаль и т.д. Но были в нём и особые платки. В них заворачивали памятные для семьи вещи: первые погоны, кресты и медали, дедовскую пашку, сохраняемые в семье и после смерти погибших в боях. На такой заветный платок, связывающий поколения, и сажали будущего казака.

Культ коня у казаков преобладал во многом над другими традициями и поверьями. Трёхлетние дети уже свободно ездили на лошади по двору, а в пять лет скакали по степи. Лет с тринадцати мальчики участвовали в скачках. Конные состязания являлись демонстрацией готовности казаков к военным походам и сражениям. Удивительно, но здесь тоже не обошлось без платка. Одним из самых эффектных номеров казачьей удали, верхом мастерства наездника было поднятие с земли платков на полном ходу. Причём казак из десятка платков, раскиданных по траве, без ошибки выхватывал нужный



платок, каким бы маленьким он не был. Трюки подбирания платков особенно удавались казакам, когда в платки подкладывали рубли, после чего промахнуться не позволял себе ни один казак. Это была лучшая забава по станицам и хуторам в любое время года.

*В стороне казачек важных  
Неспокойный курагод.  
Они в снег платки бросают —  
Пусть наездник подберёт...*

Вариацией джигитовки с платком служило и следующее соревнование. Женщины и девушки, стоя за ограждением, подбрасывали свои платки в воздух. На полном скаку казак должен был его поймать, пока он не опустился на землю. Позор, кто не сумел схватить платок возлюбленной!

В праздничные дни девицы и молодые казаки выходили погулять

за станицу, на «казачьи гулянки». В руках у девиц были платочные узелки, в них несли подсолнечные или тыквенные семечки. Щёлкали, разговаривали. Тому из казаков, к кому были симпатия и расположение, открывали платок и угощали семечками, остальным был от ворот-поворот, резкий отказ. Здесь платок выступал символом взаимности.

У казаков в прошлом, даже в Великий Светлый праздник Христова Воскресения — Пасху, приветствие друг друга целованием дозволялось лишь мужчине с мужчиной, женщине с женщиной. Первейшей добродетелью казаков была целомудренность. Белый платочек в руках казачки символизировал её телесную и духовную чистоту. Целовались при людях — через платок, танцевать шли — через платок брались за руки. Но платок в руках казачки и знаки тайные мог подать: большая разница — взмахнула ты платочком

или прижимаешь его к сердцу, опустила платок или уронила. К кому были обращены эти действия, понимал всё без слов.

*На дощечку, на плашечку  
Постелю платочек.  
Как на этот на платочек  
Молодца поставлю.  
Раскрасавчика поставлю,  
Танцевать заставлю.*

В мужской залихватской пляске платок тоже участвовал. Держа платок за концы, казак лихо перепрыгивал через него с согнутыми ногами вперёд и назад, показывая всем своё удалство и ловкость.

Если «петушились» казаки за внимание девушки, то казачка имела

право одним взмахом платка остановить ссору между мужчинами. На Кавказе миротворческая функция платка сохранялась вплоть до XX века, там женщина, бросив платок между врагами, могла остановить даже военные столкновения.

Выискивались охотники доставать платок с мачты, которая часто воздвигалась на площади во время Масленицы или иных народных праздников. Чаще всего платок с успехом доставали молодые казаки в подарок для своих милых. Но и подаренный девушкой вышитый платок был самым ценным подарком для влюблённого молодого человека. Он говорил о многом, главное, расшитый платок дарился казаку с мыслями о замужестве.



*Отдала я свой платочек  
Как бы для памяти своей:  
Изорвёшь иль потеряешь —  
Не считай меня своей.*

На Урале день Покрова Пресвятой Богородицы отмечали широко. В этот день устраивали скачки, состязания и организовывали поминальный обед в память обо всех погибших казаках. До праздника Покрова Пресвятой Богородицы казаки управлялись со всеми полевыми работами. После чего обычно начинали играть свадьбы. Свадьбы занимали первое место в бытовой обрядности казаков. А платок являлся важным атрибутом свадебного ритуала. Он фигурировал во время совета сватов и родни жениха и невесты и их взаимном согласии на

продолжение свадебного обряда, на котором соединяли руки будущей четы, накрыв их платком. Так, во время помолвки, в знак окончательного согласия на выход замуж, невеста отдавала жениху свой платок. Здесь платок, как дар, выступал знаком благодарности и покорности невесты. После этого начиналась пирушка-запой, которая и называлась «платок».

Платки служили знаком костюма дружек, а также сватов. Повсеместно полотенце, пояс, платок, лента, повязанные дружке в доме жениха, являются знаками его отличия, а также представляют собой средство защиты от порчи, сглаза. Наличие у дружки этих атрибутов подтверждало его избранность, способность быть дружкой.

Уже в церкви брачующиеся становились перед аналоем на разостланную свахой шаль или платок. При этом замечалось, кто первый ступит, тот будет главой дома.

Считалось плохой приметой, если невеста, стоя под венцом, уронит платок, значит, быть ей вдовой.

Один из обычаев оберегания жениха и невесты связан с белым платком, за который держались новобрачные при входе в дом. За него их вёл дружка, нужно было пройти и не прислониться, не прикоснуться к косяку или притолоке, которые часто заговаривали ведьмы и колдуны. Все ритуалы свадьбы были связаны с двумя основными целями — охрана от зла и обеспечение молодым благополучной жизни и продолжения рода.

Платку отводилась особая роль и в первое утро новобрачных. Если

молодая жена оказывалась честной, то «свашки» к длинному шесту привязывали красный платок.

Платок участвовал символическим предметом в одном из главных событий в жизни казака — в проводах его на службу. В описаниях обрядового сценария проводов платок выступает как ритуальный символ — «памяти» по уходящему на службу и «памяти» у уходящего на службу. В ряде локальных традиций при проводах казака считается необходимым предпринять специальные магические действия, направленные на избавление казака от тоски по дому и моделирование «обратного пути» уходящего на службу. Платок соотносился с судьбой и долей того, кого провожали. Жёны и невесты, собирая казаков в путь-дорожку, вкладывали в памятный платочек столько усердия, таланта и души! «Платочек вышиваю, любимого оберегаю», «Пока платочек с мылом — быть ему любимым». Казаки были суеверным народом, чтити и следовали бабьим наставлениям и дедовским заветам. В этот момент вспоминалось и делалось всё, чтобы уходящий вернулся домой здоровым и невредимым. В народном быту платочек всегда был символом любви и верности, молитвы и мольбы за судьбу казака, уходившего на военную службу, памятью о родном доме. И такой вышитый руками близкого человека платок трогал мужское сердце не меньше, а может и больше, чем самый дорогой подарок. Он сопровождал казака в походах, в далёких странствиях, на чужой стороне, на заработках. Хранили его на протяжении всей службы и возвращались



следовательности: родители, жена, которая вела коня, гости. Неженатому казаку коня могли выводить невестка и сестра, младший брат или мать. Мать вела коня за уздечку через платочек: «Я тебя провожаю, и чтоб я тебя на коне обратно встретила!»

Если кубанский казак был женат, то во время прощания он надевал своей жене чёрный платок — «печальник», и она не снимала его до возвращения мужа.

В связи с этим интересен обычай донских казаков, который называется «белый платок». Возвращаясь в станицу после похода, не все казаки были уверены, что жёны их вели себя в отсутствие мужей безупречно, поэтому запасались белыми платками. Неправедные встречали своих супругов на коленях. Казак, который готов был простить грех жены, покрывал голову виноватой белым платком. Этим актом давал понять всем станичникам, что «грех потоптан и забыт», и отныне всякий, кто о нём помянет, будет иметь дело с мужем.

Казаки трусами никогда не были. Бились до конца. Но белый платок как символ парламентёров использовали, правда, только для переговоров, а не для позорной сдачи.

В Отечественной войне 1812 года участвовало свыше трёх тысяч оренбургских казаков. Наши земляки с боями проскакали по Европе и вернулись, овеянные славой. В акварелях Георга-Эммануэля Опица, объединённых одним названием «Казаки в Париже 1814 года», привлекает внимание, что почти у всех казаков на левом плече повязан белый пла-

ток как нарукавная повязка. Возможно, что в данном случае платок выполнял функцию патрульной или увольнительной повязки.

У платка была и санитарная функция. Например, в походных условиях через него цедили воду, использовали его, если нужно было напиться у источника, а качество воды вызывало сомнение.

В жару намоченный платок казаки надевали под фуражки, чтобы хоть немного защитить шею и затылок от знойного солнца и перегрева.

Использовали его и как мешок для переноски, и как скатерть-самобранку, потому что выкладывать снесь просто на землю — «не по-людски».

В него же, когда не было ничего под рукой, завязывали деньги, «чтобы сохраннее было». Если нужно, и махорку прибирали в платок — «чтобы по карману не рассыпалась».

Особо забывчивые завязывали на платке узелки «на память», сделав дело, узелок развязывали.

Возвращался казак в родной дом с платками-подарками матери и сестре, любимой...

*Родному батюшке — кушак,  
Чтоб подпоясывался в боях!  
Любимой матушке — платок,  
Посередине — золотой цветок!*

Не всем выпадало счастье вернуться на Родину. Многие сложили голову на чужбине. В старинной казачьей песне «Чёрный ворон» ни сабля, ни конь, а платок становится полноправным участником действия.

Именно платок в песенном пове-

ствовании связывает прошлое, настоящее и будущее героя на фоне трагического события.

*Под ракитою склонённой казак  
раненый лежал,  
Он к груди своей пронзённой  
платок милой прижимал.*

\* \* \*

*Чёрный ворон, чёрный ворон,  
что ты вьёшься надо мной,  
Ты добычи не дождёшься,  
чёрный ворон, я не твой!*

\* \* \*

*Завяжу смертельную рану  
подарённым мне платком,  
А потом с тобой я стану говорить  
всё об одном.*

\* \* \*

*Отнеси платок кровавый милой  
любуйке моей.  
Ты скажи — она свободна,  
я женился на другой...*

И хоронили казака на чужой земле с крестом, сделанным из переломанного казачьего копьё, и нацепленным на него белым платком, тем самым, из родного дома...

В родной станице на перекличке, когда выкрикивались имена мужа, брата, сына, женщины бросали под ноги вернувшимся свои платки. Новый платок и новый казак на него... Если казак был жив, платок поднимался, и счастливая семья отходила в сторону. Не вернулся — на платок молча выносили оружие погибшего. По военным казачьим обычаям, оно передавалось сыну, дабы не было переводу казачьему роду...





Илья ПАВЛОВ

## ДУМА СОЛДАТА

*Илья Семёнович Павлов родился в 1919 году в Сибири. Ветеран Великой Отечественной войны, боевой офицер-окопник. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, закончил войну в австрийском городе Зальцбург. Награждён орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью Маршала Жукова, медалью за освобождение Будапешта и др. Стоял у истоков литературного процесса в Куйбышевской области в начале 50-х годов XX века. Член Союза писателей России, автор нескольких десятков книг поэзии, прозы, документалистики, а также публикаций в самарских региональных и центральных изданиях России. Лауреат именной премии губернатора Самарской области по литературе. Живёт в Новокуйбышевске Самарской области.*

\* \* \*

Война металась ураганом.  
Сметала сёла, города.  
Война с гранатой и наганом  
Врывалась в каждый дом тогда.

Горели в танках экипажи.  
Врезались в землю «ястребки»...  
И гибли в них ребята наши —  
Бойцы недрогнувшей руки.

Дымящим днём, кромешной  
ночью —

Осколки бомб, ракет огни...  
Сновали пули с воем волчьим  
И находили нас они.

Не плачьте, кроткие невесты,  
Не народившие детей.  
Остановись в морщине тесной  
Слеза на лицах матерей!..

Мы отстояли жизнь и землю,  
Озёра, пашни и луга.  
И птиц малиновое пенье,  
И тихий шелест ветерка.

Мы отстояли наши хаты,  
 Домашний дедовский очаг,  
 Где снова вырастут солдаты,  
 Чтоб не посмел подняться враг.

Мы бились долго и жестоко,  
 Чтоб к нашим внукам никогда  
 В их близком будущем, далёком  
 Не постучалась вновь беда.

Мы были Родины достойны,  
 Когда настал суровый час...  
 За наше мужество и стойкость  
 Не упрекнут потомки нас.

\* \* \*

На Жигулях малиновый закат.  
 Там над травой стелется туман.  
 Там соловьи залиристо звенят,  
 Они зовут любовь в лесной дурман.

А Волга воды синие несёт,  
 Как ценный дар, в далёкие края.  
 И корабли плывут за горизонт —  
 Посланцы вечной дружбы волгаря.

На Жигулях малиновый рассвет.  
 Там полной грудью дышит  
 вся земля.

Та сторона — мой дедовский завет,  
 Благословенная судьба моя.

От Жигулей раскинулись поля.  
 Клич журавлиный в небе голубом.  
 Тяжёлый колос низко наклоня,  
 Цветёт пшеница в мареве степном.

## РАЗГОВОРНИК

Русско-немецкий разговорник,  
 Лишь только вспыхнула война,  
 В солдатском фронтовом вагоне  
 Вручил мне ротный старшина.

Видала виды эта книжка.  
 Но я одно сказать могу:  
 Не отдал я её мальчишкам —  
 На всякий случай берегу.

\* \* \*

Подросток смотрел на мои ордена,  
 В лицо, на медали — ни слова...  
 Да, да, дорогой ты мой!  
 Это — война.  
 Войной от них веет суровой.

Внимательней, друг, на награды  
 гляди.

Их можешь потрогать руками.  
 Войну я с собою ношу на груди —  
 В металле и лентах, как память.

Хочу, чтоб и ты орденами блистал  
 За мирное счастье народа.  
 А если война, чтоб героем ты стал  
 За Родину, честь и свободу.

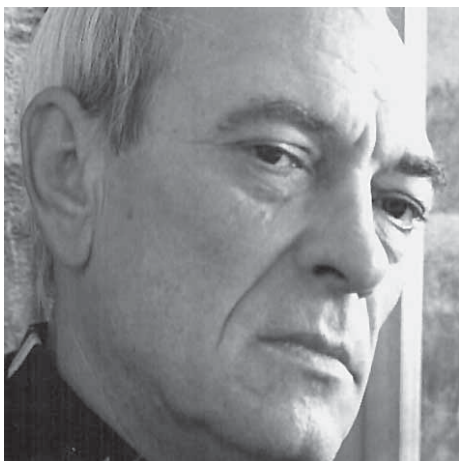
И чтобы другой, вот такой же,  
 как ты,  
 Потом на тебя загляделся.  
 Отвагой его наливались мечты,  
 Мужало бы юное сердце.

\* \* \*

Там, в сибирских краях,  
 в серебристых берёзках,  
 Затерялось нелёгкое детство моё.  
 И теперь там гремят несмолкаемо  
 грозы,  
 И теперь там тайга гулко  
 песни поёт.

Сколько слышано там журавлей  
 и кукушек!  
 Как трубят и как грусть изливают  
 они.





Пётр КРАСНОВ

## РУССКОСТЬ – ОНА НЕОБЪЯТНА...

*О материале Владимира Ермакова  
«Сказ про то – не знаю что»\**

*Пётр Николаевич Краснов родился в 1950 году в селе Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, Высшие литературные курсы в Москве, работал агрономом, сотрудником многотиражной газеты. Его книги известны не только в России, но и за рубежом, переведены на многие европейские языки. Секретарь правления Союза писателей России, председатель правления Оренбургской писательской организации, лауреат Всесоюзной премии им. М. Горького за лучшую первую книгу, Большой литературной премии России, всероссийских литературных премий им. И. Бунина, им. Александра Невского «России верные сыны», им. Мамина-Сибиряка, им. Льва Толстого «Ясная Поляна», Пушкинской премии «Капитанская дочка», областной премии «Оренбургская лира», премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостинный Двор». Награждён дипломом ЮНЕСКО за выдающийся вклад в мировую культуру. Живёт в Оренбурге.*

...Так вот, о русскости...

Тут, сдаётся мне, лучше толковать с позиции здравого смысла – придёшь почти к тому же, к чему пришёл философски ты, но гораздо быстрее и, может, с меньшими в себе потерями этой самой русскости и сомнениями на её счёт.

А потому я только по первой главке хочу «выразиться», суть которой всё-таки – «полное».

Итак, я русский – ну и что? В чём проблема-то? Что я не могу вполне осознать свою «лошадность», философски квалифицировать её? Но от этого я не становлюсь менее русским. И мне, кстати, неизвестны сколько-нибудь удачные, то есть доказательные и общеутверждённые, самоопределения «лошадности» у немцев, англосаксов или французов

\*«Гостинный Двор» № 41, стр. 255 – 266

— хотя самомнения-то, самодовольства и национального чванства у перечисленных хоть отбавляй, из всего этого и вылупился общеевропейский нацизм-расизм как таковой... А лорд Керзон в своё время эту разницу между нами и «ихними» (в степени национального эгоизма) очень чётко представил. Но вот убедительных ихних «автопортретов» нет как нет, если не считать дешёвых и патологически лживых мифов.

И как это «за душой обывателя нет ничего, что можно полагать священным наследием предков»? А русский язык, которым мы все, от последнего обывателя до интеллектуала-западника, структурированы до неисследимых нами самими глубин? И всё-таки не о потере-«смерти» идентичности речь, несмотря на три тобой обозначенных слова, а о болезни (вместе с попытками нас «модифицировать»), причём — перманентной в мозгах нашей интеллигенции, даже и протоинтеллигенции, начиная с Курбского, может, с этой червивости от заёмной учёности, чаще всего ложной, как и зряшной зависти к ней (стоит проследить эволюцию большинства наших мыслителей, одну за другой отбрасывавших европейские философские концепции в попытках прийти наконец к с в о е м у). А спроси любого нынешнего «простого» человека, хоть тракториста бывшего колхозного, хоть слесаря оборонки: ты русский? — и он ответит: «Ну, само собой, русский... а что?» В самом деле — а что? какие сомнения? и зачем вообще этот вопрос, так-таки провокационный?.. Эта якобы «пустота», что ни говори,

продолжает оставаться «полной».

Да, «широкость» русского человека (какую иногда желательно бы сузить, по досаде Достоевского) тоже можно счесть его характерной чертой — в какой подчас теряются, своё значение отчасти утрачивают всякие частные вопросы самоопределения, эти головоломки и заморочки для желающих непременно конкретики. Изнутри вообще трудно рассмотреть какое-либо явление; а вот со стороны, с Запада того же весьма определённо видят и знают (пусть и с немалыми ошибками), кто и что такое «русские», у них с идентификацией нас проблем нет. А тоска наша не только и не столько, может, по утраченному, сколько по идеалу — в нас, несмотря ни на что, выжившему... не так? Национальный (в той или иной мере «работающий») идеал и есть, в сущности, главный характеристический признак, по какому надо судить о народе.

А видимая, внешняя русскость, на мой взгляд, очень зависима от степени мобилизованности на Дело. Нет Дела — и русский линяет, смазывается как тип, размагничивается или «отпускается» русское железо, теряет твёрдость — как сейчас. Нацисты жгли книги самые разные, своих классиков тоже, а вот Чехова накануне 41-го года, желаемое-пропагандируемое за действительное принимая, едва ль не приказывали читать вермахту и населению: там железо наше никудышним выглядит, закалку утратившим. Антон Палыч хорош «для внутреннего употребления» — мы-то сами почти всё понимаем в нём; а для «наружных», кто

мы, если по нему судить?.. Вахлаки какие-то, то ли смех, то ли жалость вызывающие. Не-ет, порядком-таки накрыла Антона Павловича, невера, серая тень декадентщины, застила глаза, но об этом почему-то никто не пишет, не пытается раздумывать... А «фирсы» — они и есть «фирсы», такие в любом народе есть, да ещё и в скрытой или превращённой форме, с изысками, сие «добро» — общечеловеческое.

В силу этой «размытости» (от «широкости» во многом) русского лица толкуют (и ты тоже), что «русский народ есть синтез этносов»... Категорически не согласен! Это каких ещё этносов — неких якобы исчезнувших, а на самом деле мифологических почти? Чудь и меря, мордва там, весь и прочие самоеды — все по сей день в сохранности и отдельности, и некий подмес тюркской или финно-угорской крови полностью растворился в русской, антропологический тип великоросса один из самых чистых в Европе, по недавним данным научных исследований, и по сравнению с нами немцы или французы — беспородные двортерьеры, вот там понамешено с избытком. Всякий евронарод претерпел этот «синтез», даже евреи, но в самоидентификации что-то не нуждаются. Наших вон уральских-поволжских немцев принимают в ФРГ как родных — это после-то 200 с лишним лет разлуки и не бельмеса не понимая в их нынешнем говоре-суржике, — а мы сами отталкиваем (или, вернее, нас усиленно расталкивают) малороссов и белорусов... Дичь, но геополитически объяснимая.

И ещё с одним, Володя, позвол

мне выразить несогласие, зацепило: «способность к подвигу или склонность к предательству не обусловлены этнической принадлежностью...» Хренушки! А вот армянин Баграмян, это который маршалом потом стал, писал, что воинские части, в которых русских было меньше половины, считались небоеспособными и на фронт, на «передок» не выдвигались... И понятно, почему русских предателей в ВОВ было много: Гражданская ещё не закончилась, по сути, а тут уже и Отечественная. Да ещё и огромный плен 41-го года, а в плену русских как никого на смертный излом брали: или — или... А вот французов и поляков — добровольцев, заметь, — в вермахте служило несравненно больше, чем боролось против него у союзников и у нас. Одних лягушатников около миллиона — «за оккупированную родину», так сказать, уж не говорю о всяких чехах. Героизм русскости и есть «опыт существования, предшествующий сущности и обуславливающий её», тут-то я полностью «за»! И без этой якобы непонятной русскости мы бы войну проиграли и капитулировали ещё в августе-сентябре... если по Чехову-то.

Такие вот и многие прочие, патриотические и не очень, размышлизмы, Володя, поналезли по прочтению в голову, но их всех в эпистоле не перелопатишь, да и в разговорах тех же, хотя разговаривать — надо. И думать, как ты думаешь, тоже надо, поскольку русскость — она необъятна, всем в ней места хватит и дело найдётся.

За сим кланяюсь, обнимаю — и до встречи скорой!



Владимир РОЩУПКИН

## В ОБЪЯТЯХ ЛЕТА

*Владимир Александрович  
Рощупкин родился в 1963 году  
в Сорочинске Оренбургской  
области. Служил в Советской  
армии. Работал водителем.  
После несчастного случая  
более 22 лет прикован  
к постели. Поэт, автор  
четырёх сборников стихов:  
«Сон», «Помни обо мне»,  
«Моя Муза, моё вдохновенье»,  
«То ли небыль, то ли быль».  
Живёт в Сорочинске.*

### ОГОНЬ

Горит костёр. В осенний вечер  
Огонь подобен божеству.  
Приносит в жертву властный ветер  
Ему опавшую листву.

Огонь весёлый, ярко-красный,  
Похож на ветреный закат.  
Но есть другой огонь – ужасный,  
Огонь, несущий страшный ад.

Когда горят леса, селенья,  
Когда он всем приносит смерть.  
На тот огонь без сожаленья,  
Без страшных мук нельзя смотреть.

А мой огонь святой, безгрешный,  
Ласкаясь, руки греет мне.  
Он, как щеночек рыжий, нежный,  
Дрожит в вечерней тишине.

Горит костёр, а я мечтаю.  
Я вижу доброе в огне.  
И с каждой искрой понимаю,  
Что он и душу греет мне.

**ТРИ ЖЕЛАНИЯ**

Надо ж так влюбиться  
В сорок с лишним лет,  
По ночам не спится,  
Аппетита нет.

Да к тому ж не знаю,  
Любит ли она...  
Ночь я умоляю:  
«Не пошли ей сна.

Раз уж мне не спится  
По её вине,  
Пусть краса-девица  
Выйдет в сад ко мне».

Небосвод в подмогу  
Бросит мне звезду,  
Прямо у порога  
Я её найду.

Только три желанья  
Загадаю ей:  
Первое — свиданье  
С девушкой моей.

Чтоб любовь накрыла  
Нас с ней, как волна,  
Чтоб всю жизнь любила  
Лишь меня она.

Звёздочка поможет,  
Знаю наперёд,  
Ведь не зря её же  
Бросил небосвод.

Хоть давно за сорок  
И почти седой,  
Жду я, как ребёнок,  
Чуда в час ночной.

Но звезда сверкает,  
Не летит с небес.  
Видно, не бывает  
Для любви чудес.

**ДЕД**

На дворе февраль, ненастье.  
Кружит вьюга белый снег.  
Это радость, это счастье,  
Что родился человек!

Родила мне Таня внучку.  
Очень рад и счастлив я.  
Всю февральскую получку  
Прогуляю до рубля.

И сегодня в зимний холод  
Буду я вином согрет.  
Ведь теперь я, хоть и молод,  
Но уже законный дед!

**СОЛНЕЧНЫЙ  
ЗАЙЧИК**

Зайчик солнечный смеётся  
В летний полдень на стене.  
Ему весело живётся,  
Точно так же, как и мне.

Он совсем не унывает,  
Зная, что придёт закат,  
Веселится он, играет,  
И я тоже жизни рад.

Людам он целует лица  
Нежно, ласково, шутя.  
Ничего он не боится  
Точно так же, как и я.

Он исчезнет в час заката,  
В час восхода вспыхнет вновь.  
Пробежит по веткам сада  
Зайчик вечный, как любовь.

Он не выглядит моложе  
Или старше своих лет.  
Тут мы с зайчиком не схожи:  
Он бессмертен, а я нет.



## В ОБЪЯТЬЯХ ЛЕТА

На ковёр зелёный лета  
Я прилёт среди цветов.  
Я у них просил совета,  
У ромашек, васильков:

«Дети солнца, помогите,  
Посоветуйте скорей.  
Что, пожалуйста, скажите,  
Подарить Мечте своей?»

Что ей сердце растревожит,  
В нём огонь любви зажжёт?  
Перстень с камешком, быть может,  
Или брошка подойдёт?

Может быть, кулон вначале  
Для цепочки ей как раз?»  
Но цветы в ответ сказали:  
«Подари ей лучше нас.

Подари ей с нами лето  
И не бойся нас срывать.  
За любовь, за чувство это  
Мы готовы жизнь отдать».

То ли мне приснилось это,  
То ли это всё мечты?  
Я лежал в объятьях лета,  
А вокруг цвели цветы.

\* \* \*

На душе тоска и скука,  
Даже хочется завить.  
Жить с любовью — это мука,  
Без любви мученье жить.  
Серединки райской нет,  
Так устроен белый свет.

## О СЕБЕ

Есенин, Ахматова, Пушкин  
Известны на весь белый свет.  
Я ж просто Володя Рошупкин —  
Сорочинский местный поэт.

Меня не читают в Париже,  
Не знает меня Петербург.  
О чём говорить, возьмём ближе,  
Не знает меня Оренбург.

А разобраться, без лести,  
Не нужно далече ходить.  
И в Тоцке я вряд ли известен,  
Но это пока, может быть.

\* \* \*

Что было? Я не забываю.  
Что есть? Пытаюсь пережить.  
Что будет? Этого не знаю.  
Но знаю точно — надо жить.  
Удар судьбы не горе,  
Не чья-то злая месть.  
Я жизнь люблю такую,  
Какая она есть.



Эдуард АНАШКИН

# СОЛОВЬИНАЯ СОНАТА ВЛАДИМИРА РОЩУПКИНА

*Послесловие*

С лирическим сорочинским поэтом Владимиром Рощупкиным я познакомился благодаря моему самарскому земляку, выдающемуся кардиохирургу и поэту, уроженцу Сорочинска Виктору Петровичу Полякову. Он пригласил меня с собой на родину, где с большим успехом прошёл его творческий вечер. Вообще Сорочинск оставил у меня самые лучшие впечатления. После захламлённой Самары этот небольшой уютный городок выглядит едва ли не эталоном чистоты. Причём, как я успел заметить, чистота города не только внешняя, но и внутренняя — об этом свидетельствует тот неподдельный интерес к живому слову поэзии и та искренняя заинтересованность в своих талантливых земляках, которая, подобно лакмусовой бумаге, сразу выдаёт в горожанах-сорочинцах людей думающих и равнодушных к тому, что происходит вокруг. Редкое, надо сказать, ныне качество, особенно для больших городов! Очень тронуло меня тёплое отношение к литературе и культуре мэра города Николая Павловича Хмелевских, главного редактора городской газеты «Сорочинский вестник» (ныне возглавляющую областную газету «Оренбуржье») Лю-

бови Викторовны Сурковой. Впрочем, сорочинцам — как рядовым, так и облечённым властью — есть за что любить своих писателей и поэтов. У кого даже в наш прагматичный век не дрогнет сердце от пронзительных и прекрасно несовершенных строк:

*Не тронь любимую, мороз,  
Ты вовсе ей не люб.  
Не обжигай ей щёчки, нос  
И алых нежных губ.  
Ты можешь ей лишь рисовать  
Узоры на окне,  
А целовать и обнимать  
Позволь родную мне.*

Поистине блоковским рыцарским отношением к женщине навеяны обе книги стихов Владимира Рощупкина, процитированного мною выше. Эти книги — «Помни обо мне» и «Моя Муза, моё вдохновенье» — подарил мне сам автор, когда мы познакомились благодаря творческому вечеру Виктора Петровича Полякова. Обе эти книги — гимн любви, гимн женщине. Они одновременно светлы и печальны, потому что печаль в любви, этом небесном, подаренном людям свыше, чувстве, неизбежна, когда это небесное чувство

сталкивается с непростыми земными реалиями. Хрупкость этой небесной любви лирический герой поэта Владимира Рощупкина ощущает не как некую абстрактную отвлечённость. Эта хрупкость до того предметна в стихах Рощупкина, что её заметит любой. Не сможет не заметить!

*Чашка вдруг из женских рук  
упала  
И разбилась вдребезги об пол...  
«То на счастье», — женщина  
сказала  
И, присев, заплакала в подол.  
Что ж ты плачешь,  
раз на счастье это?  
Таких чашек полный магазин.  
«Эту чашку голубого цвета  
Подарил мне человек один.  
В этой чашке сердце моё  
бьётся, —  
Он сказал мне с грустью,  
не шутя, —  
Если эта чашка разобьётся,  
В тот же миг не станет  
и меня».  
...Может быть, и мне придётся  
скоро...  
Вдруг и мне назначено судьбой  
Тоже умереть под звон фарфора  
Также вместе с чашкой  
голубой.*

Поэты много говорят о любви, но мало кто из них способен увидеть и показать любовь, как совершенно конкретное явление. Владимир Рощупкин нашёл для этого образ голубой чашки — звонкой и хрупкой, без которой, если она разобьётся, сразу теряется смысл и сама жизнь. Нелишне иногда задаться непраздным вопросом — как человек становится поэтом?

Путь в поэзию, как и путь к Богу, у каждого свой. И очень часто — неисповедимый. Обыкновенный сорочинский паренёк Володя Рощупкин, как и большинство его сверстников, жил обычной жизнью — учился в школе, потом в училище, гонял футбольный мяч, играл на гитаре, служил в армии, работал водителем, женился, стал отцом двоих сыновей... Эта размеренная жизнь закончилась в одночасье, в 26 лет, после тяжёлой травмы позвоночника, которая не только привела Владимира к неподвижности, не только стала проверкой на прочность для него и его ближайшего окружения, но, как ни парадоксально, привела, отняв возможность насыщенной «внешней» жизни, к интенсивной жизни «внутренней» — жизни души, которая пролилась стихами, созвучиями, соловьиными сонатами наконец:

*Соловей поёт в начале лета,  
Укрываясь в зарослях от глаз.  
Мне не нужно покупать  
билета  
На его концерт в полночный  
час.  
Я присяду ночью на поляне  
В небольшом берёзовом лесу —  
Это вам не лёжа на диване  
Слушать по приёмнику попсу.  
Эта соловьиная соната —  
Для души живительный  
бальзам —  
Так мой дед мне говорил  
когда-то,  
А теперь я понял это сам...  
...Обнимая белые берёзы,  
Слушая соловушку со мной,  
Ночь всплакнёт, наутро  
её слёзы  
Обернутся чистой росой.*

На это способен только истинный поэт. Тот, кто не знает нелёгкой судьбы Владимира Рощупкина, прочитав его стихи, будет изумлён, узнав, что автор этих светлых жизнеутверждающих строк — инвалид-колясочник.

*Петухи запели хором,  
Лишь рассвет коснулся крыши.  
Я в твой дом проникну вором,  
Пока ты, родная, спишь.  
Подойду, мой свет, к тебе я,  
Сон нарушить твой не смея.  
На тебя лишь погляжу,  
Тихо рядом посижу.  
А когда тебя разбудит  
Солнца лучик золотой,  
То меня уже не будет.  
Я исчезну, ангел мой.  
А когда откроешь глазки,  
Словно в старой доброй сказке,  
На окне увидишь ты  
Ярко-красные цветы.*

Стихотворение «Пионы на окне», которое я сейчас процитировал, одно из самых светоносных в творчестве Владимира Рощупкина. Это — свет давно подзабытого современными мужчинами рыцарства и отношения к любимой женщине (и не только к любимой!), как к Прекрасной Даме. Последнее время какой-то порочный замкнутый круг сложился. То ли женщины столь эмансипировались, что не позволяют мужчинам относиться к себе, как к слабым созданиям. То ли излишняя прагматичность сильного пола привела к тому, что женщины предпочли стать более самостоятельными? Владимир Рощупкин своими стихами образно прорывает этот порочный круг взаимного

отчуждения. Не отсюда ли успех его стихов у читателей?

*Ты читаешь под вишнею  
Блока,  
Нежно ветку в руке теребя.  
У окна я сижу одиноко,  
С тихой грустью гляжу  
на тебя.  
Тебе хочется нежности, ласки,  
Чтоб тебе посвящали стихи.  
Тебе хочется блоковской  
сказки,  
Чтоб вокруг сплошь, как он,  
женихи.  
...Ах, как хочется крикнуть:  
«Родная,  
Век ушедший уже не вернёшь.  
Ты, как свет, мне нужна,  
дорогая.  
Я не Блок, но я тоже хорош.  
Посмотри на меня, кареглазка,  
Я не хуже всемирных светил.  
Ты поверь моей искренней  
сказке,  
Почитай, что тебе посвятил...*

Казалось бы, стихи Владимира Рощупкина очень разнятся по тематике — они о земляках, о малой родине, о природе, о войне... Но не будет преувеличением сказать, что при этом стихи Рощупкина — о любви. Любви к женщине, к жизни, к природе, к большой и малой родине, к землякам, родным. И нет ничего удивительного, что, получая любовь от поэта, его читатели платят ему взаимной любовью.

**Эдуард АНАШКИН,**  
**член Союза писателей**  
**России,**  
Самарская область



Екатерина ЕРМОЛАЕВА

## ГОРЬКАЯ ОТРАДА

*Рассказ*

*Екатерина Михайловна Ермолаева родилась в селе Васильевка Акбулакского района Оренбургской области. Окончила Оренбургский государственный педагогический университет. Печаталась в районных и областных газетах, в сборнике общероссийского открытого конкурса литературного творчества детей и юношества «Волшебная строка – 2004», в книге «Подвиг и память. К 60-летию Великой Победы». Лауреат областного литературного конкурса им. С.Т. Аксакова за первое произведение (2003). Работает учителем иностранных языков в школе. Живёт в селе Благословенка Оренбургского района.*

*«Горечь тоже отрада для русской души...»*

*Антонина Мелешко*

Всю дорогу, пока Зоя ехала, тянулась за автобусом разбухшая, тёмная туча. И думалось, что не хватает туче силы, толчка какого, чтобы прорвало её, а только зрело что-то в ней, разрывало нутро, а наружу всё не выходило. И заря там, за деревней, где жила Зоя, то прорезалась в темни этой, то снова пряталась, спугнутая словно кем-то, синюшно-бледная. А за дорогой, в угрюмых безлистных уже клёнах да топольках, как узелки в пряже, виднелись птичьи гнёзда. Они напомнили Зое о ласточках, что с самой весны устроились под крышей в её сарае, и теперь уже улетели, не попрощавшись даже. Упёртые были ласточки, кто бы только подумал: разворотили как-то их гнездо то ли кошки соседские, то ли кто ещё — теперь уже не дознаешься, а они за два дня новое состроили, из веточек да пёрышек, и снова затянули свою беззаботную песню. И Зою радовали — ломали тоску, на неё находящую,

горькую. Нет теперь ласточек, отпели своё на родине, начинают теперь песни на чужбинке, в теплыни. А Зое и хотелось бы куда-нибудь в тепло, поближе к солнышку, а всё одно и то же в её буднях: холод уличный, холод домашний, сиротливый, рыхлая дорога в ухабинах, да и на работе — тот же холод. Но там, где покучнее — там и потеплее кажется...

На работе, в доме престарелых, своё, набухшее, как туча эта, забывается, утихает — на время, конечно, в заботах и хлопотах. Поэтому Зоя брала подработку, оставалась на дополнительные дежурства. И запах хлорки вечной, бабушки тихие, плаксивые да буйные — всё это не надоедало, а затягивало, словно бы сладким куском приманивало, и казалось Зое: её это, родное, ради этого и жила, ради этого и родилась.

Бывало и весёлое там, вот хоть возьми прошлое дежурство. К ним в отделение поселили новую бабушку, сухонькую, немощную старушку, что и ходила, и ела через силу, и говорила чуть слышно — нехотя словно. А вчера, как подошло время сна, старушка эта, забыв и слабость свою, и возраст, подобрав сорочку, оголив худые, в жилах, старушечьи ноги, разбежалась и... прыгнула, как дитя, на кровать, раскинула руки, зевнула и юркнула под одеяло, блаженно закрыв глаза.

Зоя и ещё одна нянечка, Дина, только руками развели:

— Да вы же голову себе... об стенку, поосторожнее, бабушка, расшибётесь!

И ушли, а смешливая Дина зажимала ладонями рот, узила раскосые тёмно-карие глазки:

— Одна другой лучше, ей-богу! Ты посмотри на них!

И впрямь, одна другой интереснее. В прошлом году даже свадьбу отыграли — баба Клава вышла за деда Шуру, им выделили отдельную палату, и прежде, чем к ним зайти, медсёстры и нянечки вежливо стучались. И старушка эта, баба Клава — тихая и набожная, лицо с кулёк, острый подбородок с ямкой, а, вот, сыскала себе мужа подтянутого, поджарого, и к тому же — лопни глаза завистливых старух! — не курящего и не пьющего.

Да, и веселье было, и горечь была, и отрада — но горькая какая-то, через силу словно, через себя.

Шла Зоя по коридору и прислушивалась к шороху, к сопенью и кашлю. За каждой дверью даже в утренней этой тиши, шушуканье полусонном да кашле сердечном прятались жизни — прожитые и неотжитые ещё, требующие своего, с надеждой бледной и немощной, как сами старухи.

Нянечка, что передавала дежурство, глядя в пол, выдохнула:

— Баба Вася отмучилась этой ночью...

Зою словно жаром окатило:

— Как так?

— Да как... Умерла. Тихо, с улыбкой на губах.

— Да ты что?! Позавчера ещё видела, что ей лучше стало! Ольга ей капельницу ставила, и после этого, кажется, бабушка на поправку пошла...

— Ну, в тот день на поправку пошла, а вчера сын приехал. Не знаю, что уж он ей там говорил, но после его прихода — как подменили бабу Васю.

«А, день раздачи пенсии, — смекнула Зоя. — Вот сыночек-то и заявился...»

Видела Зоя, и уже не дивилась, привыкла — многие родственники навещали стариков только раз в месяц, когда приносили им пенсию, забирали почти подчистую, оставив только положенное дому престарелых да на мелкие расходы. А она, баба Вася, рада была отдать всё, что было: ей-то ничего не нужно, здесь и кормят, и поят, и одевают. Сын заявлялся подвыпившим, злым. От него несло перегаром и нестиранной одеждой.

«Бери, Володя, на, всё забери...» — вспомнились Зое слова бабы Васи. И взгляд сыновний, туманный, и хриплый голос, будораживший больничную тишь: «Всё тут? Смотри-и... Бывай покудова, заеду к те как-нибудь, а коль узнаю чего — всё вытрясу, слыши-ишь!»

Вчера, верно, всё было как и всегда, а сегодня — вот оно: пустая кровать у стеныдохнула на Зою скорбным чем-то, смиренным. Обычная вроде бы постель, потёртая, с жёлтыми от старости пятнами. Только одеяло откинута, скомкана второпях, да бледная фотография в рамке у изголовья — его, Володькина.

Зоя, вздохнув, принялась сворачивать матрац, чтобы нести его на «прожарку», на фотографию посмотрела и обожгло её вдруг: баба Вася для него же, единственного, жила!

По коридору, мимо самой просторной палаты, шла и мельком глянула в распахнутую дверь: так и есть, сидит Полина Тимофевна уже за чашкой чая. Рядом посапывают бабушки, а она в окно смотрит,

чуть заметно кивает тополию, что зря скребёт ветвями тяжёлое небо. Тимофевна одна такая на весь дом престарелых: явилась сюда по своей воле, оставив пустовать неподалёку квартиру. «А зачем она мне, одной-то? Всю жизнь жила не для себя, а под конец чего ж, переменюсь?» — разводила Тимофевна руками, а бабушки только охали и ахали ей в ответ. В автокатастрофе погибли год назад две её дочери, внук и муж. «Дома и стены давят, а здесь хоть есть с кем покалякать...» — объясняла она, и пальцы её до синевы сжимались в кулачки.

У окна сопела Танечка — вся белая, словно снегом её кто облепил, снежную бабу сделать хотел — с побелевшими бровями и ресницами. Даже глаза её, в молодости, наверное, голубые, были белёсыми, почти прозрачными. Танечкой её все и звали, она сама так просила. Было Танечке уже под восемьдесят, к ней, как и к Тимофевне, никто не навещался, но не потому, что некому. Старшая дочь, как говорила сама Танечка, денно и нощно на работе, не до матери ей. Сын живёт в Германии, а младшенькая, самая разлюбимая, «с пути истинного сошла», и приедет ли когда к матери, нет ли — «об этом только Господа молить».

— Няня... — услышав шаги, захрипела Танечка.

Зоя заглянула в палату:

— Сейчас, бабушка, постель отнесу и приду.

— Укрой ноги — зябко. Вроде как мокро подо мной, подстыла я, наверно. Нет, говоришь? Сухая? Старая я стала, всё мне кажется. Ага, ага, спасибо... Да погляди в

окно: всё утро кто-то тарабанит, не моя ли это Дашка? Она у меня ранняя птичка...

А за окном только ветер мусолил листья тополя да хлопал калиткой во дворе вместо Дашек, Катек, Димок, что и дорогу-то сюда запамятовали.

\* \* \*

Зоя мыла-тёрла в палате умершей, и только в обед улучила минутку, зашла-таки к Веронике. Глаза её, как камушки малахитовые, омытые водой уральской — вечно живые, блестящие ясно и молодо, тут же обратились к Зое. Улыбаясь широко и открыто, как умеют только люди с открытой душой, Вероника чуть качнула головой:

— Ай-яй-яй, забываешь про подругу, Зоенька! Уже и солнышко вон выглянуть успело, в полнеба светит, а ты всё пропадаешь. Шучу, шучу!

И рассмеялась тихо, почти беззвучно, мелко сотрясаясь. Короткие, пушистые её волосы прядками спадали на лоб, и глаза казались под ними ярче, будто кто их карандашом подводил. В руках у Вероники — кувшин с водой, она как раз поливала на подоконнике цветы, легко передвигаясь на инвалидном кресле.

Вероника была в доме престарелых уже полгода, недавно стукнуло ей шестьдесят, у неё не было обеих ног, но она никогда не просила о помощи и со всем справлялась сама. Лежачей себя не считала, бабушкой тоже. Два её сына и дочь жили рядом в городе.

Зоя придвинула к Веронике стул, села, расправив края синего халата:

— Я смотрю, ты сегодня сияешь.

Что-то произошло такое, о чём я не знаю?

— А мне много, что ли, теперь нужно? — удивилась Вероника. — С утра пасмурно было, на душе скверно. А солнце, смотри, пригрело, я и растаяла!

— Снежная королева ты наша! — Зоя встала, хотела было поправить кровать Вероники, но та только фыркнула, погрозила пальцем и, рассмеявшись, кивнула в сторону бабы Дуни, что храпела рядом на кровати.

— Ей с утра памперс не меняли, — констатировала Вероника. — Всё спит и спит. Зато ночью чего вытворяла! Давайте, говорит, мне все мои вещи, особенно платок какой-то очень уж просила, я домой пойду! Или нет, к сыну полечу в Ростов. Нянечка её успокаивает, подмигивает мне: поедешь, мол, в свой Ростов, только утра дождись! Сейчас самолёты туда не летают. С тем и уснула наша полуночница.

Зоя подошла к старухе, тихо потрясла её за плечо:

— Просыпайтесь, бабушка, вы и не ели ещё, да и помыть бы вас надо.

\* \* \*

Все звали её ласково «наша Вероника». Потому, наверно, что она, как и нянечки, откликнулась на зов бабушек и чем могла помогала им: подавала воду, укрывала ноги, успокаивала. И везде, где бы не была, радовала старушечью аудиторию шутками-прибаутками, историями, которые то ли выдумывала, то ли знала из жизни, да такими, что



старухи, даже лежащие, забывшие, когда в последний раз свет Божий видывали, за животы держались, и вроде бы легче им становилось, на поправку шли.

Вероника медленно раскатывалась по палате очередных слушательниц, линолеум тихо шуршал под колёсами её кресла, голос молодого позванивал в больничной тишине:

— Ой, чего расскажу вам, бабушки! Была у меня соседка, Господь не даст соврать: под пятьдесят ей уже было, а глуповатая какая-то, «не от мира сего», как говорят. Раз заставили её проходить медкомиссию на работе, сдавать анализы. А у неё, как назло, с животом проблема — неделю в туалет по большому делу сходить не могла. Ну, она и сообразила: пойду, возьму «добро» это у мужа. А он, дурак, напился как раз. Нет, думает моя соседка, скажут ещё в больнице, что она алкоголичка, заметалась, места себе не найдёт: что же делать? Анализы — хоть расшибись, а утром везти нужно! Ну, и сообразила: взяла совочек, пошла в уличный туалет, зачерпнула «добра», да на том и успокоилась. Утром, довольная, поехала в больницу. Но не долгой была её радость: на следующий день глядит: приехала к ней скорая помощь, санитары — под руки её, горемыку, и — в больницу, исследовать: «У тебя там какой только заразы нету!» Она им принялась объяснять, но врачи и слушать не хотят: «Ложись в больницу! А то ещё позаражаешь у себя всех в деревне, эпидемия начнётся!» Вот тут-то моя горемыка и затосковала: «Лучше б я у мужа анализы взяла, лучше б меня выпивохой вра-

чи назвали, чем самой последней разносительницей...»

Старухи, открыв беззубые рты, смеялись, вытирая морщинистыми руками слёзы. А у Вероники, довольной собой, только левая бровь гнулась, да больше разгорались глаза. И, не дожидаясь тишины, она продолжала:

— А муж ейный, под стать жене, ох и простофилей был! Звали его Василь. Был он трактористом. Раз в жизни ему повезло: колхоз купил как-то старенький японский трактор. Посадили на него передовика Василя, а трактор этот чудной, с подковыркой оказался. Василию объяснили, что в нём есть специальное устройство, благодаря которому в жару в кабине прохладно, как в осенний вечер. По-современному, кондиционер. Но откуда было знать старому Василию о такой роскоши в советские-то годы! Всё Василию показали — так, мол, включать, а так — выключать. Он молчал, поддакивал. Штуку ему эту включили, а он, растяпа, позабыл, как выключать! И крутил он там, и вертел, и стучал — без толку! Не выключается кондиционер этот, хоть ты тресни! У мужиков спрашивает: как, мол, выключить, замёрз я с японским «вумным» этим механизмом! А те у виска крутят, смеются: ты куда, растяпа, глядел, когда тебе знающие люди объясняли? Плюнул Василь тогда и на друзей, и на «вумный механизм», и решил всё по-своему. Ломать кондиционер не стал: жалко всё-таки вещь! И вот, смотрим, в июле, в пекло — едет гордый наш Василь на своём разъяпонистом тракторе — в шапке, теплой, вязаной кофте... С

тех пор в деревне звали его Мерзляком.

Бабушки, скорчившись в своих кроватях от смеха, умоляли Веронику больше не продолжать, но она, выждав момент, оглядев всех зелёными хитроватыми глазами, продолжала:

— И был у них сын, сроду б не сказала, что похожий на них, но со своими «тараканами» в голове...

Старухи вздыхали, но устраивались поудобнее, подбивали выше подушки и не отрывали глаз от рассказчицы...

...Зоя привязалась к Веронике, будто и ей доставался от неё заряд весёлости, молодости какой-то, будто была она самой жизнью, которой так в последнее время Зое не хватало. Когда выпадала свободная минутка, старалась заглянуть к ней, делилась с Вероникой своими заботами, и та умела выслушать, понять. О себе же почти ничего не рассказывала, а на вопросы старух отвечала: «Я? Что — я? Обо мне не беспокойтесь, у меня всё под контролем! Мне о своих горестях помнить некогда, да и вам советую о своих забыть! Так и жить-то легче!»

Вечерами раскладывала Вероника перед Зоей карты, гадать она научилась от своей бабки, а та — от матери, урождённой цыганки. «Текут во мне цыганские соки, видно, оттого я такая и непутёвая, — смеялась Вероника. — От цыган же у меня и нрав весёлый, и брови густые». Зоя соглашалась, кивала головой:

— Да что бы наш дом престарелых делал без тебя, цыганка ты наша!

А Вероника в ответ лишь только

хитровато щурила глаза да поправляла свою пушистую чёлку.

\* \* \*

Прошёл месяц. В октябре, как только обдало землю первым морозцем, на улице вдруг запахло полынью, что осталась умирать, не накрытая даже снегом. Небо, отсыревшее в дожди, не давало простора ветру, что ворочал облетевшую листву на тротуарах и в подворотнях.

В холодные эти дни и пришло в дом престарелых несчастье: заболела Вероника. Давление подскочило под двести, забеспокоилось сердце. И ночью, перепугав стариков, её увезли на скорой в больницу.

Зоя приходила к ней после дежурств. Веронику словно подменили. Лицо стало болезненно-белым, глаза воспалёнными, исполосованными красными прожилками. Вероника призналась Зое, что ожил ещё и её треклятый диабет. Несколько недель она не вставала, и когда приходила Зоя, только пыталась улыбаться.

Особенно тяжело было Веронике в утренние часы, она металась по кровати, стягивала с себя одеяло. Дыхание её было медленным, тяжким, словно на каждый вдох собирала она все свои силы.

— Уж светло. А меня вон как колошматит... Воды, Зоенька, воды хочу — мочи нет... — и пила её, толчками тяжкими проглатывая, казавшуюся ей от жара ледяной.

Врач отвечала на Зоины вопросы уклончиво:

— Возможно, это от стрессов. Возможно, диабет. Возможно...

Ах, сколько было всех этих «возможно»! И как она, дурёха, подруга тоже называется, сразу ничего не заметила? С её-то стажем работы — грех не заметить первой причину Вероникиных страданий!

Однажды, когда в очередной раз заглянула Зоя к Веронике, та, держа в руке что-то яркое, похожее на открытку, тут же спрятала под подушку. Это повторялось несколько раз, но Зоя, видя, что подруга не желает говорить об этом, делала вид, что ничего не замечает.

Разгадка пришла только, когда цветная картонка выскользнула из рук Вероники и улетела под кровать. Зоя достала её и улыбнулась, потому как был это обычный маленький календарь:

— Зачем ты этот календарь по сто раз на дню в руках мнёшь? Это ж... — и осеклась, остановившись взглядом на разноцветных отметках на календаре, где в уголке, наискосок было написано Оля, Саша, Женя.

Вероника отмечала в календаре дни посещения детей! Последний раз дочь приходила в августе, сыновья и подавно в июле да мае. «Ах, голова моя садовая, да как же я раньше не могла докумекать! Ведь и впрямь, не было давненько детей Вероники... А я всё к ней со своими проблемами...»

По глазам прочитала Вероника Зоины мысли. Отвернулась и заплакала.

— Просила, умоляла не бросать меня в доме престарелых, — наболевшее, горькое вырвалось наконец у Вероники. — Я ведь и забот им особых не доставляла, придёт Оля с работы, а я им и наварю, и настираю-

наглажу... Так приспособилась я к своим «железным ногам». На судно, как и здесь, сама садилась, детям и близко запретила мыть меня, сама в бане, на том же кресле... Да разве я доставляла им неудобства? Нет, привезли сюда, глаза отводили только, пока меня регистрировали. За пенсией приходили, не забывали. А теперь и пенсия моя не нужна стала, да и то понятно, почему: квартиру нашу, где с покойным мужем жили, я им разрешила продать. Пока, видно, не до пенсии им, богатство делят...

И, как в Судный день, выложила перед Зоей три фотографии. У сыновей — кудрявые аспидные волосы, носы картофелинами, дочь же — ладненькая, с горящей в глазах зеленью — вылитая Вероника!

— Она у меня младшенькая. Тяжелее всех её рожала! Сыновья головкой шли, а она — попкой, хулиганка моя! Так и в жизни всё у неё вверх тормашками.

И Вероника рассказала Зое, как от рака лечила Оленьку, как не было ей покоя ни днём, ни ночью: малышка не могла ходить из-за шишки на ноге. И жарко обожгло сердце от радости, когда вылечили всё-таки её после скитаний по больницам, по знахаркам да «моленным» бабушкам.

Рассказала она и как впервые топал ножками её первенец, Васенька. Как средний, Серёжа, которого она не доносила два месяца, лежал в боксе, и она, зарёванная, часами простаивала под окнами больницы, каждый день приносила ему в бутылочках материнское молоко.

Были три пышных свадьбы, в тя-

жёлые времена сыгранные. И снова малыши, теперь внуки. Пелёнки, бутылочки, соски... Она, Вероника, и внуков вынянчила: детям-то всё некогда, они на работе.

— Всё, отрадовалась я, видно, на этом свете. Отсмеялась-отпелась. Пора бы уже и... — Вероника с усилием улыбнулась, но глаза её с мукой смотрели на Зою.

— Вероника! — только и выговорила Зоя, и, закрыв ладонями лицо, всхлипывая, выбежала из палаты.

— Да я шучу, шучу, — тихо сказала вслед Вероника, но Зоя уже была далеко.

«А ведь звонили наверняка и детям, говорили, что мать в больнице, а они и не ногой! Понятное дело — богатство делят!» — думала Зоя, пока бежала к кабинету врача.

Молоденькая врач разрешила ей с рабочего телефона позвонить дочери Вероники и разузнать, где она живёт.

Когда Зоя вышла на улицу, ветер сорвал с неё шляпку и, переворачивая её, как блин на сковородке, понёс над грязной улицей.

Старый дом стоял в центре города. Выщербленная лестница, запах пыли и грязи. Открыла ей дверь молодая женщина с раскосыми зелёными глазами.

— Здравствуйте, Ольга... — Зоя искала слова, но язык еле ворочался во рту. — Я пришла поговорить с вами о вашей матери. Она... сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Вы же знаете, правда?

Глаза Ольги враз потухли, стали как подтаявшая ириска. Изящным жестом она пригласила Зою в квартиру.

— Располагайтесь, — кивнула Ольга на кресло. — Может, чаю хотите?

Зоя, почувствовав, как пересохло в горле, согласилась.

Пока хозяйка суетилась на кухне, Зоя окинула взглядом комнату. На полках в шкафу стояли томики Достоевского, Булгакова, Толстого, Шолохова. На диване тоже лежала раскрытая книга. Зоя не удержалась, глянула на обложку и улыбнулась, прочитав: «Энциклопедия стервы». Рядом валялись дешёвые журналы.

— Проходите к столу, — из кухни позвала Ольга.

За чаем долго молчали. Зоя никак не могла доесть одну-единственную конфету. Чай пила мелкими глотками, и он всё не убывал. Первой начала Ольга:

— Вы насчёт мамы пришли. А что тут мне сказать? Жалко маму. Заболела, говорите? Но, простите, она же давно болеет. И не удивительно, что ей стало хуже. Обе ноги из-за диабета отрезали, так оно же и дальше пойдёт. — Зоя поперхнулась конфетой, а Ольга, подлив себе чаю, продолжала: — Мне, к сожалению, некогда к ней часто ходить. Работа, вы же должны понять. Потом дети, да и после работы дела.

Зоя поставила чашку на стол, опустила глаза. Когда-то ведь и у неё мать лежала в больнице, в хирургии, и было это последним её пристанищем. И Зоя на костылях, с переломом ноги, каждый день навещалась к матери. В палате улыбаться пыталась, а реветь в душ больничной бегала. Теперь уж и могилка давно осела, лишь на кресте,

как ножом на сердце — родное имя матери.

— Знаете, Оля, а у меня ведь тоже мама болела. И никогда, никогда, слышите, не было у меня мысли оставить её в доме престарелых! Вы говорите — дела у вас. Да разве могут быть такие дела, которые важнее жизни матери!

Ольга вдруг вскочила из-за стола.

— Жизнь матери? А что вы знаете о ней? Она всю жизнь только и знала, что вкалывала, ни себя, ни нас не щадила. Кто же ей виноват, что она и отдохнуть-то за всю жизнь по-человечески не могла! А теперь и нам за неё терпеть? Нет уж, извините, я ещё пожить сама хочу!

Зоя встала. На стене перед ней вдруг затанцевали разноцветные пятна, голова закружилась. Пошатнувшись, она пошла к выходу.

— Извините, — выдохнула Зоя у порога, и обернулась, — вы хоть передачку ей с кем-нибудь пришлите, хоть какая-то ей радость.

— Не ваше дело! — донеслось из кухни.

Зоя спускалась по лестнице. Знала же, что теперь много таких, как Ольга. Снаружи интеллигентных даже, а внутри с бесовской начинкой. Для вида, для глаз чужих у Ольги Шолохов с Достоевским, а читает она энциклопедию стервы...

\* \* \*

Умерла Вероника в декабре. На похоронах были все старики, которые могли хоть как-то передвигаться. Явились и сыновья Вероники, была и Ольга. Увидев Зою, она отвернулась и отошла от неё подальше. Зоя

успела заметить на её лице одну-единственную, скупую слезинку.

Засыпали могилу Вероники промёрзшей, комковатой землёй, медленно, словно не хотели быстро расставаться с ней. Крест поставили ровненько, крепко, и пышно легли венки, а на одном из них рябила надпись «Дорогой, любимой маме». И на фотографии она, Вероника, смеющаяся, молодая, готовая и здесь встречать своих детей, только бы пришли. Но кто знает, придут ли, и не зарастёт ли бурьяном её могилка?

А снега уж легли на землю, хрустели под сапогами прохожих. И был тот снег отрадой в жизни стариков, а для кого-то — последней и горькой.

Был он отрадой и для Зои, что в очередной раз, шарахаясь пустого и сиротливого своего дома, торопилась сюда, к старикам.

Три года назад муж её Сергей ушёл к другой, что родила ему сына на старость. Да и то ладно, ведь с Зоей они детей не нажили за двадцать лет.

Теперь ей есть чем заняться. Всё новые и новые старики поступали к ним в дом, и Зоя их встречала, глядела ласково и добро:

— Да чего вы, бабушка, не плачете, хорошая вы моя!

— Дочка, ну как не плакать? Обманом ведь, обманом меня сюда привезли. Сын сказал, что в санаторий поеду ноги лечить. А тут... Разве это санаторий? Поняла я теперь, куда он меня, сыночек, привёз...

— Не плачьте, бабушка, всё хорошо у вас будет. У нас не так уж и плохо, вот увидите!

— Да, оно-то, и правда, дочка. Оно-то... везде люди живут.

# СТИХИ ПО КРУГУ



**Лидия  
ЖУРБА**

*Адамовка*

Счастья горсточка.  
И мне досталась в жизни  
Счастья горсточка.  
Судьба решила, видно, приласкать...  
Пила его не залпом —  
По напёрсточку,  
Боялась опьянеть и расплескать.  
Как через речку  
Тоненькая жёрдочка  
Соединяет всё же берега,  
Мне счастья моего  
Не то что горсточка —  
Крупиночка любая дорога.  
А жизнь — то тупики,  
То перекрёстки.  
Случались и крутые виражи.  
Но мне дарованная  
Счастья горсточка —  
Такая малость — помогала жить.  
Потом появится  
От даты к дате чёрточка,  
Земной обозначая чётко путь...  
С ладони сдует ветер  
Счастья горсточку,  
Пускай достанется ещё  
кому-нибудь.

Пускай достанется,  
Пускай останется  
Всё то, что сердцу дорого и мило.  
Пускай останется,  
Пускай достанется  
Тому, с кем счастлива была,  
Кого любила.

## МЕЛЬНИЦА

Она — пшеницу на муку, —  
А я — свой каждый день —  
как муку...

Переживу, перемелю  
Обиды, боль, обман, разлуку.

Переживу, перемелю,  
Житейский мусор весь отсею.  
Простила. Верю. И люблю.  
Лечусь любовью и болею.

Переживу, перемелю,  
Отвергну или приласкаю...  
Я жизни каждый звук ловлю  
И через сердце пропускаю.

Всё, что имею — не коплю,  
И оттого душе просторно.  
Переживу, перемелю  
От «плевел отделяя зёрна».

Она — пшеницу на муку,  
И вот он — хлеб! Душист и пышен!  
А я — на чистый лист строку,  
Которая любовью дышит.

## ТОПОЛЬ-РОМАНТИК

Для глаз отрада и души,  
Из дали виден дальней,  
Другие как-то больше вширь,  
А он — пирамидальный.

Среди деревьев, как свеча,  
Зажжён зарёй вечерней,  
И солнце раньше всех встречать  
Его предназначенье.

Маяк для птиц и облаков,  
Посол земли за светом...  
Но как, наверно, нелегко  
Ему при всём при этом.

Я видела его зимой  
В жестокие метели:  
Все ветры мира, Боже мой,  
Его свалить хотели.

И птицы для семейных гнёзд  
Нашли деревья ниже...  
А он хотел достать до звёзд,  
Быть к радуге поближе.

И жарким летом по ночам,  
Когда весь мир в постели,  
Он звёзды бережно качал  
В зелёной колыбели.

\* \* \*

Я стучалась  
В закрытые двери —  
Не впустили.  
На коленях  
Молила прощения —  
Не простили...  
Я кричала, звала  
(Разве только  
Глухой не услышит).  
А когда умерла,  
Все заметили сразу:  
Не дышит!

Ах, какой я теперь  
Всем удобной,  
Угодной была:  
Никому не мешала  
Ни о чём не просила...

.....

Лишь земля,  
Словно мама,  
Такою, как есть,  
Приняла,  
Обняла и простила.



**Николай  
МИРОНОВ**

*Бузулук*

Часы негромко тикают:  
Тик-так, тик-так, тик-так,  
Всю ночь я горе мыкаю  
И не засну никак.

И свет луны-разбойницы,  
Как горькое вино,  
И звёзды-беззаконницы  
Уставились в окно,

А я всё там, у яблони,  
Под стаей чёрных туч,  
Когда рукою слабою  
В колодец бросил ключ.

Мурлыка-кот старается,  
Мне песенки поёт,  
Не стоит, мол, печалиться,  
До свадьбы заживёт,

А я его не слушаю,  
Ничем мне не помочь!  
И беспросветно душною  
Мне кажется вся ночь!











Галина МАТВИЕВСКАЯ

## АНГЛИЙСКИЙ АГЕНТ ДЖЕЙМС АББОТ: «Я БЫЛ ВОСХИЩЁН ВСТРЕЧЕЙ...»

К 270-летию Оренбурга

*Галина Павловна Матвиевская родилась в Днепрпетровске. Вместе с семьёй в 1941 году переехала в Оренбург. Окончила математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН Узбекской ССР, академик АН Узбекистана, действительный член Международной академии истории науки. С 1994 года – профессор Оренбургского государственного педагогического университета. Член Союза писателей России. Известный краевед, автор многочисленных работ по истории края. Лауреат Всероссийской литературной премии «Капитанская дочка», Шолоховской премии «Они сражаются за Родину», дважды лауреат премии «Оренбургская лира», премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2009).*

Оренбург, основанный в 1743 г. как город-крепость на границе с азиатскими странами, в течение полутора веков являлся важным центром внешней политики России на Востоке. Значение его особенно возросло в 30-е гг. XIX в., когда Англия, утвердившись в Индии, начала укреплять свои позиции в Афганистане и проявила явную торговую и политическую активность в Средней Азии, где Россия имела давние экономические интересы. Русское правительство, вынужденное противостоять британской экспансии в этом регионе, должно было обратить серьёзное внимание на отношения с бухарским и хивинским ханствами. Большое беспокойство вызывала у него недружественная Хива, которая могла стать базой для проникновения англичан в Среднюю Азию. Хивинцы подрывали оживлённую торговлю России с Бухарой, постоянно нападая на купеческие караваны и подвергая их разграблению. Кроме того, они осложняли отношения с киргизами (как тогда называли казахов), которые

уже сто лет находились в российском подданстве. Стремясь подчинить себе киргизские роды, кочевавшие на соседней с Хивой территории, хивинцы принуждали их платить подати своему хану, а главное — подстрекали киргиз похищать в России людей и продавать их на невольничьем рынке в Хиве. Работорговля процветала, и в Средней Азии томились сотни русских пленников.

Решением возникших в связи с этим сложных задач пришлось заниматься В.А. Перовскому, назначенному в 1833 г. на должность оренбургского военного губернатора. После неудачных попыток мирно урегулировать отношения с Хивой он убедился, что отстаивать интересы России можно только решительными мерами, и предложил план военной операции против ханства. По его замыслу она должна была «положить предел непостижимой наглости» хивинцев, освободить русских подданных, находившихся в рабстве, установить в степи мир и создать нормальные условия для международной торговли. Проект получил правительственное одобрение и в ноябре 1839 г. начался знаменитый зимний поход на Хиву.

Его часто называют неудачным, так как достигнуть Хивы, как намеревался Перовский, не удалось. Из-за небывало суровой зимы отряду пришлось вернуться с полпути: глубокие снега вызвали бескормицу и массовую гибель верблюдов, перевозивших грузы. Хотя до сражений дело так и не дошло, отряд понёс большие потери от морозов и болезней. Однако основная цель похода была достигнута. Напуганный хи-

винский хан обещал в дальнейшем не давать России никаких поводов для недовольства, освободил всех невольников и специальным «фирманом» запретил своим подданным под страхом смертной казни грабить и погонять русских.

О Хивинском походе зимой 1839-1840 гг. написано сравнительно немного. Литература о нём представлена в основном дореволюционными сочинениями. В работах советского времени авторы ограничивались лишь общей негативной оценкой похода как чисто колонизаторской акции царского правительства и почти не касались фактической стороны дела. Между тем это событие, весьма заметное в истории Оренбургского края, несомненно, заслуживает внимания. Необходимо обнародовать и проанализировать с современной точки зрения многочисленные архивные документы, касающиеся Хивинского похода, и исследовать опубликованные в своё время, но мало известные широкому читателю воспоминания и письма его участников. Эти материалы дадут представление о жизни Оренбурга в то время, когда ему пришлось играть видную роль в международной политике.

Хивинский поход вызвал беспокойство в Англии, где опасались, что Россия намеревается соперничать с ней в Афганистане и Индии. Попытки русского правительства доказать неосновательность этих подозрений напряжённости не сняли. Англичане проявили в это время пристальное внимание к Хиве. Через британских агентов, направленных к хивинскому хану, ему предлагалась дружественная поддержка английского

правительства и посредничество в урегулировании русско-хивинского конфликта.

Один из этих агентов, Джеймс Аббот, оказавшийся в 1840 г. в Оренбурге, стал заметной фигурой в непростых дипломатических отношениях России и Англии того времени.

Капитан артиллерии Ост-Индийской компании Джеймс Аббот (James Abbot) был прислан в Хиву в январе 1840 г. Как видно из его записок, опубликованных позднее<sup>1</sup>, он старался убедить хана в том, что его страна, первая по обширности своих владений, численности населения и военной мощи, является — не в пример северному соседу Хивы — естественным союзником мусульманских государств. Собирая разведывательные данные о Хиве и действиях России в Средней Азии, он направлял их своему начальству в Герат. Весной 1840 г., покинув Хиву, Аббот появился у русского Ново-Александровского укрепления на побережье Каспийского моря. Здесь он представился доверенным лицом хивинского хана и пожелал быть отправленным в Петербург для выполнения его поручения к русскому правительству. Естественно, что встретили Аббота очень настороженно. Он был доставлен в Оренбург, а затем ему разрешили приехать в столицу, но не в качестве хивинского посланника, а как частному лицу. Оттуда он был отправлен на родину.

В Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) хранится много документов, подробно освещающих эпизод с Абботом и роль

В.А. Перовского в решении вопросов международной политики того времени.

О том, что в Петербурге придавали этому эпизоду немалое значение, свидетельствует объёмистое архивное дело, в котором, в частности, идёт речь «о дозволении прибывшему из Хивы в Оренбург английскому капитану Абботу проезда в Санкт-Петербург и разыскании причин отправления этого офицера английским правительством в Хиву».<sup>2</sup> Из письма вице-канцлера К.В. Нессельроде от 8 июня 1840 г.<sup>3</sup>, которое В.А. Перовский получил в ответ на своё сообщение о прибытии Аббота, видно, что русское правительство уже знало о нём и считало, что агент был послан в Хиву «с целью употребить все возможные меры к предупреждению нашей экспедиции», т.е. Хивинского похода. Русского посланника в Лондоне пытались убедить, что капитану «поручено единственно стараться склонить хана Хивинского, чтобы он поспешил исполнить все требования нашего правительства возвратить томящихся в неволе российских подданных и не позволять бы хивинцам грабить караваны; но что офицер сей отнюдь не имеет поручения содействовать хивинцам в обороне противу нашего отряда». Но доверия это не вызвало. Нессельроде пишет, что «мы не могли отнюдь согласиться на вмешательство английского агента в дела наши с Хивой», и посланнику в Лондоне было предписано «настоятельно требовать отозвать упомянутого офицера из Хивы».

Неожиданный приезд Аббота в



Джеймс Аббот. Рисунок А. Лемана

Россию, по мнению Нессельроде, выглядит подозрительно, и задержка его в Оренбурге нежелательна, потому что она позволила бы ему собрать сведения о наших войсках. Они как раз возвращались из похода и должны были готовиться к новой военной экспедиции против хивинцев, от которой, впрочем, вскоре отказались, так как хан безоговорочно принял все условия русского правительства. Перовскому предлагалось поскорее отправить англичанина в Москву в сопровождении *«благонадёжного и скромного чиновника или офицера, которому предписать, чтобы он,*

*соблюдая к Абботу надлежащую учтивость, назидал за всеми его действиями»*. В Москве они должны были получить распоряжение относительно времени прибытия в Петербург.

О мерах, принятых В.А. Перовским, и об отношениях, сложившихся между двумя офицерами, представлявшими интересы держав-соперниц, мы узнаём из писем оренбургского военного губернатора.

Одно из них адресовано В.И. Далю и написано 20 мая 1840 г.<sup>4</sup>, когда Аббот находился в пути из Ново-Александровска в Оренбург.

Перовский пишет: «Я решился его задержать здесь под арестом до получения о нём разрешения из Петербурга. Не говоря уже о наших настоящих отношениях с Хивой, о том, что Аббот приехал из Хивы, где был Бог знает с каким намерением, и о том, что он разъезжал со скопищем тухмен и хивинцев, — вот на чём основываюсь, чтобы задержать его... Приезд Аббота в Ново-Александровск совершенно походит на действия шпиона: первоначально едет он на Мангышлак, потом напрашивается в Ново-Александровск, выдавая себя за аккредитованное от Английского правительства к нашему лицу и объявляя, что бумаг у него никаких нет; наконец показывает пачпорт, особым образом подделанный». Незваному гостю, таким образом, предстояло находиться в Оренбурге в положении почётного пленника. «Я намерен, — продолжал Перовский, — Аббота поместить в новом доме Еникуцева. Кушанья он будет получать от моего стола, но содержаться будет под строгим арестом».

Однако при личной встрече Перовский изменил решение об аресте англичанина и объяснил это в письме к К.В. Нессельроде от 13 июня 1840 г.<sup>5</sup> «Полагая, что по настоящему положению отношений наших с Англией, — писал Перовский, — строгое обращение с Абботом было бы неуместно, и убедясь при свидании с ним, что строгость не принесла бы никакой пользы, я не подверг капитана Аббота даже домашнему аресту, но только приставил к нему в виде переводчика

надёжного офицера Генерального штаба, взяв сперва слово не входить ни в какие сношения с азиатами, в Оренбурге находящимися... Честное слово, данное Абботом, убедился я из строгих наблюдений, не было им нарушено». По словам Перовского, поведение назначенного к нему офицера «так понравилось капитану, что он впоследствии и сам просил меня оставить при нём сказанного чиновника до прибытия в Петербург».

Чтобы Аббот не мог наблюдать возвращения наших войск «из дальнего и трудного похода», Перовский «предложил ему воспользоваться приездом его в Оренбург для осмотра всего Уральского края, столь любопытного и мало известного европейцам. Это было принято капитаном с величайшей благодарностью, вследствие чего он и отправлен с прикомандированным к нему офицером в Златоуст как пункт, не имеющий никакой политической важности и которым в промышленном отношении край Оренбургский может похвастаться даже перед англичанином».

Разделяя мнение правительства «о необходимости устранить влияние Великобритании на Туран или часть Средней Азии, к северу от Хиндукуша расположенную», Перовский считал, что «настоящая попытка англичан не вполне удачна». К этому выводу его привели беседы с гостем. «Хотя Аббот, — писал Перовский, — с самого начала придерживался системы непроницаемого молчания, но в дальнейших разговорах мне удалось, так сказать, расшевелить его и убедиться, что

Ив. № 34825

NARRATIVE OF A JOURNEY  
 FROM  
 HERAUT TO KHIVA, MOSCOW,  
 AND  
 ST. PETERSBURGH,  
 DURING THE  
 LATE RUSSIAN INVASION OF KHIVA;  
 WITH  
 SOME ACCOUNT OF THE COURT OF KHIVA AND THE  
 KINGDOM OF KHAURISM.

BY CAPT. JAMES ABBOTT,  
 BENGAL ARTILLERY,  
*Author of the "T'hakoorine," and lately on a political Mission.*

IN TWO VOLUMES.  
 VOL. II.



LONDON:  
 WM. H. ALLEN AND CO.,  
 7, LEADENHALL STREET.

1843.

Титульный лист сочинения капитана Джеймса Аббота «Повествование о путешествии из Герата в Хиву, Москву и Санкт-Петербург во время русского вторжения в Хиву», изданного в двух томах в 1843 г. в Лондоне



приём, оказанный ему в Хиве, не был далеко приёмом союзника и покровителя... Аббот не пользовался даже полной свободой и сам на вопрос мой, что мы, вероятно, свидимся в Хиве, отвечал с неподдельным отвращением: «Чтобы я возвратился в Хиву — никогда!»

Это письмо к К.В. Нессельроде В.А. Перовский писал в Москве, по дороге в Петербург, куда он отбыл сразу после встречи с капитаном Абботом. Но, продолжая заботиться о своем госте, уже из столицы в письме от 27 июня 1840 г. к московскому почт-директору А.Я. Булгакову он просил его оказать помощь сопровождавшему Аббота офицеру, «чтобы островитянин наш добрался к нам наилучшим образом»<sup>6</sup>.

Чрезвычайно интересные дополнения к приведённым архивным материалам о пребывании Джеймса Аббота в Оренбурге содержатся в его собственных воспоминаниях, которые были опубликованы в 1843 г. в Лондоне в двух томах под заглавием «Повествование о путешествии из Герата в Хиву, Москву и Санкт-Петербург во время русского вторжения в Хиву». В своём подробном рассказе о неизвестных английскому читателю странах, где ему довелось побывать, и о людях, встреченных по пути, он выделяет Оренбургский край и военного губернатора В.А. Перовского, который произвёл на него неизгладимое впечатление.

Стараясь не углубляться в вопросы политики, Аббот подробно описывает свои нелёгкие приключения в дороге от Хивы до русского военного укрепления Ново-Александровска, на берегу Каспийского моря. На

него и сопровождавших его людей напали вооружённые грабители: он был ранен и чудом остался в живых. В Ново-Александровске он представился «британским офицером из Герата, у которого дело в Санкт-Петербурге» и просил разрешения приютиться в форте и оттуда отплыть в Астрахань. Холодность приёма не удивила Аббота. «Подозрительные обстоятельства, при которых я появился, — пишет он, — были достаточны, чтобы оправдать осторожность»<sup>7</sup>. Положение усложнялось его незнанием языка.

К счастью, в Ново-Александровске в это время находился молодой натуралист из Дерпта Александр Леман (1814 — 1842), который был приглашён Перовским для естественнонаучного описания Оренбургского края. Он участвовал в Хивинском походе и на обратном пути предпринял исследовательскую поездку в район Каспия. Леман оказался единственным человеком в гарнизоне, знавшим французский язык. И хотя выяснилось, что, как и Абботу, объясняться на этом языке ему пришлось впервые в жизни, они неплохо понимали друг друга, и Леман успешно играл роль переводчика. Аббот вспоминал его с благодарностью и восхищением. «Г-н Леман, — пишет он, — натуралист, чей энтузиазм к своей профессии подкреплён талантом и запасом знаний, открыл в этой действительно безжизненной степи и на этих пустынных и безлюдных берегах много дополнительного к известным видам мира насекомых и растений»<sup>8</sup>. Леман, прекрасный рисовальщик, набросал чернилами портрет Аббота. Он находится среди его

бумаг в Санкт-Петербургском филиале архива РАН<sup>9</sup>.

В Ново-Александровске Абботу была оказана врачебная помощь, причём повреждённый палец руки пришлось ампутировать. Это доставило ему много страданий.

От Лемана Аббот узнал, что в Астрахань из форта попасть невозможно и что он будет отправлен в Гурьев, а оттуда через Уральск — в Оренбург, так как туда приказано отсылать всех, кто прибудет из Хивы. За ним последовали и слуги-афганцы, которых он надеялся отправить на родину, посадив в Астрахани на корабль, отправляющийся в Астрабад.

Подробно описывая свой путь до Оренбурга, Аббот рассказывает о встрече в Уральске с П.А. Чихачевым (1812-1892), известным путешественником, также принимавшим участие в Хивинском походе<sup>10</sup>. Он пишет: *«Я обедал с доктором в почтовом доме, когда вошёл высокий, красивый человек, смуглый, с тонкими чертами лица, которого я принял бы за испанца, если бы он не обратился ко мне на чистом английском и представился как г-н Чихачев, едущий в Астрахань... Невозможно дать читателю представление о моём восторге от того, что опять слышу родной язык... Он говорил по-английски лучше, чем кто бы то ни был из слышанных мной иностранцев; без запинки, без вставок иностранных идиом, с легчайшим акцентом. Даже выражение мыслей и манера были у него английскими. Он объяснил это тем, что был воспитан среди англичан и путешествовал*

*по Америке»*.<sup>11</sup> Аббот, измученный путевыми невзгодами и телесными страданиями, воспринял эту встречу, как *«появление первой птицы с родины, которая летит рядом с кораблём того, кто странствовал без компаса и карты во власти ветров»*.

Чихачеву было поручено принести Абботу извинения за перенесённые неудобства и сообщить, что приняты меры, чтобы облегчить ему дальнейший путь. Аббот впервые узнал о том, что русские войска вернулись, не достигнув Хивы из-за необычайно морозной и снежной зимы, и что поход вскоре будет повторён. Чихачев рассказал ему также, что в Оренбурге его ожидает военный губернатор Перовский, человек благородный и обладающий многими превосходными качествами. По словам Аббота, вскоре он убедился в справедливости этого отзыва.

Оренбург произвёл на путешественника, прибывшего из азиатских степей, — как он говорит, «из Татарии», — сильное впечатление. Он пишет: *«Местоположение этой столицы, ибо таковой она является для края, значительно большего, чем многие королевства, — на плоской возвышенности, окружённой рекой Уралом и защищённой на некотором расстоянии к северу рекой Сакмарой. Сохранились стена и ров, которые раньше превращали его в крепость... Это почти исключительно военный форт. Однако в мирное время сюда приходят караваны из Бухары и Хивы; и чтобы купцов из этих стран держать отдельно от жителей Оренбурга, вне его стен построен*

*большой товарный склад (Меновой двор)».*<sup>12</sup>

Аббота поселили в новом доме, построенном А.И. Еникуцевым (сейчас здание оренбургского краеведческого музея). «По приезде, — пишет он, — я был приведён в очень милую квартиру, в доме на главной улице. Я оглядывался в удивлении, так как мы были отделены от Татарии (где дома неизвестны и обитатели степи одеты в шкуры) только скудным течением Урала; а здесь я нашёл дом обычного джентльмена, увешанный картинами и большими зеркалами и имеющий обстановку, которая выглядела бы красиво и в Лондоне».<sup>13</sup>

Приставленным к Абботу «скромным и надёжным офицером» оказался старший адъютант Отделения Генерального штаба Оренбургского корпуса лейтенант Пелевский<sup>14</sup>. Любопытно, что его фамилию в дальнейшем искажает не только Аббот, называющий его «лейтенантом Пековским», но и сам Перовский, который в письме к московскому почт-директору А.Я. Булгакову пишет о нём, как о «лейтенанте Петровском, молодом человеке, не очень опытным в жизни»<sup>15</sup>. На англичанина он произвёл самое отрадное впечатление: «Вскоре после моего прибытия пришёл молодой офицер штаба корпуса и представился мне как лейтенант Пековский, адъютант генерала Перовского, который хотел меня видеть. Этот молодой человек, ставший моим компаньоном в течение дальнейшего моего пребывания в России, бегло говорил по-английски. Я был восхищён встречей и последовал за ним во дворец Перовского, где был проведён в кабинет этого вельможи».<sup>16</sup>

Аббот сообщает читателю некоторые сведения о В.А. Перовском и начале их знакомства: «Перовский был другом и товарищем Николая прежде, чем тот стал императором; и его превосходные таланты и благородные качества позволили ему сохранить своё место в отношении его монарха. Я видел много портретов Перовского, следуя через его край. Сейчас я нашёл, что они были в основном точны и внимательно рассматривал оригинал».<sup>17</sup> Отметив, что «лицо было пронизательным и умным», Аббот ссылаясь на свою неопытность в аттестации других людей и опускает детали, подтверждающие «всё достоинство и высокое благородство» В.А. Перовского.

«Он был в парадной форме и при орденах, — продолжает Аббот. — Он сказал, что тотчас уезжает в Санкт-Петербург, но позаботится, чтобы я ни в чём не нуждался во время моей задержки в Оренбурге и ожидания здесь ответа от британского посла. Тем временем в моём распоряжении будут услуги лейтенанта Пековского, если я захочу ими пользоваться. Но предлагает он это единственно для моего удобства и не хочет прикомандировывать ко мне кого-то против моей склонности».<sup>18</sup>

Аббот упоминает и о данном им Перовскому честном слове не общаться во время пребывания в крае с представителями среднеазиатских ханств, или, как он выражается, «татарами». Описание беседы завершается словами: «Я вернулся в мою новую квартиру счастливым, что наконец встретил кого-то, чьё

*поведение не уступает его высокой репутации».*

Если первая аудиенция прошла официально, то в дальнейшем обращение Перовского с Абботом было самым дружеским. Гость оценил это должным образом. Он пишет: *«На следующий день Перовский посетил меня, но одетый совсем иначе и настолько без церемоний, что я пожал ему руку прежде, чем осознал, что это он. Он сделал мне тысячу любезных предложений и всякий час, пока оставался в Оренбурге, находил новый способ содействовать моему удобству. Он пожелал видеть меня в этот день за обедом и сожалел, что его отлучка помешает ему встречать меня ежедневно как своего гостя».*

Аббот подробно описывает этот обед: *«Таким образом, около трёх часов я оказался в его дворце и нашёл там в сборе всех главных офицеров крепости. Его салон был убран всеми предметами роскоши и изящества. Я нашёл там несколько весьма примечательных картин русских художников... Манеры Перовского мужественны, просты и искренни. Но он сохраняет строгий этикет среди окружающих его офицеров. Рокасовский<sup>\*)</sup>, который раньше относился ко мне несколько надменно, сейчас был улыбчив и склонялся перед тем, к кому Перовскому было угодно проявлять уважение. Появился любезный и воспитанный Уральский атаман<sup>\*\*)</sup>*

*и представился мне. Он сожалел, что не смог принять меня как гостя, так как я попал в более сильные руки, но если бы он мог иметь удовольствие оказать мне какую-либо услугу, то я мог бы, приказав, доставить ему удовольствие. К несчастью, — сказал он, — Перовский, вероятно, не даст ему сделать ничего.*

Обед был подан во французском стиле, но всё же появилось и несколько национальных блюд. Перовский задал много вопросов об Индии и нашей последней экспедиции. Один из присутствовавших офицеров спросил, не ел ли я пятку слона: он слышал, что это обычное лакомство. Я ответил, что недостаточно богат, чтобы платить 100 фунтов стерлингов за одно блюдо, и никогда не слышал ни о какой части слона, которую бы кто-то ел, исключая диких людей в лесу»<sup>19)</sup>.

Особенно поразила Аббота коллекция оружия Перовского. *«После обеда, — пишет он, — мы перешли в оружейную, где у Перовского была одна из редчайших в мире частных коллекций древнего и современного оружия. Я не сделал заметок о ней и поэтому не могу описать её подробно; однако, повидав много коллекций, я хвалю её не без оснований. Среди клинков было несколько современных, Златоустовской фабрики в Сибири. Не рассказывая мне их истории, он спросил меня об их качестве. Я сказал, что они очень тонкие, но специфического характера. Что структура похожа на структуру клинков, выкованных в Лагоре, которые, хотя и*

<sup>\*)</sup> П. И. Рокасовский, начальник штаба Отдельного Оренбургского корпуса.

<sup>\*\*)</sup> В. О. Покотилов, наказной атаман Уральского казачьего войска.

острые, но, по-моему, часто хрупкие. Он сказал, что клинки, находящиеся передо мной, совершенно гибки и упруги. Что полковник Аносов, военный инженер, весьма одарённый и заслуженный, открыл способ получения дамасской стали и ежедневно совершенствует своё открытие. Что он применяет для отливки форму, придуманную им, чтобы получить упругость, которая не может быть превзойдена. И что каждый клинок подвергнули строгому испытанию, прежде чем выпустить его из Златоустовского завода». <sup>20</sup> Большой интерес вызвали у Аббота и другие образцы оружия. Он отмечает коллекцию кинжалов, которая была «необычайно богатой и любопытной».

Во время приёма Перовский предложил гостю совершить поездку по горному Уралу. Аббот пишет: «Он отвёл меня в сторону и сказал, что, опасаясь, что я могу найти Оренбург скучным, он мог бы дать мне средство посетить достопримечательности своего края. Одновременно, поскольку это делается под его личную ответственность, он должен просить меня не публиковать результаты. Я не знал в то время, как много мне будет стоить этот запрет. Я буду лишь надеяться, что если его превосходительство увидит, какое благоприятное впечатление оставило у меня путешествие по России, он возьмёт назад своё veto на публикацию подробностей, столь интересных миру и отражающих только уважение к его стране». <sup>21</sup>

В записках подчёркивается внимание, которое Перовский проявил

к здоровью раненого офицера. «Он удивился, — пишет Аббот, — что моя рука заживает так долго. Он сам потерял кончик пальца от удара сабли и рана зажила за две недели, тогда как моя остаётся открытой почти два месяца. Он настаивал на том, что пошлёт ко мне своего личного врача доктора Розенбергера». <sup>22</sup> Вернувшись на свою квартиру, Аббот увидел, что Перовский прислал ему «запас своего собственного белья», в котором он крайне нуждался.

Аббот пишет далее: «Мой благородный хозяин не удовлетворился всем тем вниманием, которое уделил мне. Он позвал к себе Перовского и строго проэкзаменовал его относительно моей возможной или вероятной нужды. Так он открыл, что я пытался, безуспешно, достать карту России и тотчас послал мне великолепную карту Империи, настаивая, чтобы я принял её, так как у него есть другая. Он выяснил также, что у меня нет часов и упросил меня носить одни из своих, пока я не попаду в Санкт-Петербург. Это были прекрасные часы, которые никогда не требовали завода! Их заводило движение маятника. Это были первые часы такого рода, которые я видел». <sup>23</sup> Кроме того, Перовский предоставил в распоряжение Аббота лошадей и экипаж и уверял, что никогда не допустил бы, чтобы гость испытывал нужду в чём-либо, что можно достать в Оренбурге.

Когда на следующий день Перовский зашёл к Абботу проститься перед своим отъездом в столицу, между ними произошло откровенное

объяснение. *«Наше отношение друг к другу, — пишет Аббот, — было своеобразным. Он назвал меня своим врагом и обстоятельства давали ему право считать меня таковым. Но относился он ко мне с великодушием и неусыпным вниманием друга. Я сказал ему, что вижу для себя больше чести в таком враге, чем в сотне обычных друзей. Он сказал, что если бы схватил меня в Хиве, то убил бы меня. Я ответил, что если бы позволил ему попасть туда, то заслужил бы такую жестокость; однако предпочитаю, чтобы другой проявил милосердие».*<sup>24</sup>

Прощаясь и отвечая на вопрос Перовского, что он мог бы ещё сделать для гостя, Аббот попросил его подарить ему свой литографированный портрет. У Перовского портрета не оказалось, и взамен он послал другой подарок, — по словам Аббота, *«столь ценный, что его нельзя было принять, однако такой, что при тех обстоятельствах нельзя было не принять».* *«Это были, — пишет он, — два бронзовых слепка с масок (снятых сразу после смерти) Петра Великого и его соперника Карла XII Шведского... Я заверил Перовского, выражая ему благодарность за эти великолепные сувениры, что в Российской империи не найдётся драгоценности, которую я оценил бы более высоко. Что они будут храниться в моей семье, как священное напоминание о дружбе и гостеприимстве Перовского».*<sup>25</sup>

Несколько страниц записок Аббота посвящены чувствам и мыслям, которые были вызваны этим подарком, имевшим, несомненно, симво-

лическое значение. Ночью, рассматривая маски при лунном свете, он сравнивал черты Петра — *«героя, патриота, законодателя, тирана, создателя великой империи»* — и Карла, который *«привёл его, благодаря своему поражению, на путь победы».* Образы этих исторических личностей навеяли ему размышления о жизни и смерти, о судьбах могущественных правителей, о России, с которой ему предстояло познакомиться в скором будущем.

После отъезда В.А. Перовского капитан Джеймс Аббот продолжал знакомиться с Оренбургом под наблюдением генерал-майора П.И. Рокасовского, исполнявшего обязанности военного губернатора. *«Он пригласил меня на обед, — пишет Аббот, — и в первый раз после моего прибытия в Россию я оказался за столом с представительницей прекрасного пола. Восхищение моё было очень велико, ибо хозяйка дома была действительно очаровательна и оказывала гостеприимство с большим изяществом и приличием. В ответ на мои слова об утомлении от столь долгой разлуки с такими общественными отношениями она обещала показать мне красу Оренбурга. И двумя днями позже я оказался на балу, на котором присутствовало большое число прелестниц города. Моя раненая рука не позволяла мне танцевать, но было достаточно приятно наблюдать сцену, для меня самую очаровательную. Я сидел в углу и позволял себе удовольствие сравнивать настоящее с прошлым».*<sup>26</sup>

Аббот вспоминал о *«грязной чёрной кибитке и одежде из ове-*

чьей кожи» — зрелище, к которому он привык во время путешествия по степи. «А теперь, — пишет он, — я останавливал взгляд на очаровательных молодых существах, одетых, как цветы лилии, движущихся, как весенний ветер, и вызывающих восхищение, где бы они ни появлялись». Дамы в своих нарядах следовали парижской моде. Которая ещё не достигла «Индийской империи» и была для Аббота новинкой. «Я так долго был изгнан из цивилизованного общества, — признаётся он, — что принял одежду за русский костюм, и она вызвала у меня живейший восторг. Действительно, я был ослеплён настолько же, насколько восхищён; и хотя я не сомневаюсь, что внешне моё поведение было достаточно сдержанным, сердце моё ликовало из-за той перемены, которую небесам было угодно произвести в моём положении в течение нескольких коротких часов». <sup>27</sup>

В оренбургском обществе приезд иностранца вызвал немалый интерес. Об этом свидетельствует небольшой эпизод на балу, о котором с юмором рассказывает Аббот: «Англичанин был, конечно, до некоторой степени монстром в Оренбурге. Один или два моих знакомых хотели знать моё мнение обо всём, что я вижу, и кто кажется мне наиболее красивой из всех. Не подумав, что мнение чужестранца при таких обстоятельствах бывает авторитетным, я опрометчиво его высказал. Мгновенно оно перешло от уха к уху и достигло той, которую я отметил, и которая, я думаю, не потеряла ничего из

своих чар из-за краски смущения, какой она его вознаградила. Обстоятельство оказалось тем более досадным, что она была замужней дамой, чья судьба уже решилась; а ведь присутствовало много очаровательных девиц, которым по всем законам вежливости следовало бы сделать такой комплимент». <sup>28</sup>

Отдавая должное красоте бывших на балу дам, кое-чем Аббот остался недоволен: не понравилось ему «заплетание локонов в косы», что он назвал «уродливой причёской», и слишком быстрый темп танца — кадрили. «Для меня — замечает он, — это что-то столь поэтическое, столь гармоничное, столь трогательное сердце изящными движениями танца, что будь я законодателем, то старался бы развивать и поддерживать это развлечение как средство морального очищения». Но, к сожалению, заключает Аббот, «красота как выражение божественной природы в чувственном мире не является более целью наших стремлений». <sup>29</sup>

Следующий раздел «Повествования» Аббота посвящён его впечатлениям от путешествия по горному Уралу, о котором перед отъездом распорядился Перовский. Он рассказывает, что ему был предоставлен экипаж военного губернатора, несмотря на его попытки самому оплатить поездку, а затем восклицает: «Ах, Перовский, благороднейший из врагов, ты, действительно, показал себя недругом, запретив публиковать подробности, о которых моя рука рвётся написать!» <sup>30</sup>

Целью поездки был Златоуст, где на знаменитой оружейной фа-

брике работал выдающийся русский металлург Павел Петрович Аносов (1797 – 1851), раскрывший секрет производства дамасской булатной стали. В 1839 году изделия Златоустовской фабрики были показаны на выставках в Париже и Льеже и получили у мастеров-оружейников самую высокую оценку. Особый восторг вызвала сабля из аносовской стали, удивившая знатоков *«как добротой клинка, так и отделкой»*<sup>31</sup>. Вероятно, именно такую саблю демонстрировал Джеймсу Абботу В.А. Перовский, знакомя его со своей коллекцией оружия.

Аббот заявляет, что, если бы не запрет Перовского, он рассказал бы много замечательного о своей поездке, в том числе о встрече с *«полковником Аносовым из инженерного корпуса императорской армии и главе оружейной фабрики в Златоусте»*.

Сожалая, что не может сообщить подробностей путешествия, Аббот имеет в виду прежде всего не факты, а впечатления, полученные от общения с встретившимися ему людьми. Он пишет: *«Я не имею в виду талантливую и изобретательную Аносова, так как он сам создаёт для себя и своей страны имя в мире науки, к чему мой слабый голос может добавить лишь немного. Он глава школы изобретателей и явление в истории своей страны. Перовский может лишь наслаждаться тем, что рождается такой удивительный талант, и видеть, что он не разделит судьбы столь многих знаменитостей, которых лавры увенчивают, но только на их гробницах»*.<sup>32</sup>

*«Я не имел даже в виду, – продолжает Аббот, – удивительных сокровищ, скрытых в Уральских горах и извлекаемых с такой пользой для правительства и с верой в последующие находки. Но я бы подробно остановился на приятных впечатлениях, искреннем гостеприимстве, сердечном приёме русских семейств, которые я встречал во время своего путешествия. Я задержался бы немного на истинном счастье, которое я, израненный, удручённый, изнурённый страданием, душевным и телесным, испытал в моём сибирском доме. Я известил бы моих соотечественников и мир, что как бы ни были богаты и неисчерпаемы золотые и платиновые, медные и железные копи Уральского хребта, богатство более драгоценное заключено в других горах – сердцах, наполненных благороднейшей любезностью и добрейшим духом человечности. И если семьи Аносова и Нестеровского могут извинить меня за это публичное упоминание их имён, они, возможно, простят слабую степень выражения благодарности»*.<sup>33</sup>

Далее Аббот описывает своё пребывание в гостеприимном Златоусте: *«Несколько дней, которые я провёл с этими друзьями, стали эпохой в моей жизни. Я блуждал с ними по прекрасным лесам, которые затемняют искусственные озёра; я ездил с ними по широким долинам Урала, где богатая зелень трав почти теряется в ярких красках диких сибирских цветов. Я исследовал с ними минеральные богатства гор и возвращался в их счастливые и*



мирные жилища, чтобы знакомиться с играми и увеселениями России или внимательно, затаив дыхание, слушать её богатые и изысканные мелодии, или восхищаться звуками истинной поэзии, которая составляет суть её песен. И англичанин, иностранец, в скором времени стал признанным членом семьи и каждый старался добрым и подчёркнутым вниманием заставить его забыть прошлое страдание и утомительное изгнание. Моё сердце в избытке блаженства опять стало молодым. Оно продолжало жить с только что обозначенного момента благодаря родственному чувству и домашнему теплу. Я забыл, что моя рана открыта, что моя рука подвешена, что мой мозг всё ещё подвержен головокружению и какому-то неожиданному возбуждению».

Аббот вспоминает, что забыл о своём недомогании, бегая по саду в играх с детьми и нарушая при этом представление русских об уравновешенности англичан. Он испытывал угрызения совести при мысли об Англии. «Среди всех этих удовольствий, — пишет он — сердце моё упрекало меня за расточение стольких эмоций на иную почву, чем почва моей родины. Я испытывал своего рода раскаянье, что свежесть контраста между варварством и цивилизованной жизнью должна была уменьшиться прежде, чем я достиг Англии; если вообще такое счастье меня ожидало. И я чувствовал это не без причины: к моему прибытию в Англию реакция души была уже в прошлом, и остался только разум, изнурённый

службой, страданием, тревогой, заботой; совершенно неспособный получать удовольствие от тех больших привилегий, которыми хотелось обладать в течение долгих семнадцати лет».

Поездка по Южному Уралу помогла Абботу познакомиться с русской музыкой и народным песенным творчеством. Он рассказывает: «Суетливый стиль жизни, которую я вёл в России, не позволил мне собрать, как я хотел, сколько-нибудь из сокровищ музыки и поэзии. Состояние руки лишило меня возможности делать заметки или записывать в транскрипции, так что мои запасы ничтожны и плохо подобраны... Я приведу здесь только один перевод баллады, музыка которой часто меня очаровывала. Я не воспроизведу её силы и стихосложения и должен очень извиниться за некоторые ошибки, к которым могло привести моё незнание русского языка».<sup>34</sup> В этой песне, названной им балладой, речь идёт о воине, который умирает от ран на чужбине и просит своего коня доставить от него привет близким людям. По мнению Аббота, даже из этого «очень несовершенного и не дословного перевода» можно постигнуть дух русских песен, язык которых «мужествен, но мелодичен».

Аббот и сам был причастен к поэтическому творчеству. Это видно из его — навеянного обстановкой — стихотворения под названием «Красота», которое он приводит здесь же<sup>35</sup>, признавая, впрочем, его неуместность. Он оправдывается тем, что «всегда легко перескочить на поэзию, как бы нечаянно», тем

более когда перспектива не даёт ему «какой-либо надежды на досуг или на удобный случай, чтобы собрать и опубликовать подобные пустяки в привычной форме отдельного тома».<sup>36</sup>

Возвратившись из путешествия, прошедшего, по словам Аббота, «среди прекрасных декораций и предметов, чрезвычайно любопытных и интересных», он узнал, что Перовский собирается вскоре возвратиться в Оренбург, но надеется встретиться с ним в столице и поэтому просит его поспешить с приездом. Аббот пишет: «Я не устал от Оренбурга, но, как можно легко поверить, не сожалел о продолжении моего пути на север. Я послал с Перовским письмо к друзьям в Лондон, коротко описав своё избавление и хорошую жизнь; и это письмо, благодаря Провидению, дошло до них прежде, чем сообщения о моей смерти, которые вскоре заполнили общественную печать».<sup>37</sup>

Готовясь к отъезду, Аббот тревожился о своих слугах, оказавшихся в Оренбурге в затруднительном и неопределённом положении. Перовский обещал ему отослать их в Астрахань с тем, чтобы оттуда они были отправлены на корабле в Астрабад. Но, по словам Аббота, «из-за тысячи дел, которые занимали его перед отъездом, он забыл отдать необходимые приказы» и приходилось сознаться, что «оставить их в таком состоянии было очень плохо». «Взять их всех в Санкт-Петербург, — пишет Аббот, — было невозможно. У меня не было для этого средств, что делало их возвращение домой вдвойне затруднительным. Я очень

сожалел, что разрешил им сопровождать меня в Ново-Александровск вместо того, чтобы настоять на их возвращении из Хивы сразу в Герат. Однако теперь ничего нельзя было сделать, ибо Рокасовский не мог действовать без прямого приказа Перовского. Поэтому я дал каждому денег, достаточно для покрытия всех обратных расходов, и приказал разделить между ними всё, что было спасено от рук грабителей».<sup>38</sup>

Следует заметить, что сопровождавшие Аббота люди при беседах с ними в Оренбургской Пограничной комиссии дали очень важные показания о положении в Хиве и действиях англичан в Средней Азии<sup>39</sup>. Как видно из архивных документов, в правительстве придавали этому большое значение, так что их задержка произошла не из-за забывчивости Перовского. Но уже 13 июля 1840 года вице-канцлер К.В. Нессельроде сообщил В.А. Перовскому, что афганцев, прибывших с Абботом, «Государю императору благоугодно было (согласно предложению Вашему) отпустить».<sup>40</sup> Через неделю Перовский писал председателю Оренбургской Пограничной комиссии Г.Ф. Генсу: «Государь Император по всеподданнейшему докладу г. вице-канцлера представления моего о возвращении в отечество прибывших с Абботом афганцев, изъявил на это высочайшее соизволение. Имея честь уведомить о сем Ваше превосходительство, я нужным считаю присовокупить, что полагал бы удобным препроводить помянутых афганцев в Астрахань для отправления их

*оттуда с первой возможностью на персидский берег Каспия».*<sup>41</sup>

Из записок Аббота видно, что он внимательно, взглядом профессионального разведчика наблюдал за происходящим в Оренбурге. Его особенно интересовали хивинские купцы, которые в 1836 году были задержаны в России, чтобы заставить хана освободить русских пленников. Они находились в заключении и содержались в том же здании, что и слуги Аббота. *«Эти люди, — пишет он, — каким-то образом поняли, что я прибыл в Россию, чтобы освободить их; так что когда я проходил мимо, они толпились у окон и дверей, чтобы увидеть и приветствовать меня. Моё обещание Перовскому не позволяло мне даже взглядом ответить на их приветствие, но мои слуги иногда встречались с ними».*<sup>42</sup>

Оренбург произвёл на Аббота хорошее впечатление. *«В течение немногих дней, оставшихся на сборы, — вспоминает он, — я сделал несколько визитов и изредка прогуливался вечером в густой роще на противоположном берегу реки; место очень интересное. На высоком берегу на ближайшей стороне Перовский строит новый дворец, который будет красивым зданием, откуда открывается прекрасный вид. Вообще о строениях в Оренбурге я могу сказать немного; большинство из них деревянные. Самые красивые — это служебные помещения, которые расположены по сторонам главной площади. Эта площадь воскресным вечером представляет восхитительное зрелище — всё женское население Оренбурга*

*в праздничных нарядах. Создавалось впечатление сада с бесчисленными цветами, каждый из которых был исполнен жизни. Город в общем чистый; значительно выше обычного уровня городов, настолько удалённых от столицы».*<sup>43</sup>

Любопытно сообщение Аббота о встрече с соотечественником, работавшим в Оренбурге. Мы знаем, что это был механик Христофор Ледлей, представлявший владельца петербургского чугунолитейного завода И.Х. Ишервуда, с которым В.А. Перовский в 1837 году заключил контракт «об устройстве в Оренбурге водоподъёмной машины». В 1840 году сооружённый по этому контракту городской водопровод уже действовал<sup>44</sup>. Аббот пишет: *«Я встретил здесь английского инженера, устроившего паровую машину для снабжения города водой. Несколько других затерялись в восточных частях края. У русских есть обычай — занимать англичан устройством машин; а когда они придут в движение, отказываться от английских инженеров в пользу немецких, которые получают меньшую заработную плату».*<sup>45</sup>

Однако для английского агента Оренбург представлял наибольший интерес как военное укрепление, где в то время шли активные приготовления к повторному походу на Хиву. Решение отказаться от этого похода, поскольку хан принял все условия русского правительства и освободил пленных, было принято вскоре, но уже после отъезда Аббота.

Описывая город, он отмечает, что согласно статистическому справочнику его население насчитывает

2 268 человек, но, по его мнению, оно в три раза больше. Важное значение имеет расположение города — «на очень неустроенной границе» и на торговом пути в Среднюю Азию («Татарию»). *«Я видел — пишет Аббот, — что ведутся приготовления к военному походу на следующий год. Проходили разведывательные и топографические отряды и собирались новобранцы, чтобы пополнить потери в армии. В то же время нельзя было слишком доверять информации, которую я мог собрать; при моём незнании языка и при инструкции всем, кого я встречал, не давать мне подробного представления о предмете. По крайней оценке, силы прошлого наступательного отряда не превышали 10 000. Но в Оренбурге, несомненно, были сделаны приготовления для того, чтобы следовать за этим авангардом и овладеть страной, когда она будет завоёвана».*<sup>46</sup>

Собеседники Аббота, обсуждая его миссию, которая состояла в том, чтобы предотвратить поход русских против Хивы, «осмеяли» его, так как, по их мнению, теперь было «настоятельно необходимо завершить начатое». При этом он «думал по-своему, но не говорил ничего». Ему представлялось вероятным, что против русского правительства могут восстать «киргизы южных степей, и неустроенное мухаммеданское племя башкир на их собственной территории и разные недовольные кланы».<sup>47</sup> Отсюда ясно видно, какими путями англичане, вмешиваясь в русско-хивинские отношения, надеялись повернуть события в выгодном для них направлении.

Заметки Джеймса Аббота об Оренбургском крае завершаются описанием дороги от Оренбурга до Самары. В путь он отправился в начале июля. Как видно из упоминавшегося архивного дела, сопровождавший его старший адъютант отделения Генерального штаба Оренбургского корпуса Пелевский получил перед тем от Перовского из Петербурга следующий приказ, датированный 28 июня: *«Согласно с наставлением, которое передаст Вам г-н московский почт-директор, Ваше благородие с получением сего отправитесь с капитаном Абботом в Петербург, где и явитесь немедленно ко мне или, не застав меня дома, в Азиатский департамент к г-ну директору, действительному статскому советнику Сенявину».*<sup>48</sup>

Из записок Аббота явствует, что он предпочёл бы совершить эту поездку без спутника, который затруднял его наблюдения. *«Выехав из Оренбурга, — пишет он, — я ещё раз сел в походный экипаж с молодым Пековским. Генерал Перовский предложил согласиться на его услуги, и разные причины заставили меня одобрить этот план, хотя путешествовать в компании я не люблю. Прежде всего, я ценил и любил Пековского и знал, что ему приятно общаться со мной; и затем, будучи осведомлён о системе предосторожности русского правительства, я думал, что Перовский мог заслужить порицание, если позволит мне путешествовать одному. С другой стороны, от одинокого странствования получаешь гораздо больше и это — единственная*

возможность у путешественника ознакомиться с языком. Кроме того, я чувствую себя меньше хозяином своих мыслей, когда рядом находится человеческое существо. Короче говоря, компаньон нарушал мне удовольствие, хотя избавлял от забот об удобствах, и, конечно, от того, чтобы увидеть и узнать что-то из национальных особенностей». <sup>49</sup>

Далее следует описание участка пути до Самары, где Аббот увидел Волгу, которая его поразила. «Пространство, — пишет он, — между Оренбургом и Самарой — это степь, покрытая богатыми пастбищами. Поверхность слегка неровная. Далее она изменяется, но поскольку я не мог делать замечаний, мои воспоминания о подробностях не очень ясны. У Самары мы пересекли величественную Волгу, которая, хотя и меньше некоторых рек Индии, но в целом — это самая красивая река из всех, виденных мной. Здесь она очень широка,

свыше полумили, хотя Самара находится в 800 милях от её устья. Цвет воды мутно-рыжий, как будто это происходит от железистой глины. Правый берег поднимается из лесистых холмов; на левом расположен красивый город Самара с множеством маленьких судов близ него. Глубина воды значительна и я не наблюдал симптомов большого и неожиданного увеличения её объёма, как это случается на берегах индийских рек.

В одном отношении Волга является самой удивительной рекой в мире: она судоходна от самых её истоков до устья, то есть на расстоянии свыше 3 000 миль, и связывает Санкт-Петербург самым великолепным торговым путём с Астраханью и Дербентом. Таким образом, осётр, выловленный в Уральске, плывёт вниз по Уралу и вверх по Волге и попадает живым в столицу на императорский стол, пройдя расстояние свыше 4 000 миль». <sup>50</sup>

## ИСТОЧНИКИ

<sup>1</sup> Abbot J. Narrative of a journey from Herat, to Khiva, Moscow and St. Peterburg during the late Russian invasion of Khiva, with some account of Khaurism. Vol. 1–2. London, 1843.

<sup>2</sup> ГАОО, ф.6. оп. 10, №5068.

<sup>3</sup> Там же, лл.1–4 об.

<sup>4</sup> Институт русского языка и литературы РАН (Пушкинский дом). Рук.отд., №27368/СХСХVI. 68.

<sup>5</sup> ГАОО, ф.6, оп.10, №5068, лл.6–7 об.

<sup>6</sup> «Русский архив». 1878, №5. С.45.

<sup>7</sup> Abbot J. Narrative... Т.2. С.58

<sup>8</sup> Там же, с.69.

<sup>9</sup> ПФА РАН, ф.56, оп.1, №20, л.8.

<sup>10</sup> Матвиевская Г.П., Зубова И.К. Владимир Иванович Даль в Оренбурге. Оренбург: Оренб.кн.изд-во, 2007. С.231–236.

- <sup>11</sup> Там же, с.96.
- <sup>12</sup> Abbot J. Narrative...Vol. 2. P.82–83.
- <sup>13</sup> Там же.
- <sup>14</sup> ГАОО, ф.6, оп.10, №5068, л.13.
- <sup>15</sup> «Русский архив». 1878, №5.С.45.
- <sup>16</sup> Abbot J. Narrative... Vol.2. P.97.
- <sup>17</sup> Там же.
- <sup>18</sup> Там же.
- <sup>19</sup> Там же, с.97–99.
- <sup>20</sup> Там же, с.99.
- <sup>21</sup> Там же, с.98.
- <sup>22</sup> Там же, с.99.
- <sup>23</sup> Там же, с.100.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> Там же, с.101.
- <sup>26</sup> Там же, с.106.
- <sup>27</sup> Там же, с.107.
- <sup>28</sup> Там же.
- <sup>29</sup> Там же, с.108.
- <sup>30</sup> Там же, с.109.
- <sup>31</sup> Черняк А.Я. Новые документы о П.П.Аносове // Вопросы истории естествознания и техники. 1957. С. 184–186.
- <sup>32</sup> Abbot J. Narrative...Vol. 2. P.109.
- <sup>33</sup> Там же.
- <sup>34</sup> Там же, с.111–112.
- <sup>35</sup> Там же, с.113–114.
- <sup>36</sup> Там же, с.113.
- <sup>37</sup> Там же, с.114.
- <sup>38</sup> Там же, с.115.
- <sup>39</sup> ГАОО, ф. 6, оп. 10, № 5068, лл. 8–11 об. См. также: Галкин М.Н. Показания туркмен о миссиях Аббота и Шекспира // М.Н.Галкин-Враский. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1869. С. 243–263.
- <sup>40</sup> ГАОО, ф. 6, оп. 10, № 5068, лл. 18–18 об.
- <sup>41</sup> Там же, л. 20.
- <sup>42</sup> Abbot J. Narrative...Vol. 2. P.115.
- <sup>43</sup> Там же, с.116.
- <sup>44</sup> Матвиевская Г.П. «Заведения, полезные для города и края» // Вечерний Оренбург. 2000, № 3 (13 января).
- <sup>45</sup> Abbot J. Narrative... Vol. 2. P.117.
- <sup>46</sup> Там же, с.116.
- <sup>47</sup> Там же.
- <sup>48</sup> ГАОО, ф. 6, оп. 10, № 5068, л. 13.
- <sup>49</sup> Abbot J. Narrative...Vol. 2. P. 118.
- <sup>50</sup> Там же, с.119.



Олег СЕМЁНОВ

## ПЛАНЕТА ПИОТРОВСКИХ

*Олег Владимирович Семёнов родился в 1994 году в Оренбурге. В 2012 году окончил лицей № 1. С детства увлекается краеведением, географией, шахматами. Автор научных работ по истории математики и краеведению. Лауреат окружных, городских, региональных и российских конкурсов по русскому языку, математике, криптографии и географии, дипломант конференций учащихся «Интеллектуалы XXI века». В альманахе «Гостиный Двор» печатается впервые. Представленная читателям статья Олега о династии Пиотровских получила диплом на Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске (2012).*

*Представители династии Пиотровских заслуженно занимают почётное место в ряду выдающихся личностей России. На протяжении трёх веков их деятельность оценивается высокими государственными наградами. Одна из малых планет Солнечной системы названа Международным астрономическим союзом в честь этой семьи: «Пиотровский».*

*Особый интерес вызывает тот факт, что в жизни Пиотровских были оренбургские страницы. На основе архивных материалов и других источников удалось воссоздать этапы биографии и деятельности четырёх представителей династии — генерала от инфантерии Бронислава Игнатьевича Пиотровского, математика-методиста Бориса Брониславовича Пиотровского, академиком Бориса Борисовича и Михаила Борисовича Пиотровских — бывшего и нынешнего директоров Государственного Эрмитажа.*

## АДОЛЬФ ИГНАТЬЕВИЧ ПИОТРОВСКИЙ – ГЕНЕРАЛ БРОНИСЛАВ

Послужной список на генерала Б.И. Пиотровского удалось обнаружить в результате длительной переписки со специалистами архивного дела Москвы. Кроме этого, в ходе исследовательской работы были найдены материалы о причинах «перемещения» Б.И. Пиотровского в Оренбург.

Пиотровский (польск. Piotr) Бронислав-Адольф Игнатьевич происходил из потомственных дворян Гродненской губернии. Родился он 31 декабря 1849 года. По окончании Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса он становится юнкером недавно открытого в Санкт-Петербурге Павловского военного училища, начальником которого был генерал П.С. Ванновский, будущий военный министр России.

Бронислав Пиотровский учился прилежно, и учебное заведение окончил по 1-му разряду. 17 июля 1867 года он был произведён в подпоручики и определён в столичный 145-й пехотный Новочеркасский полк. Служба проходила успешно, через год Бронислав был произведён в поручики. Затем досрочно, за отличную службу – в штабс-капитаны, через три года – в капитаны. 17 ноября 1875 года он был удостоен ордена «Меча» Его Величеством королём Швеции и Норвегии.

С августа 1878 года Бронислав Игнатьевич, получив чин майора, командует 18-м резервным полком.

А начиная с 1883 года, уже в звании подполковника, Пиотровский в течение более двадцати лет являл-

ся уездным воинским начальником трёх различных уездов. С 1883 по 1888 год он был ветлужским уездным воинским начальником. За плодотворную деятельность на этом посту награждён орденами Святой Анны 3-й степени (1883) и Святого Станислава 2-й степени (1887).

Документы, обнаруженные в архивах, свидетельствуют о том, что значительная часть военной службы Б.И. Пиотровского была потом связана с Южным Уралом, Бирским и Уфимским уездами.

Главная задача Бронислава Игнатьевича Пиотровского, как и всех уездных и губернских воинских начальников, состояла в том, чтобы *«в мирное время заведовать чинами запаса армии, необходимыми для военной готовности армии, а с объявлением войны – принять на себя все распоряжения для возможно быстрого призыва чинов запаса и сбора лошадей, а равно и для отправки тех и других в войсковые части, для приведения их в полный состав»*. При этом уездные воинские начальники были обязаны вести подробные списки и учёт как офицерским, так и нижним чинам запаса, запасным чиновникам и первому разряду ратников ополчения; они организовывали призыв запасных на службу и в учебные сборы.

И здесь деятельность Пиотровского была отмечена орденами Святой Анны 2-й степени (1892), Святого Владимира 4-й степени (1898), Святого Владимира 3-й степени (1903). После начала русско-японской войны в 1904 году Б.И. Пиотровский был произведён в генерал-майоры и был назначен «со-



стоять в распоряжении командующего 1-й Маньчжурской армии для замещения должности начальника этапного участка». За службу в Маньчжурии Пиотровский был удостоен мечей к ордену Святого Владимира 3-й степени (1906).

Некоторое время он был в распоряжении Казанского военного округа, а после окончания войны, в 1906 году, назначен начальником Иркутской местной бригады. Деятельность его на этом посту также была отмечена орденами. 6 декабря 1908 года за отличия по службе Б.И. Пиотровский был удостоен звания генерал-лейтенанта.

4 апреля 1912 года Бронислав Пиотровский был назначен начальником Оренбургской местной бригады. 5 июня он прибыл на место и сменил на посту командира генерал-майора Верёвкина. Как следует из обнаруженного в архивах прошения Пиотровского начальнику штаба Казанского военного округа, его «перемещение в Оренбург» состоялось лишь спустя три с половиной года после подачи Пиотровским рапорта с просьбой о перемещении в Европейскую Россию.

Вот что писал в своём прошении Б.И. Пиотровский: *«Высочайшим приказом 20 марта 1906 года я был назначен начальником Иркутской местной бригады и тогда же со своей семьёй выехал к новому месту служения в г. Иркутск. Прожив два года в суровом климате, моя жена, страдающая болезнью сердца, и сын Александр, после перенесённой скарлатины страдающий воспалением среднего уха и через это потерявший слух, со-*

*вершенно оглох, начали чувствоваться неблагоприятные последствия сибирского климата и по настоянию врачей должны были в 1908 году возвратиться в европейскую часть... Прослужив в Иркутском военном округе три года, я в 1909 году просил ходатайствовать Командующего военным округом о перемещении меня на ту же должность, начальника местной бригады, в пределы Европейской России, дабы жена и сын Александр могли быть при мне...».*

Служба Бронислава Пиотровского в Оренбурге продолжалась около двух лет. На нём, как начальнике местной бригады, лежала распорядительная часть и общее наблюдение за уездными и губернскими воинскими начальниками. Кроме того, ему были подчинены, на правах начальников дивизий, местные команды и расположенные в бригадных районах конвойные команды, дисциплинарные части, военно-тюремные заведения, местные лазареты и т.п.

Результатом службы Пиотровского на Южном Урале стали успешные мобилизации запасных нижних чинов на фронты русско-японской и Первой мировой войн. В марте 1913 года он был удостоен медали «300-летие дома Романовых», а в декабре императорским указом произведён в генералы от инфантерии и одновременно отставлен от службы по возрастному цензу с выходом на пенсию. Однако руководить бригадой ему пришлось до прибытия (2 марта 1914 года) нового командира Оренбургской местной бригады генерал-майора Золотарёва.

## **БОРИС БРОНИСЛАВОВИЧ ПИОТРОВСКИЙ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ И УЧЁНЫЙ**

Борис Брониславович Пиотровский, сын генерала, родился в 1876 году в Красном Селе под Петербургом. Окончив Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус (который в своё время оканчивал его отец), он поступил в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. Ввиду выдающихся успехов в математике был направлен в Артиллерийскую академию, которую окончил с отличием в 1901 году. С этого времени началась педагогическая работа Пиотровского. Он преподавал математику и механику (а также артиллерию) в высших и военных учебных заведениях (кадетских корпусах).

Обнаруженный в архивах послужной список даёт нам более полное представление об основных этапах военной карьеры и преподавательской деятельности Бориса Брониславовича Пиотровского.

Итак, на службе Б.Б. Пиотровский находился с августа 1892 года. Ему последовательно присваиваются звания унтер-офицера, портупей-юнкера, подпоручика, поручика, штаб-капитана, капитана.

Будучи штатным преподавателем Николаевского кавалерийского училища в Петербурге (с 20.09.1903 по 20.02.1914), Пиотровский преподавал математику, механику и артиллерию. Юнкера этого учебного заведения называли своё училище «Славной гвардейской школой», в память о прежнем её названии (1823

– 1859). Школа была действительно славной: выпускниками этого училища были поэт М.Ю. Лермонтов, географ и путешественник П.П. Семёнов-Тян-Шанский, композитор М.П. Мусоргский.

К сожалению, тяги к точным наукам у юнкеров, учившихся у Пиотровского, не было. Современный исследователь Р.В. Смирнов указывает, что в особом почёте у них были занятия по верховой езде, вольтижировка, рубка и фехтование. «Сугубые» науки химию и механику юнкера считали бесполезными для кавалеристов. Среди них бытовало мнение: «Науки являются лишним весом, обременяющим всадника и лошадь». Более чем десятилетняя работа Пиотровского в училище, как и работа других преподавателей, была «увековечена» в «знаменитом» неформальном гимне Николаевского кавалерийского училища – «Звериаде»:

*«Прощай, полковник  
Пиотровский,  
С твоей механикой пустой...»*

Несерьёзное отношение юнкеров к точным наукам вызывало немало огорчения у преподавателя, обладающего большим талантом математика и педагога. Он прикладывал все силы к тому, чтобы привить строптивым юнкерам необходимые знания по своим предметам. О том, что преподаватель Пиотровский усердно трудился в Николаевском кавалерийском училище, свидетельствует награда, полученная им в декабре 1906 года – орден Св. Станислава 3-й степени.

20 февраля 1914 года началась

новая страница в жизни Пиотровского. В этот день он был назначен штатным преподавателем столичного Николаевского кадетского корпуса. Его труд в этом учебном заведении был отмечен орденом Св. Станислава 2-й степени. В феврале 1915 года Б.Б. Пиотровский был избран «непременным членом учебно-воспитательного комитета Педагогического музея военно-учебных заведений», а 8 мая этого же года получил очередную награду, на этот раз — орден Св. Анны 2-й степени.

24 августа 1915 года Высочайшим приказом перспективный офицер был назначен инспектором классов (заместителем директора по учебной работе) Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (ныне учебный корпус Оренбургской государ-

ственной медицинской академии на Парковом проспекте).

Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, история которого началась 2 января 1825 года, считался одним из лучших военно-учебных заведений России. Он был настоящей кузницей высококвалифицированных военных кадров. На протяжении всего своего существования кадетский корпус готовил и выпускал знающих своё дело и преданных Родине офицеров. Многие выпускники были отмечены высшими орденами Российской империи. На начало 1914 года свыше полусотни из них носили генеральские погоны.

Славился кадетский корпус и хорошим преподавательским составом. Назначение в Оренбург уже известного к тому времени учёного



**Неплюевский Кадетский корпусъ.**

и педагога Б.Б. Пиотровского свидетельствовало о заинтересованности военного министерства России в поддержании высокого уровня преподавания в Оренбургском «степном лицее». В ходе поиска удалось обнаружить архивные материалы, рассказывающие о пребывании Пиотровского в Оренбургском кадетском корпусе на должности инспектора классов с получением жалованья 450 руб. в месяц.

В приказе по Николаевскому кадетскому корпусу от 12 сентября 1913 г. приводится характеристика на учителя Бориса Брониславовича Пиотровского. В ней есть такие строки: «...педагог в лучшем значении этого слова, твёрдо убеждённый в том, что преподаватель непременно должен быть в то же время и воспитателем, он во всей своей преподавательской деятельности проводил в жизнь принципы воспитывающего обучения и достиг поэтому блестящих результатов».

В подшивках старых газет за 1917 год обнаружен номер газеты «Оренбургское слово» (12 марта 1917 г.), в котором опубликована заметка под заголовком «В Неплюевском корпусе». В ней сообщается: «От Неплюевского Корпуса избран в совет учительских Депутатов полковник Пиотровский...». Факт избрания Бориса Брониславовича депутатом от кадетского корпуса говорит о его высоком

авторитете в коллективе кадетского корпуса. А его педагогический талант ценили все — и коллеги, и кадеты, и руководство корпуса.

В 1918 году по распоряжению местного Комитета по народному образованию педагогическим Советом гимназии он был избран директором Оренбургской первой мужской гимназии на Николаевской улице (ныне ул. Советская, 19, учебный корпус ОГПУ).

Следует отметить, что в здании гимназии Пиотровский не только работал, но и жил со своей семьёй — женой Софьей Александровной





**Братья Пиотровские**

(дочь генерал-лейтенанта Завадского) и четырьмя сыновьями — Александром (1904), Георгием (1906), Борисом (1908), Константином (1913).

С началом Гражданской войны в России Б.Б. Пиотровский вновь возвращается на военную службу. Согласно приказу по Оренбургскому военному округу № 437 1918 года он был признан годным к строевой службе и в октябре 1918 года был направлен в распоряжение инспектора артиллерии Оренбургского военного округа. А мужскую гимназию, в которой Пиотровский был директором, постигла участь кадетских корпусов — в первые годы Советской власти она была закрыта. Вместо неё появилась советская трудовая школа.

В 1919 году Борис Борис-

лавович Пиотровский уехал в Петроград, а его жена с детьми переехали на время в казачий Форштадт. В 1920 году Пиотровские уехали в Петроград, сохранив об Оренбурге самые хорошие воспоминания. Позднее в своих мемуарах об Оренбурге вспомнит представитель третьего поколения Пиотровских — академик, директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский. Оренбургские воспоминания Пиотровского в его книге «Страницы моей жизни», безусловно, будут интересны любому оренбуржцу, но прежде хотелось бы вкратце напомнить о страницах всей

жизни этой поистине масштабной личности.

**БОРИС БОРИСОВИЧ  
ПИОТРОВСКИЙ —  
ДИРЕКТОР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭРМИТАЖА  
(1964 — 1990 гг.),**

Борис Борисович Пиотровский — известный археолог, исследователь истории и культуры Урарту, академик, лауреат Ленинской и Государственной премий, почётный член десяти иностранных академий, автор свыше 150 научных трудов, в т.ч. фундаментальных монографий по истории, археологии Закавказья и Востока. Почти шестьдесят лет жизни Б.Б. Пиотровского связаны со знаменитым Эрмитажем. Он пришёл

сюда в 1931 году рядовым научным сотрудником, а в 1964 году стал его директором и оставался на этом посту до самой смерти в 1990 году.

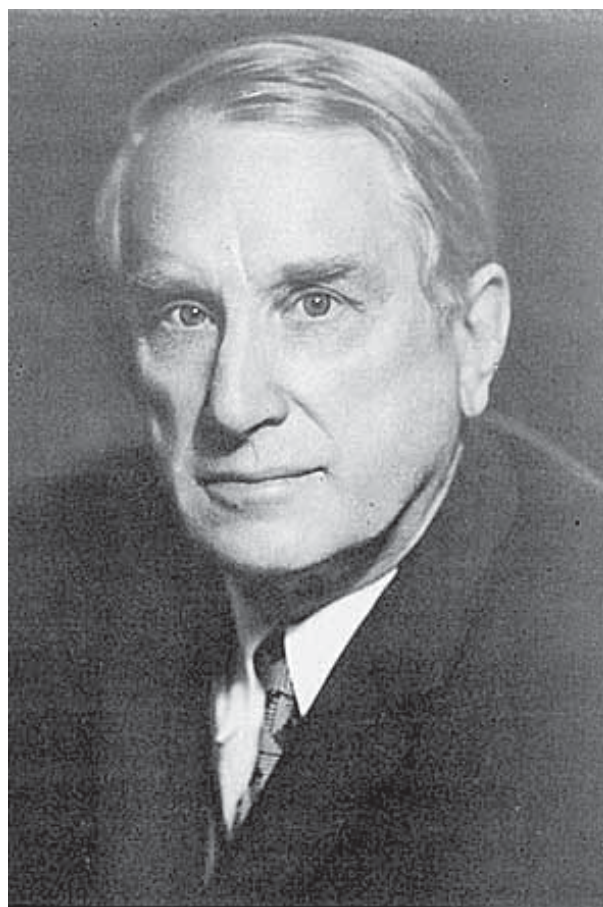
Борис Борисович родился 14 февраля 1908 года в Санкт-Петербурге. После того как отец получил назначение инспектором классов Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, семья Пиотровских переехала в Оренбург, где и провела первые годы революции и Гражданской войны. В Оренбурге Борис проходил обучение в гимназии. К этому же периоду его жизни относится и первое увлечение историей, которое было связано с местным музеем археологии и этнографии.

К началу 1921 года семья Пиотровских вернулась в Петроград. Три года спустя Борис Пиотровский поступил на факультет языка и материальной культуры (позже – историко-лингвистический факультет) ЛГУ. За пять лет обучения он работал в семинарах крупнейших учёных того времени: академиков Ф. Платонова, Н.Я. Марра, С.А. Жебелёва, Е.В. Тарле. В числе его учителей были известные учёные: И.Г. Франк-Камеицкий, Б.М. Эйхенбаум, В.В. Струве, С.Я. Лурье, Б.В. Фармаковский, Н.Н. Томасов, А.А. Спицын.

После окончания университета в 1930 году по совету академика Н.Я. Марра Пиотровский изменил направление своих исследований: вместо древнеегипетской он стал заниматься урартской письменностью. И уже в том же 1930 году состоялась первая экспедиция молодого учёного в Закавказье. Спустя год при поддержке академика Марра Пиотровский без прохождения аспирантуры стал работать в Эрмитаже на долж-

ности младшего научного сотрудника. С 1930 года он принимал участие в научных экспедициях в Армению, целью которых были поиск и изучение следов урартской цивилизации. В 1938 году без написания кандидатской ему была присуждена степень кандидата исторических наук.

Начало Великой Отечественной войны застало Пиотровского в экспедиции. Вернувшись в Ленинград, он пережил там блокадную зиму 1941-1942 гг., а затем с группой сотрудников Эрмитажа, возглавляемой И.А. Орбели, истощённый Пиотровский эвакуировался в Ереван. Даже в годы войны он не прекращал научную работу, результатом которой стала его первая книга «История и культура Урарту» (1943), которая принесла ав-



*Б. Пиотровский*

тору славу как одному из крупнейших специалистов по истории Закавказья.

30 января 1944 года в Академии наук Армянской ССР состоялась защита докторской диссертации Бориса Борисовича. В том же году Пиотровский женился — на Рипсимэ Джанполадян, с которой познакомился на археологических раскопках на холме Кармир-Блур города-крепости Тейшебаини в Ереване. Здесь же родился их первенец — Михаил, ставший впоследствии продолжателем дела своих родителей (нынешний директор Эрмитажа).

Пиотровского избрали членом-корреспондентом АН Армянской ССР, он получил Сталинскую премию второй степени в области науки и техники за книгу «История и культура Урарту». Вернувшись в 1946 году в Ленинград, Борис Борисович начал читать курс археологии для студентов Ленинградского государственного университета, в 1953 году Пиотровский перешёл на постоянную работу в Институт истории материальной культуры, возглавив его Ленинградское отделение. В 1964 году был назначен директором Эрмитажа и оставался на этом посту до 1990 года. За свою жизнь академик Б.Б. Пиотровский получил множество наград — звание Героя Социалистического Труда, три ордена Ленина, три — Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, ряд других орденов (в том числе иностранных) и медалей...

Он также получил звания заслуженного деятеля науки Армянской ССР (1961), члена-корреспондента Британской академии (1967).

Жена Бориса Борисовича Пио-

тровского — Рипсимэ Джанполадян-Пиотровская, известный советский и российский учёный, арменовед и археолог-востоковед, не оставляя научной работы в Институте археологии, Академии художеств СССР и в отделе Востока Эрмитажа, стала редактором трудов своего мужа, вышедших в свет после его смерти. Среди них — энциклопедическая «История Эрмитажа», дневниковые «Путевые заметки» и автобиографические «Страницы моей жизни». 1 сентября 2004 года верная спутница жизни академика Пиотровского была похоронена на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге, рядом со своим мужем.

В 1992 году в Санкт-Петербурге на доме 25 по набережной Мойки, в котором жил Пиотровский, была установлена мемориальная доска, а в 2008 году в нашей стране широко отмечалось 100-летие со дня рождения Бориса Борисовича Пиотровского. О нём говорили как о легендарной личности. Таким он и был, ведь редко кому из учёных удаётся найти целое государство, а он нашёл Урарту — древнее государство Армении. Не всякому руководителю удаётся оставить в наследство традиции, которым поклоняются его последователи и прямые наследники.

Созданное в крупнейшем музее мира, научное наследие Б.Б. Пиотровского сегодня оформлено в 500 печатных изданиях — монографии, статьи, каталоги и альбомы, автором и научным редактором которых он был. Он оставил в наследство 133 путевых и полевых дневника.

Мемуары, в которых запечатлён и оренбургский период Б.Б. Пио-

тровского, помогают восполнить некоторые пробелы о его жизни. Свои воспоминания Б.Б. Пиотровский назвал «Страницы моей жизни». Оренбургский период занимает в этой книге несколько страниц, но для нас, оренбуржцев, они бесценны...

### **ОРЕНБУРГ ГЛАЗАМИ ЮНОГО БОРИСА ПИОТРОВСКОГО**

*...Приехали в Оренбург в середине октября, в жару, в большую и просторную квартиру в здании кадетского корпуса, одного из самых крупных в то время зданий в городе. Питались первое время через кадетскую кухню, нам это нравилось, но родителям не очень. Поразил фруктовый базар у мечети, находившейся около корпуса. Пёстрая толпа в цветных халатах и тюбетейках, всё было чрезвычайно дёшево, и на выделенные нам копейки мы купили столько фруктов, что снести их не смогли, громадный арбуз пришлось катить.*

*В городе были и крупные магазины — торговый дом Хусаиновых, кондитерская со странным названием «Торт». Население города было многонациональным, и в корпусе Закон божий преподавали представители разных религий: православный священник, мулла и ксёндз. Вероисповедание для кадетов было свободным.*

*Очень рано утром мы спешили сесть на окно, чтобы посмотреть на караван верблюдов, который проходил мимо корпуса. Шли погонщики с вереницей нагруженных верблюдов, а между ними шли на-*

*рядно украшенные верблюды с паланкинами, где важно восседали купцы. Картина была увлекательная, но проход каравана длился очень долго. О таких караванах мы читали в книгах, и было интересно посмотреть их наяву. Кроме того, Оренбург нас привлекал тем, что он был связан с Пугачёвым, на площади между городом и казачьим пригородом Форштадтом стояла церковь, и на кладбище около неё мы выискивали могильные плиты пугачёвского времени, но их там не было. Площадь между Форштадтом и городом была настолько большая, что во время бурана (а они зимой были часты) приходилось проходить через неё вслепую. При снежной метели начинали звонить церковные колокола, чтобы помочь заблудившимся.*

*Оренбург. Революция.*

*В Оренбурге в 1917 г. мы встретили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Встретили восторженно, ходили с красными бантами, царь в кругах интеллигенции был уже непопулярным. Мы, дети, жалели только, что кадеты лишились погон, но скоро они были восстановлены, так как в ноябре 1917 г. атаман Дутов захватил власть в Оренбурге и установил военную диктатуру.*

*В январе 1918 г. Оренбург был взят красноармейцами, казаки отступили. Отец в чине полковника ушёл в отставку (май 1918 г.), оставил корпус и был избран директором Оренбургской гимназии. Мы переехали на главную улицу города в здание гимназии. Непо-*



далёку от гимназии было реальное училище, где директором был друг отца — математик К.А. Торопов. Жизнь в городе была беспокойная, дутовские войска были недалеко и совершали набеги на город.

Летом 1918 года через Оренбург проходили «голубые чехи», сочувствовавшие белогвардейцам, но их пропускали на родину. В садах Оренбурга, в так называемых собачьих садиках, около гимназии, чехи устраивали концерты и вечера, на которые стекалась «лучшая публика». В июле 1918 г. казаки Дутова снова захватили Оренбург и продержались в нём полгода, до конца января 1919 г.

...С чувством благодарности вспоминаю я учителя рисования гимназии Курашкевича, который, как я узнал позднее, был известным краеведом, производившим раскопки. Курашкевич любил заниматься с детьми, водил на экскурсии по городу и в городской музей, где нас более всего интересовали пугачёвские реликвии. Он ведал этим краеведческим музеем и предлагал ребятам выполнять работу сторожей. Мне очень хотелось работать сторожем в музее, но родители не позволили, что меня очень огорчило. Тогда я не знал, что впоследствии стану «сторожем» самого крупного в стране музея.

В январе 1919 г. власти атамана Дутова пришёл конец, и Оренбург был взят войсками Красной Армии, казаки отступили за Урал и держались там за рекой очень долго. С крыши гимназии были хорошо видны степь, появление казачьих отрядов и перестрелка с

красноармейцами. С этого времени мы остались жить с матерью, так как отец трудными путями отправился в Петроград. Из гимназического здания наша семья переехала в Форштадт, где мы сняли целый домик у жены казачьего офицера, ушедшего с белыми частями.

Мать преподавала в бывшей женской школе, и я стал учиться там же. ...На рынке становилось трудно с питанием, и в школе мы во время занятий получали кусок белого хлеба и чай. Выстраивались и большие очереди у хлебных лавок. Мой брат Юрий и его товарищи по школе взялись за организацию очередей. В библиотеке отца было много книг по военному делу, которые после 1914 г. совершенно потеряли своё значение, так как военная техника быстро шагнула вперёд. У этих книг ребята отрезали полоски полей, на них писали номерки и с вечера раздавали их покупателям хлеба. Ночью ребята дежурили, а утром с очередью было всё в порядке, давки не было как и протестов против их инициативы.

Зима 1919 года была тяжёлая, в нашем доме не было водопровода, и приходилось возить воду на санках. Я сильно обморозил ноги и руки и долго лежал дома один.

...Летом 1919 г. белые казаки капитулировали — начальство ушло в степи, а основная масса дутовской армии была разоружена и отправлена по станицам. На улицах Оренбурга стояла громадная толпа — нарушенный строй казаков. Конечно, мы побежали на них смотреть. Казаки стояли,



и педагога Бориса Брониславовича Пиотровского появилась мемориальная доска с именем его знаменитого на весь мир сына — академика Бориса Борисовича Пиотровского.

На торжества по случаю 100-летнего юбилея отца в Оренбург приезжал нынешний директор Эрмитажа академик Михаил Борисович Пиотровский, яркая жизнь и научные достижения которого, как и достижения отца, сегодня известны во всём мире.

**МИХАИЛ БОРИСОВИЧ  
ПИОТРОВСКИЙ —  
ДИРЕКТОР ЭРМИТАЖА  
(С 1992 ГОДА  
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ),**

Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армянская ССР), учёный-востоковед. Окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета, отделение арабской филологии (1961-1967 гг.). Стажировался в Каирском университете (1965-1966 гг., Египет). В 1973 году получил степень кандидата исторических наук, в 1985 году защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора исторических наук.

С 1967 года — сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения РАН СССР, прошёл путь от лаборанта до ведущего научного сотрудника. В 1973-1976 годах работал переводчиком и преподавателем йеменской истории в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен.

В 1991 году был назначен первым

заместителем директора, а с 1992 года — директором Государственного Эрмитажа. Член-корреспондент РАН (1997 г.), действительный член Российской академии художеств, член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Сфера научных интересов М. Б. Пиотровского — древняя и средневековая история Ближнего Востока, история Аравийского полуострова, Коран и ранняя история ислама, древнеаравийские надписи, эпические предания арабов, арабская рукописная книга, мусульманское искусство.

Он участвовал в археологических раскопках на Кавказе, в Центральной Азии, с 1983 года работал в советско-йеменской комплексной исторической экспедиции, сначала начальником отряда, а в 1989-1990 годах — начальником экспедиции. М. Б. Пиотровский провёл полевые исследования древних торговых путей, участвовал в раскопках древних городов и храмов, в этнологических исследованиях. Им опубликована серия работ по йеменской археологии и эпиграфике.

Особое внимание Пиотровским в этих работах было уделено изучению тех трансформаций, которые социально-политические системы Йемена испытали в конце доисламской эпохи и в раннеисламский период южноаравийской истории. Его работы по истории арабов регулярно переводились на арабский язык. Он читал лекции во многих университетах арабского мира, приобрёл мировую известность как арабист.

С 2001 года Пиотровский член коллегии Министерства культуры Российской Федерации, заместитель председателя Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, председатель Союза музеев России.

М.Б. Пиотровский отмечен многими государственными наградами: орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почёта — за заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного музейного дела, медалью Пушкина — в ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина — за заслуги в области культуры, просвещения, литературы и искусства.

У Михаила Борисовича Пиотровского много других званий и наград, среди которых есть и звание почётного гражданина Санкт-Петербурга, которое ему было присвоено 25 мая 2011 года.

На одну из встреч, посвящённых научным династиям Петербурга, Пиотровский пришёл с портретом своего отца Бориса Борисовича Пиотровского и со своим сыном Борисом, названным в честь своих знаменитых предков. У Бориса Михайловича Пиотровского, представителя пятого поколения Пиотровских, все достижения ещё впереди. Но то, что они будут, вряд ли можно сомневаться.



Алексей  
ИВАНОВ-ОГАРЫШ

## ЛЮБИТЬ БЕЗ ПРИКАЗА

*Из дневника церковностроителя*

*Часть вторая\**

*Алексей Петрович Иванов (Огарыш) родился в деревне Огарково Новгородской области в 1947 году. Окончил филологический факультет Новгородского пединститута, служил в армии на Плисецком космодроме, работал учителем в целинных районах Оренбуржья, журналистом областной газеты «Южный Урал», редактором в издательстве «Современник», заведующим отделом литературы в журнале «Литературная учёба» в Москве. Член Союза писателей России, автор более 10 книг публицистики, прозы и поэзии, дипломант Всесоюзного конкурса на лучшую книгу года (1983). Живёт в пос. Чагода Вологодской области, реставрирует сельские церкви.*

Сейчас ещё Боцман на уме. Но Боцман — рядовая фигура в бригаде церковностроителей, и если выстраивать их не по росту и не по весу, то куда его ни поставь, везде он будет кстати. Поэтому, Боцман, погоди, перекуси пока своим почервочком. Дойдёт очередь и до тебя, хотя, знаю, очередей ты не любишь. Да кто их любит! Я вообще-то время от времени, но мимолётно, занят природой и моральной тяготой материального долга. Вот мы молимся: «... и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим». Вернее, я молюсь и вру в молитве. Безгрешней вообще не молиться, чем молиться, как я молюсь. Должникам-то нашим я оставить и не могу. Печёнка не даёт. Под это я готов морально-нравственную базу подвести, с приличными ситуации и моему лицу примерами из моей же

\* Продолжение. Начало см. в ГД № 38, 39,40

практики. Нет Фёдора Михайловича, чтобы написать об этом жестокий роман. А я — что?! Я смогу передать только канву сюжета. Вот она.

Года два назад некто В.Н., мой коллега, ровесник, приятель, занял у меня на месяц четыре тысячи рублей. Этой суммы ему не хватило, чтоб рассчитаться с нанятым адвокатом. В.Н. судился с пенсионным фондом, который не засчитал ему «горячий» стаж. В.Н. процесс выиграл, пенсию ему выплатили за три восстановленных года. Озолотился мужик. А долг не отдал. Но меня ещё подбивал пойти по его стопам, чтоб и мне «горячий» засчитали. Я не захотел кровь проливать. Через год я его встретил гуляющим со своей собакой-телёнком, фон Батлером, на поводке. Я ему напомнил о долге, фон Батлер зарычал на меня, В.Н. обещал занести на церковь. Не занёс. Время от времени я вспоминал об этой занозе, однако напоминать ему о себе не считал нужным. Кто кому должен напоминать?! И вообще моральней должнику иметь память, а не взаимоотношения. И вдруг нос к носу сталкиваемся с ним в бане — оба голенькие, неотличимые друг от друга.

— В.Н.! — говорю ему. — Я тебя вычёркиваю из списка порядочных людей. Как ты на это смотришь?

Он вздрогнул внутренне:

— Ну, может, не надо? Я ж эти четыре тысячи в кармане ношу. Но вот в баню пошёл — дома оставил.

Врёт, конечно. Договорились, что занесёт на церковь. Не занёс.

Прошёл ещё месяц-другой. И снова встречаю его в бане. Я иду с веником в парилку, а он только что

намылился. Увидел меня, но в глаза мыло попало. Возвращаюсь из парилки — его и след простыл. Мыло-то хоть смыл с себя или так, намыленным, и убежал?

И тут образовалась для него ещё одна накладочка.

Я вышел в раздевалку остыть после парной (прекрасная баня в Чагоде!), а он надевает куртку. Минуты-другой ему не хватило, чтобы исчезнуть. По законам социалистического общежития тут должны были произойти взаимные приветствия, пожелания лёгкого пара, его извинения и очередное обещание прийти «на церковь». Ничего этого не происходит в эпоху криминального капитализма. Я сделал вид, что изучаю свои бледные ноги, он — что изучает пол под своими, одетыми на мыло, ногами.

Здесь уже речь не о долге — я не помру из-за него. Здесь речь о не-вещественном и бессмертном — о совести, которая оценена всего лишь в четыре тысячи рублей. Не совесть, а second hands.

Я сочувствую его терзаниям, если, конечно, он их испытывает. Но как же не испытывает, если был в бане и не помылся?!

Вот и живи, брате...

*...той самой малой малостью,  
Которую порабощён.*

Сам грех и есть наказание. Преступление и есть наказание. Больше того, человек только склоняется на грех, а уже наказан этим склонением. Наказание идёт впереди греха.

Отцы и братие! Не дерзайте оби-

жать поэта. Не ему, а вам скорби.  
Неужели трудно понять?!

*Румяная толпа! Поэта  
треплешь имя.  
Исповедимы ль для тебя  
его пути?  
Твои грехи он сделает своими,  
Тебе ж свои грехи сумеет бы  
понести.*

Да не оскудеет рука дающего.

Боцман — бывший член моей бригады. Вес 132 кг. Намерения — благие. Мечта — кожаный плащ до пят. Не гражданский даже, а собачий брак, но хочет избавиться. Любит хорошее общество и считает себя достойным его. «Я тут опустился в вашей Чагоде. Поговорить не с кем, в магазин хожу не переодеваясь. Другое дело в Николаеве. Наденешь костюмчик, галстук, в магазин пошёл. Во дворе под каштанами столы с домино, палатки с горилкой и бетербродик тебе с салцем. А тут?! Ну, выпить — это да. С Мишкой на берегу выпили пять бутылок. Мишка упал. Мишка, — говорю, — разве так пьют?! Надо закусывать, Мишка. Мне к бутылке давай почеревочек...

В отличие от Германа я любил слушать Боцмана. Мораль — чужда, но интересно. Он лет пятнадцать ходил боцманом по морям и окьянам, повидал белый свет, себя показал. Не он ли импортировал дикий капитализм в Советский Союз? Во всяком случае, Боцман, по его рассказам судя, — современный сколок таманского контрабандиста из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермон-

това и прообраз челнока с полосатыми сумками из 90-х гг.

Конечно, он не филолог, но чутьё к слову у него изумительное. Я с запозданием стал записывать его словечки, писал на картонной скатерти в таможне. Скатерть износилась, в печке сожгли. Вот кое-что, оставшееся в редкочаеистой памяти. Фамилию нашего губернатора Позгалёва он переименовал в Мозгалёва, без напряжения, напротив, методом упрощения. Боцман вообще напрягаться не любит. С фамилией вышло проще в произношении и точнее по смыслу. Финскую минвату «Урсу» он сразу же стал называть ворсой. Ворса — ворсистая, руки щиплет, в носу щекочет, в горле першит, когда работаешь с ней. Он любил птицу (пиццу), он уважал цивилизацию, ругал чагодошенский климакс, имея в виду климат, красил доски Пиночетом, в значении «Пинотексом», он даже молился Господней молитвой по-своему: хлеб твой несущий, вместо хлеб наш насущный, но не ереси ради, а ради простоты выговаривания.

Купил ли Боцман кожаный плащ до пят в своём благословенном Николаеве? Гоголевская «Шинель» бессмертна. Говорят, летом он навещал Чагоду (здесь у него мама и сестра), но ни носа, ни кошелек на церкви не показал. То ли сумма скопилась круглая и жалко от неё отщипнуть, то ли гол как сокол.

Последний из бригады, с кем я расстался, был монах отец (скажем) Нектарий.

— Чтоб я больше не слышал обличений! — так грозно запретил он мне критику его нерадивости.

Ах ты, ангел во плоти! — вскипел кипятком в натуре.

Я швырнул о. Нектария за церковную ограду. Но пороху, то есть урана моего, даже обогащённого яростью, не хватило. Снаряд, в центнер весом, не взлетел в поднебесную, как я ожидал в неразумии своём, а рухнул на кованые пики ограды. Ну, да и так хорошо! Я подивился ещё тому, насколько прочны подрыски из Софрино.

Вечером о. Нектарий пришёл с бутылкой дорогой водки и красной рыбой на закуску.

Мы, не перекрестя лба, сели выпивать.

О, как многошумяща и всезнающа снобствующая болтовня современного монашества! Но я-то, побрятевший десяток лет в шкуре послушника и скитоначальника, почитавший Святых Отцов на эту тему (а на другие они и не писали), насквозь видел его сиротство, в чём мы с ним оказались роднёй, неприкаянность его ни в миру, ни в скиту, боязнь его опустить очи долу, чтоб не обнаружить в ужасе бездну под ногами. В поднебесье зырит! Оттуда, видно, и напорошило.

Расстались мы с ним всё-таки дружески. Он занял денег и исчез. Видимо, с концами. Нет мудрости даже на уровне биосамосохранения: исчезать до того, как солнце правды о тебе взойдёт. Солнце правды о нём вошло и на Валааме — владыка Панкратий отказывает ему в возможности возвращения. Но есть ещё горы Кавказа, Чукотка, Мордовия. Что ему занюханная Чагода? — дать временный покой крылам, намозоленным о попутные ветры.

Варзин охладел к отцу Нектария задолго до моего охлаждения, хотя с первых дней появления монаха вспыхнули и порывистая любовь и велие ожидания. Варзин вкладывал в него как в перспективный бизнес: купил ему дом в Евфросиновой Пустыни, вдобавок на трейлере перевёз брусковой балок ещё дальше, за Пустынь, в живописнейшую глухомань, для летнего скита о. Нектария.

— Ты знаешь, — говорил мне Варзин, — он, в отличие от тебя, писателя, всё умеет делать: изразцы, художественную керамику, резьбу по дереву, деревянные скульптуры...

Исполать тебе, отче Нектарие!

С дачей в глухомани ничего не вышло — балок растрясали по дороге и его надобно было собирать на мох заново. Он догнивает на месте, в костре без прокладок. Дом и огород в Пустыни требовали хозяйского догляда и неленивых рук. Но батраков Варзин пустыннонику не дал. Наступили холода, и о. Нектарий метнулся на зиму к нам, в Чагоду.

— Используй его на всю катушку! — поручил Варзин.

— Что умеешь делать?

— Всё!

— Что хочешь делать?

Монах замялся.

Речь зашла об иконостасе. Я проболтался, что ведутся переговоры с подрядчиками, но пока всё зависло, несмотря на то, что Варзин заявлял о готовности заплатить миллион.

Отец Нектарий воодушевился необыкновенно:

— Слушай, так я дешевле сделаю! Ну, на восемьсот тысяч соглашусь. Меньше-то вряд ли — мне ж и



о грядущих своих годах позаботиться надо...

— В каком смысле?

— Как в каком?! — он удивился моему удивлению. — Кто ж обо мне позаботится?

Прямо скажем: ответ, достойный современного монаха.

Принюхивание продолжалось. Богословские темы опускаю, чтоб не утяжелять воспоминание.

— Небо в храме распишешь? На первый случай. А там посмотрим.

— Распишу.

Потребовались краски, разбавители, колонковые кисти, сусальное золото. Дали ему под отчёт 15 тысяч, отправили в Москву.

— Через три дня ждите!

Ждали его три недели.

— Привёз?

— Привёз.

— Покажи.

— Не доверяешь?

Началась вязкая полемика, за которой забыли спросить, почему у него — неделя, а у нас — день.

— Отчитайся по деньгам.

Снова — ворса.

Отец Роман, наш новый настоятель, Герман и я поняли, что к казённой сумме только что приложена постхристианская, то есть из нашего больного времени, мораль. Но отца Романа занимало главное: кто Нектария постригал, кто у него духовник, по чьему благословию он подвизается у нас. Это не вопросы КГБ, это в нашей среде как стакан воды выпить. Ворса. По кротости и смирению своему отец Роман оставил эти вопросы, то есть перестал их озвучивать. Правда, сделал выписку из Правил Четвёртого (Халкидон-

ского) Вселенского собора и попросил меня передать её о. Нектарию для вразумления.

«Правило 4

Четвёртого Вселенского собора

(Собор был созван в 451 году в городе Халкидоне против лжеучения архимандрита одного константинопольского монастыря Евтихия)

Истинно и искренне проходящие монашеское житие да удостаиваются приличные чести. Но поелику некоторые, для вида употребляя одежду монашескую, разстраивают церкви и гражданские дела, по произволу ходя по градам, и даже монастыри сами для себя составляти покушаются: то рассуждено, чтобы никто нигде не созидал, и не основывал монастыря, или молитвенного дома, без соизволения епископа града. Монашествующие же, в каждом граде и стране, да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри: разве токмо когда будет сие позволено епископом града, по необходимости. Да не приемлется также в монастырях в монашество никакой раб, без воли господина его. Преступающему же сие наше определение, определили мы бытии чуждым общения церковного, да не хулится имя Божие. Впрочем епископу града надлежит имети о монастырях должное попечение.»

Я отдал документ по назначению.

— Моё дело отдать, а дальше — смотри сам.

О. Нектарий покрутил бумагу в руках и отбросил в сторону:

— Вчерашний день.

Мы вернулись из Халкидона в наше сегодня и потому заказали о. Нектарию эскиз росписи неба, выставив обязательные вешки: византийский крест, обвитый виноградными листьями, церковнославянская вязь по кругу, присутствие обязательных цветов: зелёного (цвет преподобного) — виноградные листья, золотого — цвет духовных плодов, голубого — собственно небо.

— В натуральную величину?

— Да!

Начались, как пишут в романах, томительные ожидания. Всё что-то мешало нашему иконописцу, чего-то не хватало, что-то тревожило.

Наконец — смотрины. Ну, не скажешь же творцу, что у него не всё в порядке с чувством цвета и объёма! Потя и мямля, мы заказали второй вариант. Через месяц кончилось тем же. Делать нечего — поручили заняться резьбой на колонны паперти. Руку разрезал. Зажила — взяли в бригаду на общие работы. Выяснилось, что он не может работать с кем-то в паре или в составе бригады. Но и один он тем более работать не мог. А на перекурах — словесное недержание, по преимуществу в вопросах, где прилично безмолвствовать.

Я сидел, слушая, затем закипая. Потом слушать и закипать приходилось одновременно. Потом я закипал уже до перекура. Ему не было

дела до нас, до церкви, до работы — он навивал вокруг себя отвлечённый словесный кокон. Он знал всё: подноготную современных монастырей, сокровенные мысли на сей счёт Святых Отцов... — он не знал только себя.

*...Он странно образован и умён,  
Законы мирозданья разбирает,  
Но перманентно самообольщён,  
И сам себе творит закон,  
И очевидности не понимает.*

Изнашивает меня моя застарелая тоска по нормальному, хотя бы второразрядному, плотнику, способному самостоятельно выполнять задания. А тут постоянно: объясни — потом сделай сам. Нередко вспоминал я Сашу Логинова, ныне афонского монаха в греческом подданстве, его крылатые слова:

«Иисус Христос не был плотником, как ты, а был учеником плотника, как я.»

— Ну почему отец Нектарий Пустынь называет деревней? — изумлялся Герман. — Ведь это святые места, а не населённый пункт.

А потому!

Отец Нектарий купил машину, чтобы ездить в «деревню» на заготовку грибов и ягод. Осталась надежда на бизнес: закупить в Пустыни по дешёвке — достойно продать в Москве. Первая попытка неудачна: что выручил, то и прокатал. Из второй попытки он не вернулся.

Это — что?! Всего лишь мелкая спекуляция. С более крупной вышел облом. Он бегал с бумажками по районному чиновничеству.

— Отец, что за беготня?

— Да дом в деревне приватизирую.

— А зачем тебе это?

Судя по его выражению лица, вопрос был поставлен некорректно.

Но мы наседали.

План его был таков: приватизирует, вызывает комиссию, та убеждается, что дом надо ремонтировать и расстраивать, в результате дают ему бумагу на сто или двести кубов бесплатного леса, он его толкает налево. «Кто ж позаботится обо мне?!»

Его не смущало, что у него нет не только стажа оседлости, но нет и местной прописки. Он надеялся продавить.

Продавить не вышло.

Я устал изумляться: как дешёво, поверхностно, по-мародёрски воспринят дешёвый, поверхностный пафос современного мародёрства. Плоскость в плоскость, до диффузии, до саморастворения в этой соляной кислоте. Кем т а к воспринят? Монахом!!! Стреляются ли очнувшиеся монахи?! Но монаху не дозволено стреляться: самоубийство — это навеки нераскаянный и потому непрощённый грех. Кругом тупики, рогатки и халкидоны!

*Какая прорва расстояния  
Меж небесами и землёй!*

Это, братие, ещё только цветочки.

В Евфросиновой Пустыни подвизается ещё один монах. Но тот куда как круче о. Нектария. Тот, говорят, на приём к питерскому меценату, у которого дача в Пустыни, ходит в облачении схимника. Схимонаху не откажешь. Однажды по

этой тропе шмыгнул и о. Нектарий (двух маток сосать вернее), меценат не отказал и ему. Первый понял, что он не единственный. Финансовый поток превратился в дельту! Монахи подрались. Да какая такая драка, говорят в «деревне», потолклись да за бороды друг друга потаскали. Пыль только подняли. Но если б были монахи бритыми и не касались ногами пыльной дороги?! То-то и оно.

О, святой преподобномучениче и чудотворче Евфросине, наставниче монахов и собеседниче ангелов! Моли Бога о нас грешных!

Доски штабелюю — воображение без работы. И рисуется картина пред безмысленными глазами: над Синичьим озером, над Вещей лужей, над полупрозрачной лёгкой фигурой седовласого старичка в белом облачении, путешествующего, не касаясь стопами праха земного, из Старой в Новую Пустынь, над часовней с мироточащей иконой с ликом этого старичка, над десятками древних могил старцев-схимников, над чертоломными полянками вырубленных заповедных боров, под высоким небом незамутнённого богородичного цвета клубится полая пыль, — то два названных монаха, родом из третьего тысячелетия от Рождества Христова, сцепились в бабьей драке. Цель: зарегулировать дармовой денежный поток.

Но там дела посерьёзнее фарса. Схимник (назвался груздём — полезай в кузов) своим ходом ездил в Москву с жалобой на местную епархию. Местная же епархия виновата тем, что не может добиться от схимонаха ответов на вопросы: откуда? что? зачем? и почему? Но отец

схимник решительно и самостийно строит колокольню. По мне так пускай бы строил, — чей бы бычок ни был, а телятки-то наши. В 2012 году — 400 лет со дня кончины преподобного Евфросина, умученного польско-литовскими мародёрами. В празднование 300-летия, как сообщила дореволюционная «Нива», в Пустыни собралось 50 тысяч паломников. А мы чем хуже?!

— Я — засланец! — говорит о себе схимонах. В значении то ли посланец, то ли лазутчик. Я переспрашивал у слышавших это объявление: может быть, он картавит, как Ильич. Нет, говорят, плешив, но не картавит.

Плохо то, что, на мой сторонний взгляд, крутой монах сколачивает вокруг себя партийку, оппозиционную епархии, и ссылается на благоволение к его трудам неведомых старцев. Если так, то в этом никакого новья. Вбить клин между иерархией и старчеством — замшелая задача в попытках раскола. И чего людям неймётся?!

*Тихо сиди в келье своей —  
В этом твоё движение.*

«Сиди не сиди, а не нальют.» Сем-ка я затащу первую партию в церковь, хоть один придел укомплектую. Взял брус на плечо, да не тут-то было. Какой же дурак (ясно — какой!) эту паперть строил, кружев повесил: стукни невзначай, зацепи слегка — лопнет узор. Паперть на три схода, но ни северным, ни южным не вывернешь — брус шестиметровый. Остаётся западный. Включай, Лёха, заднюю, выруливай, чтоб твой

прицеп не закинуло. А всё одно, на плече не занесёшь — побьёшь задним концом бруса узорный карниз. Ладно: волоком! Но и волоком нельзя — покарябаю ступени и пол площадки-моста. Вдвоём-то чтоб не жизнь?! Один с одного конца, другой, само собой, с другого. И — как по маслу, как рюмку с водкой о. Нектария: «ию — туда, а она ишшо дальше!»

Через некоторое время всё-таки приспособился: положил наклонно строганные половые доски, по ним — брус за брусом, а сам вместо толкача. Сама пойдёт, сама пойдёт, эй ухнем.

Но ухнуть не успел, как на меня Михал Иванович насел.

— Поедем, — говорит, — пообедем магазины, где ящики для пожертвованных. Два месяца уж не выгребали.

— Чего-то, — говорю, — мне твой глагол не нравится.

— Нравится — не нравится, а поехали.

— Поезжай с Татьяной, а крючок свой я так и так поставлю, сколько б ни насчитали.

Согласился — видит, что от меня пар валит. Михал Иванович мужик понятливый.

Мобила в кармане запела — кому ещё понадобился?

— Петрович, здорово! Это Роткин.

Это директор МК, на чьей территории раздели наши штабеля. И не с наводки ли самого Роткина? Ему солома дороже. То есть к разговору я уже подготовлен.

— Нужна консультация специалиста. — Чую: врёт, льстя, льстит,

вря. — Я заеду за тобой. Посмотри, что можно поправить.

— Так, может, и поправить?

— Так и я об этом... Ты не сомневайся — с Варзиным согласовано: тебя перекинуть с церкви на время.

От таких звонков — бежать на вокзал, на поезд «Подборовье — Хвойная».

— Слушай, любезный! Вот когда согласишься с Папой Римским, которого кличут Бенедиктом, тогда уж... Жду звонка!

Нужна ли, думаю, церковь Чагоде?! Хоть бы кто-нибудь когда-нибудь удивил, придя на субботник. Правда, когда собирали сруб на мох, было несколько дней многолюдно — это Варзин приказом по заводу отправлял к нам белые воротнички. А вот если добровольно, самому догадаться — дудки. Помню: в первые годы восстановления Левочской церкви на субботники собиралось до полусотни и более человек — работу приходилось выдумывать, чтобы всех занять, никого не обидеть. Это потом уж, после того, как в бронзового идола лбами, до искр, до тошноты по причине сотрясения мозга, настучались, — отпали. А тут — с первого дня пустыня. Не Евфросинова Пустынь — пустыня. Но — спрашивают:

— Да когда же достроите-то?

— А что, в церкву охота?

— Охота.

— А в часовню чего носа не кажешь?

— Дак то часовня.

— Литургия — везде литургия.

— Чего?

Тем не менее политэкономическая выгода из недостроенного хра-

ма, всего лишь с цветной картинки его, извлекается ловко и вовсю. У Германа в его холостяцкой комнате висит предвыборный плакат двухлетней выдержки. Как женился, так и повесил, и время замерло с тех пор. На плакате — кандидат в главы района: в пиджачке, при галстучке, простоволосый, а над ним — купола в снегу. Как ему не холодно раздетому зимой?! Может быть, стыд подогревает? Мы просили у кандидата 2 (два) куба доски-пятидесятки. Именно такого пустяка нам не доставало, чтобы догрузить вагонетку и поставить её в сушилку. Для предпринимателя, промышлявшего между прочим и леском, тем более пустяк. Не дал! Это была единственная просьба к нему, прозвучавшая со строительства церкви, на фоне которой он спроворил крутую карьеру. Народ наш русский и в этом смысле с русской простотой, которая, как я уже отмечал давеча, все ещё не за шеломом еси, — плакат народу понравился. Кандидат стал главой района.

Партию водки выпустили с картинкой нашей церкви, невтерпёж было ждать, когда мы леса уберём. Так, с лесами, и на бутылку (однако почему-то без портрета кандидата), на прозрачной наклейке, видной только сквозь водку. Но в этом фокусе, сдаётся мне, особого замысла не было, — так получилось. Водку с нашей церковью расхватили мгновенно. Куда мгновенней, чем бесплатные предвыборные плакаты кандидата. Электорат невольно противопоставил церковь и государство, отдав предпочтение церкви.

Не успел я и десятка брусьев в

церкви уложить, как возвращается Михал Иванович.

— Угадай, сколько оприходовали.

— Тысяч пятьсот. На пол-иконостаса.

— А не хошь три тысячи с копейками?

— Не хочу.

Что-то с нервами моими не тоё. И Иисусова молитва не помогает. Но ведь она, Лёха, помогает, когда ею молишься.

Ну, чтобы был Герман!

Хочешь потерять друга — жени его. В паспорт Германия не заглядывал я ни разу — хватало взгляда на Периодическую таблицу Д.И. Менделеева. Но сдаётся мне, что он сменил свою фамилию Леонтьев на Натальин. Конечно, у любого женатого человека жизненные, а то и мировоззренческие предпочтения терпят редукцию на понижение. Но тут что-то аномальное. Не храм Евфросина Синозёрского, а «домашняя церковь». Опасаюсь небезосновательно вот чего: не подменить бы домашнюю церковь языческим капищем. Иль уж опоздал опасаться?! Безвольный телёнок на одристанной верёвке. Жизнь долу — бесконечная, безблагодатная череда животновытовых обстоятельств — и больше ничего.

*Во поле диком  
Одиноким криком  
Разорваны уста.  
Ни отзвука доселе —  
Лишь эха маета.  
То о соборном деле  
Томится русская мечта.*

Ожила перпетум-мобила в кармане: номер незнаком, в память введены только деловые партнёры — доска, брус, полушпальник, крепёж да «какой же ты, Петрович, дурак!» (цитата из Варзина).

— Оренбург. Кожевникова Наталья. «Гостиный Двор».

Наталья Юрьевна! Радость ты моя. На фоне сумрачного дня. Тем большая радость!

— Вышел второй номер с продолжением «Приказано любить». Пока только сигнал. Тираж будет позднее. Послала вам письмо. Вы — удивительный человек и тексты ваши удивительные...

Я не догадался уточнить: в положительную сторону удивительный или в отрицательную. Но моё сомнение авторитетно мне сказало: в положительную! Скорей всего, по этой причине, а не по недогадливости, и не уточнил. Чего уточнять-то?!

Когда схлынула радость от звонка... Тут бы радость-то свою и проанализировать. От продолжения публикации радость или от грудного тембра и переливчатых интонаций голоса с противоположного конца России? То-то же! Или: же то-то?

Замечу с чувством новизны: нет пророка в своём Отечестве. Строки любви к малой родине печатаю на другом краю Отечества. Малая родина к моим руладам безмятежно глуха.

*В родном углу стареет  
блудный сын  
И слышит в спину о себе:  
«Олёха!»*

Он был и есть погоста  
   их акын —  
 Он книги пишет им, да, видно,  
   плохо.

От Нобелевских премий  
   отказался он,  
 Лишь только б не угрюмились  
   сельчане.  
 Олёха кинет их, уедет  
   на Сион,  
 Чтобы Петровичем в Сионе  
   величали.

Пророка нет в Отечестве  
   своём,  
 И мрут, как мухи,  
   председатели Земшара.  
 Петрович! Песню новую споём:  
 «Отечество моё! Ты мне  
   не пара».

Поразмышляв, сказал себе: если в положительную сторону удивительный, то опровергаю это не словесно, а всем своим сегодняшним отрицательным опытом, его ропотным, саркастическим даже оскалом. В таком состоянии не храм строить, а тюрьму. Какое мне дело до ваших какашек, господа бывшие соратники, если я сам «якоже бо свиния лежу в калу, тако и аз греху служу»?! Паситесь мирно — у каждого свой выпас, и неизвестно ещё, чей благодатней. Ин суд человеческий, ин суд Божий. А жизнь нам дана, если уж до упора, только для того, чтобы приобрести кротость и смирение.

До дыр износил слова Амвросия Оптинского: «Познай себя, и хватит с тебя», — а в глубину смысла так и не нырнул. Самому-то себя

познать и невозможно, — о чём ты, старче?! Сейчас только сверкнуло. Падшесть моя, то есть я сам, самовитейший сам, живёт, как микроб, только во влаге смазки духовных люфтов. Иначе она не может, иначе ей смерть. У-у, как приятно бывает споткнуться о себя и упасть! Счастливой мордой в грязь! Меня тянет вниз. Вверх я должен тащить себя за волосы. Ну-ка, начни кусать себе пальцы, чтобы привести себя в адекватное себе состояние! Ага-а! Тайная пощада к себе, постановка себя над, как в несчастное сегодня, лукавство твоё, искренне выдаваемое за искренность, слепота твоя и глухота к собственному греху, да мало ли изверченности в воображаемой твоей вертикали. «Человек есть бесполезная страсть» — Сартр.

Но! И это только сейчас пришло: сознание греховности твоей не от тебя же, а от Господа. Насколько Он мне приоткроет мою гнусность, настолько я её и способен увидеть. И, сдаётся мне, что Он приоткрывает понемногу, чтоб я не ужаснулся самому себе и по слабости своей не лишился чувства самостояния. То есть чувство греховности моей не от догадливости, строгости взгляда на самого себя или чего-то иного моего, а от Господа. В конце концов, Он же меня ведёт, а не я Его.

Это «праведность» моя — от меня. Да от внушений лукавого. А лукавый сеет только в неочищенное сердце.

Святые Отцы даже у гробовой доски вопили о своих грехах. Антоний Великий считал, что он последним будет в аду. Да и все из великих так считали. Они, может, и велики-

то прежде всего сознанием великой своей греховности, потому что все — от Адама. И истязали себя только лишь с тем, чтоб открылась пред очами их унаследованная ветхость Адамова. Они жизнь положили на то, чтобы в отличие от падшего мира выработать адекватное к себе отношение. А адекватное к себе отношение — это чувство ранга, это чувство несоизмеримости между падшестью в себе и возможным ангельским житием, это любовь к Богу, а потом уж к себе и то не всякому. Мы ж и любить-то себя не умеем. Любим прах свой, а не небо, возможное под рёбрами.

И вот ещё: Господь открыл им их греховность по силам их, сколько могли понести. А уж они-то все были в этом смысле тяжеловесы. Боженька не жалел блинов на их духовные штанги.

Я понесу немного, и Господь знает это обо мне лучше меня и потому любовно щадит.

То есть и в познании самого себя без Господа мы не можем «творити ничесоже».

Куда, с каких достатков взлетать мне грешному?! Да, «праведность» моя от меня, а не от Бога. И чувство полёта, братцы мои, — без Бога. О, как опасно ходим, тем более — летаем!

Вот припру я на Страшный суд скрипты свои. Чемодан в правой руке, чемодан в левой — пот с лица не утрёшь.

— А чего он упрел-то так?!

— Что за кирпичи он приволок? «Искирпичим кирпичи и изжжём их жжогом»?!

— Экой дурак и нарцисс!

Это ещё в притворе.

— В чемоданах что? Твои добродетели?

Ну-ка, попробуй ответь на этот вопрос. И «да» не скажешь, потому что будет явная ложь, и «нет» сказать духу не хватит.

— Молчишь...

— Это скрипты мои.

— Что значит: «скрипты...»?

Ангелы, побледневшие мои адвокаты, пояснят:

— Это...

— Я... Я хотел, — ухватываюсь за ангельскую подсказку, — я хотел своим опытом исправить человечество, повлиять... чтоб любили...

— А себя ты исправил?

— Не знаю, Господи.

— Как может неисправленный исправить что-то, что больше его?

— Господи! Я ничего, оказывается, не знаю. Чувствую лишь то, что я любил Тебя, любил творение Твоё, мир Твой... Каюсь: может быть, больше, чем Тебя. Но ведь Твоё всё, всё от Тебя, что я любил... Сосновую ветку за окном любил и хотел, чтобы её полюбили и другие. Господи!..

Я ещё не знаю, что будет дальше...

Во мне нет середины. Во мне только детство и старость. Моя середина — это греховная плоскость без чувства греха. Но чистое детство в далёком прошлом, чистая старость — её прожить ещё надо, если Господь скажет: «Живи покуда...». Ах, как права сухолжинская синица за окном: обещана жизнь вечная, но не завтрашний день, тинь... дзень...

Таким путём подошёл я к выводу, что меня нет.



Не для слабых нервов такое. А ведь так хочется быть уверенным, что я есть. В чём черпать эту уверенность? В чём, в чём?! В сочинении себя, жизни своей, вообще жизни. Ага — писательство! Творить иную реальность, что укрепляет благостные иллюзии насчёт себя и своих окрестностей.

Своё безответственное «я» вывести в беллетристические офшорные зоны и возродить его, лукаво видоизменив, в ответственное «Он»! Беллестрифика! Меня от неё давно тошнит. А ведь это закон художественного творчества. Правда, он установлен не Там, а здесь, самими «творцами». Эти офшоры, конечно, можно использовать, но только с залогом исполнения написанного. Се: сказочки. Вообразить и записать фантазию легко, а как её воплотить в реальности, на деле? Последние двадцать лет моё невольное правило — не исполнение написанного, а запись исполненного. В этом нет моего сознательного выбора, так сложилось. Литература — это не профессия. Это способ жить. Но жить и в литературе можно по-всякому. К тому же я не живу ни литературой, ни, тем паче, в литературе. Если я её и касаюсь, то касаюсь только моим трепетом о моём пути. Куда он ведёт? К спасению или к гибели? То есть если и литература, то как пошопок в дорогу или как молитва о спасении. Ну, ещё как «сокровище духовное, от мира собираемое».

Что — «творчество»?! Высшее творчество — это не искусство писать, это искусство жить. Духовные стихи вырастают из духовного опыта, а не из православной риторики.

Из «фу-фу» вырастает фуфло. Что наживёшь, тем и поделишься.

Жанры... Какие жанры?! Жанры изжиты. Остался в живых (и он никогда не умрёт) единственный жанр, как древнерусская литература, то есть её слова и летописи, — жанр души, стремящейся к Богу. (Лёха! Убавь пафос — ты не на трибуне, а в таможне под заснеженным кустом сирени.)

В литературе будущего, как мне сейчас представляется, не будет места ни литератору в нынешнем, секулярном, его виде, пишущему в рот критику, ни собственно литературному критику, поднаторевшему в механике и мертвечине анализа: разборы жанров, сюжетов, характеров и типов, приложение законов стихосложения к незаконнорождённому стиху. (Ёлы-палы! Я изучал основы стихосложения в школе, институте, закреплял на литературной чиновной работе, а спроси меня сейчас, где тут ямб, где хорей, — покраснею и спрячусь под партой. Но я, который не спрятавшийся, не застыжусь ложным стыдом, поскольку утраченная способность краснеть существенней утраченного мёртвого знания.)

Вместо иллюстрации: у «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона нет ни автора-литератора в нашем общепринятом смысле, ни литературного критика, не было ни гонорара, ни жажды славы, ни имени на титуле. Почему?

Литература — от литеры, то есть буквы, словесность — от Слова. Всё стащено из слова в букву! Буква мертва и, значит, родить из себя ничего не может, пока не оживёт в сло-

женин с соседками в слово. Не своей волей найдёт и совокупится, но как дух захочет, который брат Словоу. А «дух дышит где хочет».

Я, братие, за словесность.

Карман затрепетал. Мобильник — круглосуточный гость непрошенный. Говорун непредсказуемый. Номер незнаком.

— А.П.? Это №. Помните: я заходила к вам, а вы сидели с мужчиной в чёрном. Вы обещали позвонить, но не звоните.

Что-то надо мямлить в ответ.

— Вы бы знали, как холодно! — и через паузу. — И некому согреть. И вы не звоните.

Что-то надо мычать. Такое без ответа не оставишь.

Она искренна и решительна. И, правда, намёрзлась в своём одиночестве.

— У вас коммунальная конура с печным отоплением, и та служебная, лестница кошками провоняла, у вас быта нет. Как вы живёте?! А у меня квартира в пятиэтажке, дом в леспромхозе. Сын отдельно живёт. Что мешает-то?!

Она намёрзлась, а горит меня обогреть, — великая бабья самоотверженность!

Я обещал позвонить.

Помню: мы сидели с о.Нектарием, его водочку с красной рыбкой вкушали. Раздался стук в дверь и на пороге появилась она. Возраст — полста с хвостиком. Худошава, стройна. Лицо явно не кукольное — следы пережитых скорбей. Она была в гостях у моей соседки Нины Яковлевны, видимо, состоялся обо мне подогревающий разговор, и вот — решилась...

Она трусила от своей смелости, на щеках румянец играл, она, как бы не замечая третьего, то есть о.Нектария, говорила об одиночестве, её и моём.

Я обещал позвонить.

Мой возраст ищет не в своём поколении, он похотливо изучает тридцатилетних. И трепещет перед их цинизмом. Но — похоть. И предположение дилеммы роковой: или кончить или кончиться.

А тут? Тут, видимо, бытовое да душевное взаимно, прежде всего дружба, как между Беларусью и заблудшей в своих бескрайних просторах и лабиринте чуждых мыслей Россией (первой влиться во вторую и воссиять над ней).

Я живу в воздержании уж полтора десятка лет — добровольный монашеский обет, как бы в наказание за прежние свои распутства. Обет хоть и добровольный, а формален. Глаза мои, воображение — не целомудренны. На всех стогнах града я — болезненно чуткая мембрана от изящества изгиба женской линии. Изгибаюсь вместе с женской линией. Это эстетизм придушенной похоти. А кто, как сказано, посмотрел на женщину с вожделением, тот прелюбодействовал в сердце своём. Но в нежданной гостье я сквозь линии увидел человека, искреннего в намерениях, чистого. Однако из этого ничего не вытекает. Она хочет объединить, слить наши одиночества. А слить-то их и не удастся, если даже оба захотим. Её одиночество — следствие стечения обстоятельств. Моё — добровольное и желанное. Её одиночество как проклятие. Моё одино-

чество как блаженство. Как ей это объяснить?!

...Она сидит за трапезой наискок и смотрит на меня материнским взглядом.

— Любимый сын, хоть и дурак, — читаю вслух её взгляд.

— Почему?! Умный, — возражает она.

— Умный, но любимый?

— Ага!

По годам она значительно моложе меня, а смотрит на меня как на сына. Удивительная материнская нестраченность! Такой взгляд не только Чагоду — всю Россию согреет. Это Верочка, Вера Павловна — регент нашего церковного хора. Она создала его из ничего. Хор поёт очень даже прилично, временами (заповеди блаженств, херувимская) до мурашек по коже, до повлажневшего взгляда. Однако убери её из хора — и опять ничего. Иногда, стоя в церкви, физически ощущаешь, как Вера тащит его на себе, своим интонационно богатым голосом. В трудных местах даже рука её поёт, дирижируя, подсказывая каждой певчей свой глас. Со временем я разгадал её загадку: Вера поёт верой! А вера — это любовь созидаящая.

В такие вот минуты думаешь в порядке бреда: может быть, бригаду церковностроителей набрать из женщин — Вера Павловна, №, соседка Нина Яковлевна. Храм они не топорами — любовью своей взметнут в небеса.

Перчатки от снега набрякли, руки как крюки. Пойду в таможню, погреюсь перед Страшным судом.

Буржуйка прогорела, ни уголька. Ищу растопку. Франц Кафка, «Дневники». На треть, а то и на половину раскурочена. Вырываю несколько листов, а сам глазом кошу: что у соседа на обед? Невероятно!

«Вопрос о дневнике — это вместе с тем и вопрос обо всём в целом... Невозможно всё сказать и невозможно сказать не всё. Невозможно сохранить свободу, невозможно её не сохранить...»

Лёха! Прежде чем сжигать книги, читай их. Ты не халиф Омар, который сжёг Александрийскую библиотеку, потому что в ней не было того, что было в Коране. Это же именно то, над чем и ты колотишься, безъязыкий.

Печка разгорелась, листаю дальше: мелочи местечкового быта, заготовки к рассказам, сценки, диалоги, поток сознания. И — снова обухом по лбу:

«При известной степени самопознания и при других благоприятствующих наблюдению за собой условиях неизбежно будешь время от времени казаться себе отвратительным. Любой критерий хорошего — сколь различны бы ни были мнения на сей счёт — будет представляться слишком высоким. Придётся признаться себе, что ты являешься не чем иным, как крысиной норой жалких задних мыслей. Даже малейший поступок будет зависим от этих жалких мыслей. Эти задние мысли будут такими грязными, что, анализируя своё поведение, не захочешь даже продумать их, а ограничишься взглядом на расстоянии. Эти задние мысли будут обуславливаться не каким-то, скажем, корыстолюбием, —

корыстолюбие по сравнению с ними покажется идеалом добра и красоты. Грязь, которую обнаружишь, будет существовать во имя самой себя, ты познаешь, что явился на этот свет насквозь пропитанный ею, из-за неё же, неузнанный или слишком хорошо распознанный, отойдёшь в мир иной. Эта грязь будет самым глубинным слоем, которого только можно достичь, но этот самый глубинный слой будет состоять не из лавы, а из грязи. Она будет началом и концом, и даже сомнения, которые породит самоанализ, очень скоро станут столь же вялыми и самодовольными, как свинья, валяющаяся в навозной жиже.»

Необыкновенно талантлив литературно, умён, психологически тонок и глубок, глубок до самой донной грязи, но в силу поверхностного своего жидовства безблагодатен. Замкнутая психологическая модель, без неба над головой, без упования на промысл Божий.

Обезбоженный самоанализ (хорошо хоть не психоанализ по Фрейд) говорит тебе: «Ты отвратителен!» И дальше не идёт, вернее, выше не поднимается. А дальше (по плоскости времени) — пожалуйста: из-за неё же, этой грязи в себе, отойдёшь в мир иной. Уныние (смертный грех), безнадёга, поскольку грязь твоя «...будет началом и концом». Это не покаяние с надеждой на восстание из праха, это сладострастная констатация.

А вот из святоотеческого: «земля еси и в землю отыдеш» или «человек — скоромимопроходящее зловоние». Казалось бы, разделяют тотальную унылость Кафки, раз-

мазывают человека. Как бы не так! У Кафки человек — грязь. Грязь «...будет началом и концом». У Святых Отцов человек с двойным Божиим призывом, сначала в мир, потом из мира в вечность и ещё начало и конец — сотворение мира и второе пришествие Господа. Одно — земля, другое — небо. И масштабы несоизмеримы, поскольку первое (Кафка) всеяно мелким бесом, второе — Богом.

Человек — «крысиная нора жалких задних мыслей». Это — снизу. А сверху (апостол Пётр) — «Вы — царственное священство».

И вот, таким образом растопля буржуйку, я получил повод додумать недоговорённое.

Что ты стенаешь, несуть человеческая?! Господь дал тебе Веру, способность и условия распознавания Истины. Дан тебе такой талант, который выше всех кичливейших на земле талантов, который не надмевает, не сеет уныние и который никто у тебя отнять не может.

Талант этот — вера в Бога. И он не от моих заслуг, а от щедрот Божиих. Любовь Божия... Что может быть дороже на свете?! И — удивительно! — самое дорогое бесплатно. Что дорого, то за просто так. Когда я забываю об этом, тогда впадаю в уныние и говорю себе вслед за Кафкой: «Глупый, гнусный я человек...» Но это не риторика плоскости. Потому что:

*С недавних пор, в судьбу  
вперяя  
Вдруг ставший дальнорорким  
взгляд,  
Всё благодарно принимаю,*

*Всему, что ни случится, рад.*

*С тех пор покоем — даже*

*ветер*

*И тишиною — колокольный*

*звон:*

*Я был рождением отмечен,  
Я целой жизнью награждён!*

*За что блаженство мне*

*такое —*

*Как на восходе — на закате*

*дня?!*

*И эта радость — надо мною,*

*И это счастье — сверх меня.*

Пора, однако, на обед. Хлеба и зрелищ трудящемуся человеку! В буквальном смысле. Тем более что всё рядом. Из булочной — в видеомагазин. Там я две недели назад купил диск с фильмом Александра Прошкина «Чудо» — призёра православного кинофестиваля под крылом «Радонежа» и заказал ещё два из того же ряда: Веры Сторожевой «Скоро весна» и Хотиненко «Поп». Последний снят, скорее всего, по заказному одноимённому роману Александра Сегеня об отце приснопамятного патриарха Алексия—Второго.

В магазине тесно от ряби разноцветных «ёлок» с подвижными лапами, увешанных «игрушками» современной киноиндустрии. Взрослых покупателей — раз-два и обчёлся, между «ёлок» водят вожделевающие хороводы подростки, сопливые ещё совсем, но до срока изжившие темы пиратов и приключений, затаившиеся сосредоточенно на теме «потрахаться», не самому, так хотя бы подсмотреть. А тут — виртуальный бордель средь бела

дня! Плохо, что мамкиных денег негусто.

— Дяденька! Дай десять рублей.

На диск не хватает.

— А какой диск купить хочешь?

Просьба увяла.

Стол продавца завален новыми поступлениями, не разобранными ещё по сусекам. Глянул я на этот развал, бьющий в глаза и ниже, и ещё раз убедился, что безнадёжно устарел и возрастом и мироощущением. Груды силиконовых грудей и взломанных задниц, изношенная зимняя резина влагалищ и задних проходов, змеиные клубки перевитых тел в невероятных позах. О, юная Россия! Вот твоя столбовая дорога в половые извращения и досрочную импотенцию. Всё как по нотам. На флейте половой трубы.

Возле стола — долговязый продавец-консультант в бейсбольной шапочке с козырьком на глазах.

— Я заказывал...

— Помню. Но пока нет. Приходите через недельку.

— Третий раз прихожу.

— Приходите в четвёртый. Вы единственный с таким заказом. Из-за одного диска... Сами знаете.

— Так приходите? Или безнадёга?

— Ну, что вы меня достаёте?! Ваши заказы никого не интересуют, кроме вас.

— А это, — показываю на стол. — Это интересует?

— Это колышет всех. Народ любит хорошие фильмы.

В его утверждении я не расслышал иронии. Парень на своём месте. Удивительно: цинизм не распознаёт себя цинизмом.

Вчера вечером я наварил большую кастрюлю борща. Я готовлю редко, но готовлю много, чтоб надольше хватило и чтоб погуще — первое и второе в одном лице. Быт должен знать своё место, с чем, как только что убедился, не согласна №. Вот и первый раздор. А мы ещё не начинали. Да и не начнём, конечно. Другого мнения моя соседка, засраб культуры РСФСР, Нина Яковлевна, но с борщом моим согласна. Она дегустирует, и если много и вкусно, то зовём на обед её дочку Татьяну и внучку Вику. Они живут отдельно, но, бывает, приходят. Сегодня пришла Таня.

— А.П.! Я надулась вашим борщом, как барабан, — в мою дверь просунулась лукавая сорокалетняя мордочка.

— Подойди — проверю.

Действительно, брюшко округлилось, но я представил себе, что содержится под этой упругой линией, и руку убрал.

— Вам не плотником работать, а поваром.

— И гладиатором.

— Хи-хи.

Шлепок по заднему лекалу — кыш!

Вика, внучка Н.Я., дочка Тани, не ест, а клюёт, как птичка, причём не всякая. У меня богатый опыт наблюдения за трапезой пернатых. Над таможней у нас висит пластиковая бутылка-полторашка с вырезанными оконцами для малых птиц. Насыпаем на дно зёрен или мелко раскрошенных сухарей. Воробьи налетают в драку — не обед, а братское побоище. Новые русские — что с них взять. Чёрной молнии

подобны вороны и галки, но — фи́га два. Мы тоже не лыком шиты. Наши любимые бомжи — синицы, у них как-то целомудренно и благоговейно, будто за церковной трапезой. Глядя на них, я вспоминаю Сухолжино.

### **Синичий свист**

*Мои домашние ручные птицы:  
Сороки, галки, дятлы, воробьи.  
Но всех роднее звонкие*

*синицы —*

*Мажорные будильники мои.*

*И хоть умри, но не Эдема  
Взыскует здесь синичий*

*свист —*

*Окно в морозных диадемах,  
Ребристый шифер серебрист.*

*А свист её так чист и тонок,  
Так целомудренно беспечен он,  
Что дятел-эпигон спросонок,  
Из дерева выстукивает звон.*

*Господь послал мне птичье  
стадо,*

*Летучих белок на коньке  
И сосен, дышащих отрадой, —  
Как букв святых в Патерике.*

Нет, это не то.

Вот что то:

### **Синица**

*Были,  
были*

*и были.*

*Были  
и убыли*

*Есть,  
есть*

*и есть.*

Есть ли?  
 Бог вестъ.  
 Будут ли,  
 будут ли?  
 Ответь мне,  
 синица,  
 ответь!  
 Нету,  
 нету  
 ответа.  
 Обещана  
 Жизнь  
 вечная,  
 Но не завтрашний  
 день.  
 Тинь...  
 Дзень...

Синичка Вика — мисс Чагода, 90х60х90, кроме всего прочего. Посылали её на конкурс красоты в Череповец, но вернулась с обидой: куда там хрупкому чагодощенскому стеклу до череповецкой «Северстали».

— Вика! — говорил я ей в утешение. — Очень хорошо, что ты там не победила. Стала бы мисс Череповец... Мистер Череповец — куда ни шло. Ну, с твоим-то изяществом, какой ты мистер?!

Вика, поразмыслив, утешалась. Она — девочка здравомыслящая в отличие от своей бабки.

Бабка не в здравомыслии, бабка — в полоумной любви, которая в очах Божиих неизмеримо выше всяческих наших дозированных здравомыслий.

У Нины Яковлевны кошка Пуха и кот Вася. Пуха — это неустанная родильная машина. Ещё не определена судьба полдюжины котят, а Пуха уже снова непраздна. «Определить

судьбу» — это морально-нравственные терзания, и чтоб решиться на т а к о е, надо сперва настрадаться. Пуха в возрасте, кажется, климакс пережила, потому как три месяца с последних родов — и ничего. Зато стала гадить на кухне.

Нина Яковлевна извиняется за неё:

— Ветеринар сказал, что у неё от старости и от многочисленных родов мускулатура ослабла. А на укол я не решусь, эвтаназия — то же убийство.

Пуху, и правда, жалко, в отличие от кота Васи. Пуха серьёзно и добросовестно осуществила замысел Божий о себе. Но Василий! Мы с Германом, бывало, втихаря выписывали ему пендаля — не с целью на путь истинный наставить, просто утолить классовую ненависть. Более хитрого, вальяжного, подлого, трусливого кота мы с Германом не видавали. Удивительно: как удаётся ему в одной морде совмещать барскую вальяжность и клиническую трусость! В котях, как и в человеках, всего много.

— Мужики! Да поглядите вы на моего котика, — говорила нам не раз Нина Яковлевна и бережно открывала дверь в свою комнату. Мы заходили и видели подлого актёришку Васю на хозяйкиной подушке: левая лапа под щекой, правая прикрывает утомлённые от неги и лени глаза. Но сон тревожно чуток: сквозь лапу завидя нас, Вася пулей слетает с подушки и оказывается глубоко под кроватью. Нина Яковлевна неодобрительно смотрит на нас. А мы — что?! Мы — ничего. Нас пригласили — мы посмотрели.

Если бы я не видел, что кушают Пуха и Вася, я б не задавал сострадательного вопроса: чем и как питается их хозяйка? Ну, грибок и ягодка из леса, ну, картошечка и капуста с огорода, бомжпакетик из магазина. Правды ради скажем, что всё это, кроме бомжпакетика, регулярно перепадает и мне на дегустацию. Ничего генномодифицированного! Но кошки! Через день — магазин: ледяной куб рыбы, «Кити-кет» и «Вискас», молоко. Вася нечищенную рыбу не ест, с блюдца «Вискас» не ест, надо насыпать на пол, чтобы он с кислой мордой похрустел неряшливо, поразбрасывал по кухне. Под ногами взрываются мины-говёшки этого деликатесного корма.

За входной дверью, на лестничной площадке круглосуточно дежурит рыжий непомерно толстый бомж-кот. Отпихивай его ногой с прохода, наступай на него — не чувствует. Рыжий анестезирован запахами с кухни. Открой резко дверь, и он мордой упадёт на порог — совсем сомлел от запахов и ожиданий. Он знает: Нина Яковлевна сейчас вынесет ему рыбки головы и хвосты, потом подметённый после Васи «Вискас», потом остатки молока. Умяв всё это, Рыжий опять замирает толь пушистым столбцом моего стиха, толь языческой каменной бабой. Нина Яковлевна для проверки открывает дверь — Рыжий в летаргии падает ей в ноги. Нина Яковлевна понимает это, как просьбу о доппайке, и выносит ему остатки щей. И щипы исчезают в разношенной раздобрешей плоти.

У бомжа нет уверенности в завтрашнем дне и потому аппетит безмерен.

— Да сколько ж тебе надо-то! — привычно изумляется Нина Яковлевна и снова идёт на кухню поскрести по сусекам.

А там и собачки застучали коготками вверх по лестнице. Тут работы много. Но работа эта всласть. Ворон пшеном из магазина кормить — это как?!

«Блажен, кто милует скоты.»

Мой письменный стол многофункционален, и я его в последнее время перестал бояться. Долго за ним не усидишь, потому что слева стена покрыта пушистым инеем. Ну что бы раньше догадаться: валенки, тёплый комбинезон, меховая безрукавка, — сиди, пока не высидишь какой-никакой «мемуар». Перестройка на новое время года всегда с запозданием, как и вообще любая перестройка, тем более с ускорением. Так вот стол. Две трети стола — бумаги, книжки, приёмник, лампа, ноутбук, принтер. На подставке от лампы — изящный берёзовый кляч под лаком с воткнутым в него не менее изящным топориком, тоже деревянным. Я такого не смог бы сделать, у меня б не хватило ни терпенья, ни мастерства. Это подарок отца Романа, его собственное рукоделие. Я не устаю любоваться этой тонкой, любовной работой — не перевелись ещё Левши-плотники на Руси. Кстати сказать, у отца Романа дома овчарка на цепи. Её появление знаменательно и сродни чуду. После смотрин только что купленного дома в следующий приезд отец Роман обнаружил в пустующей собачьей будке двух-трёхмесячного щенка. Рабочие, определив пол, дали ему



кличку — Кризис. Кризис прижился и теперь уже громадный, но слишком добродушный овчар. Откуда и как он появился, никто не знает, кого отец Роман ни спрашивал. Все поняли, что это добрый знак.

Правая треть стола — как бы обеденный стол, обозначенный мобильной скатёркой с воображаемой надписью: «Трапезная». Границы между функциями стола незыблемы, визовый режим суров.

На скатёрке борщ в миске, из борща — пар и ложка, и то и другое — вертикально. Хлеб нарезан, чеснок начищен. «Благослови, Господи, яство и питье раба Твоего имярек, яко благ и человеколюбец! Аминь.»

До женитьбы Германа мы жили с ним коммуной. Сбросились по две тысячи на месяц и не всё смогли проесть. Герман с общим нашим коштом ходил в магазин, я готовил. Если бы Герман не женился, мы бы к этому моменту стали олигархами, хотя бы в пределах улицы Революции, — наши миллионы нажиты бы были честным трудом и экономной экономикой.

Когда я ем, то глух и нем. Но радио России прорывается и к глухонемым. До половины первого изо дня в день — лохотрон, мощная, пробивающая железобетонные толщи реклама «Биокорректора». Это, как убеждают, многофункциональный, простейший в обращении для любого чайника чудо-прибор, который диагностирует и излечивает на клеточном уровне абсолютно все болезни. Я слушаю и думаю болезненно, что в наше чудодейственное время деньги могут всё, даже больше, чем может

«Биокорректор». Они могут и бездарного врача сделать талантливейшим публицистом. А талант подкупает. И я купился! Отчего ж, думаю, не подлечиться?! Возраст и изношенность — они тово. Сейчас я, слава Богу, здоров и вынослив. Но это пока работаю на церкви, где помогает благодать. А вот закончу церковные дела и рухну. Внутреннее моё подсказывает мне, что это последний мой храм и вместе с ним, его окончанием, что-то навсегда оборвётся во мне: то ли отношение к жизни, то ли сама жизнь. Такой итог подсказывает мне «внутреннее моё»... маловерие. Собственно, на маловерных и направлена эта мощь. Я позвонил в Москву по вбитому в сознание телефону. Снял трубку врач-консультант по фамилии Евтушенко. Первым делом я попросил его передать привет Жене.

— Вы что, издеваетесь?! — возмутился Евтушенко. — Я всего лишь однофамилец.

Евтушенко расспросил меня о жалобах на здоровье, я спросил его о цене «Биокорректора».

— Льготная цена — двадцать тысяч. Деньги вперёд. Мы получаем и тотчас же отправляем прибор вам.

Чагода меня высмеяла:

— Да тебе четыре месяца работать на этого кота в мешке. Да ещё и не пришлют. А и пришлют, так игрушку... Какой же ты наивняк!

И мне расхотелось.

Но сейчас-то я опять про это слушаю и опять начинаю вибрировать.

— Аль купить?! Здоровье-то дороже денег.

В сущности, это не проблемы здоровья. Это проблемы веры. Человек, в данном случае я, не то что не доверя-

ет сердечной декларации «всё в руке Божией»... Если б только это. Человеку Бог в тягость. Человек стремится к освобождению от Бога даже в молитве к Нему. О, это подлое «Я»! По слову отца Александра Шмемана, нет большего мучения, чем «Я». В Левочке, сдаётся мне, я искал для себя порабощения извне, чтобы освободиться от порабощённости самим собой. Порабощение извне отвергнуто, порабощение самим собой прижато к сердцу. Как тут без «Биокорректора»?!

Вторая половина обеденного часа — «От первого лица» с говоруньей Натальей Бехтиной во главе. У неё удивительный и, видимо, высокооплачиваемый талант забалтывать проблемы. «Поговорим сегодня, ну, скажем, как бы это почётче сформулировать, о проблеме, да, видимо, так, о проблеме детской, скажем, беспризорности...» Поговорим слегка, в союзе с журналистским циничным сердцем, но с проплаченной задней мыслишкой о необходимости ювенальной юстиции... Тут всё по Францу Кафке, всё из «крысиной норы». Я дремлю после обеда под этот отрегулированный словопоток — он меня не колышет, поскольку знаю, откуда ноги растут. Дремать во враждебной обстановке?! Так я же русский, хотя кровь моя не испачкана ни ляхо-литвой, ни другим игом — ордынским, ни тем паче третьим. Однажды только я провёл эти минуты бодро, как молодой ополченец, когда был приглашён Зюганов. Он чётко раззюганил, раскатал по брёвнышку. Хоть что-то да наше...

Стук в дверь:

— Петрович! Час уже без пяти, а

вам и дела мало. — Нина Яковлевна с контролем.

— А вы почему с работы сбежали? За мной подсмотреть?

— Да-а-с! Да ещё на концерт. А в библиотеке — минус два.

Что в первую голову прокомментировать: концерт или минус два?

По мере поступления информации.

Я изумлялся этой её любви к концертам, вечерам, народному театру, «слёту работников культуры» и прочая и прочая.

«На пенсию вышла в прошлом тысячелетии, а всё ещё скачет да прыгает...»

Одно я понимал и, значит, одобрял: День Победы, Красная площадь Чагоды, георгиевские ленточки, от напёрстка пьяненькие ветераны, гром оркестра над акварельной зеленью берёз, Герман с торжествующим гласом трубы, Валера с баяном во главе оркестра (плотники мои — знай наших!) и Нина Яковлевна в защитной гимнастёрке с солнечными пуговицами под горло и с поварёшкой у солдатского походного котла. Она наливает наркомовские сто грамм, отваливает по мискам фронтовой каши.

— Да подходите ещё-то! Мало ли что — не ветераны. Зато соседи.

Ну, театр — понятно. Артистка народного театра. Переставь слова и — народная артистка.

А любовь к концертам с каких таких недостатков? Что ни говори, всю жизнь в чагодощенской субкультуре, — советское родимое пятно. Но, как оказалось, не только и далеко не столько это. Сама уже не пляшет, так дочка и внуки. Дочь Та-

тьяна — хореограф, внук и внучка — танцоры. Ясно: умильную слезу пролить, экзамен принять, трёхпоколенное единство, ею выпестованное, зафиксировать в очередной раз. Выше задачи нету!

Отсюда вытекает и минус два в библиотеке леспромхоза, где Нина Яковлевна работает. Внук — студент-очник, внучка — студентка-заочница. И там и там платно. Ну-ка, раскошеливайся, бабка!

— Книжки в инее, сколиоз нажила, а перед начальством ни гу-гу...

— Попробуй «гу-гу», дак и вылетишь. Кому сейчас пенсионеры нужны?! Молодые, вон, без работы сидят. А так, худо-бедно, три тыщи платят.

Она ещё подменная уборщица на автостанции. Тоже три тысячи. Там — в тепле, но, увы, изредка, на случай отпуска или болезни основной технички.

Но зима не вечна. Зиму только пережить. А жить-то в полную силушку летом и осенью. Велосипед, набирушка на багажнике, противоэнцефалитная прививка и — по лесам просторного, обильного контекста Чагоды. По мере созревания: черника, лисички, брусника, клюква. Не для себя — на сдачу, за бесценок. Бесценок — внукам-студентам, многосотенные проценты барыша — новым русским. Вынуждена и их кормить, коль вскормила, не крохами в отличие от внуков.

*Большие люди не работают  
За маленьких за нас, —*

поёт не только Вологодское радио. Поёт и Нина Яковлевна, причём

полным текстом, с первыми двумя строчками, которые на радио спотыкаются о цензуру.

Сентябрь, октябрь, а то и ноябрь, если ледяная корка на мху не слишком толста, Нину Яковлевну ищи на болоте. Клюква — вологодское самородное золото, уценённое донельзя: 30 рублей килограмм. Рада и этим слезам, потому что клюквы на всех хватит, а сноровки брать — не занимать.

По вечерам её, чуть живую, но бодрящуюся, привозит с болота Татьяна. Если я дома, то поднимаю мешки на второй этаж. Приходится судорожно делать вид, что мешки не тяжелы. К ноябрю тонна была нашошена и сдана.

Между делом — огород, заготовка лекарственных трав, домашние закрутки, а тут ещё свитер не довязан («ну, да зима впереди!»). Где похороны, там Нина Яковлевна, где печаль и скорбь, там и она. Утешить, соплю утереть, рассудить по правде, на чистую воду вывести... Она как моя покойная двоюродная сестра Таня, чагодощенская разновидность её. И вот, братие мои, должен я заявить со всей ответственностью, что это жизнь не с краешку, вскользь по окружности, — это жизнь в эпицентре взрыва, добровольный, не волевой и потому неосознанный выбор жить так, а не иначе. И это не суетность и не суета, это саморастворение в ближнем. Это Христова любовь, жертвенная, без понимания жертвы, как истинное смирение, не осознающее себя смирением. Господь с нею рядом, хотя она и не воцерковлена в обычном и рутинном нашем смысле. Так и вертится на языке: не в церкви

нынешней ищи христиан, они — соседи твои.

Мобильник звонит, на дисплее «Варзин В.Ф.»:

— Петрович, здорово! Я в Москве, в частной клинике. Замучили обследования и процедуры. Дорого, но здоровье дороже! (Где я такое недавно слышал?! — **А.И.-О.**). Слушай внимательно: пора строить колокольню! (Мы ещё и не обедали, а уже ужин предлагают. — **А.И.-О.**) Скорей всего, благовест будет в десять тонн. Поэтому внутри колокольни мы сделаем металлический каркас — усечённый конус типа высоковольтной мачты. (Металл с деревом не дружит. Металл будет плохо влиять на колокольный звон. Колокола с металлом могут попасть в резонанс. Колокольня XVIII века, вернее, попытка её воссоздать, и индустриальные конструктивистские технологии, — мало нам печального опыта с металлической этажеркой в Кижях... И так и далее. — **А.И.-О.**). Колокольня должна быть выше храма, звон должен долетать до любого уголка Чагодощенского района, чтоб ни одного беса в районе не осталось. (Задача насчёт изгнания бесов из района явно непосильна; из-под собственных рёбер бы сперва... — **А.И.-О.**). Твоя задача: обсчитать потребное количество леса, ну, там длина брёвен, толщина, сколько штук. Не мне тебе объяснять. Сядь сейчас же и считай. Будет готово — передашь в отдел снабжения завода. (Через пять минут выполнить! Легко сказать: обсчитать колокольню. — **А.И.-О.**). Кстати, о заводе. Вот когда его продам, у меня будут деньги,

и я смогу финансировать не только колокольню, а весь церковный комплекс. Построим братский корпус. Там будет всё: трапезная, гостиница, воскресная школа, приходская библиотека и твоя трёхкомнатная квартира. Хотя трёхкомнатной-то тебе много. Двухкомнатная...

— Я согласен и на однокомнатную, — с невидимым по мобильнику смирением говорю я, напрочь выпуская из поля зрения, что это очередная морковка впереди осла. Эта морковка ещё дальше от моей морды, чем все предыдущие. Да если и сбудется сия маниловщина... Я полюбил жизнь частного человека («в тихом домике жизнь коротать»), а тут предлагается явно противоположное: снова служебное жильё, снова жизнь под рентгеновскими лучами не только прихода, но и всей Чагоды, снова двусмысленность предлагаемой роли и постоянная припаханность не собственной мыслью, а чужой волей. Впрочем, этот трепет не означает ли страх Каина во мне — каждый может убить его? Каин совершенно одинок и навеки скорбен.

— Вот-вот. Однокомнатная, но чтоб кухня там ещё была. Чего тебе твоё Сухожнивье?! Ну, будешь туда иногда заглядывать. А так — и после окончания комплекса будешь здесь. Милое дело — сторож, звонарь. Эх, для звонаря ты уже стар. Ну, обучишь кого-нибудь.

Удивительно: Варзин, как бы в противоречие прежде сказанному, вспомнил свой родительский дом, который и я сегодня вспоминал, в другом, правда, контексте.

— ...Там ляжешь на печку, смотришь на потолок, а ты его с дет-

ства помнишь и знаешь. Вот этот сучок я изучал, когда меня батя побил... Сейчас там Аркаша всё перестроил, но всё равно... В детстве меня избаловали, не то было воспитание, я на всю жизнь остался капризным и упрямым. Я в первом классе учился, а Морозов — в десятом. Я его дразнил: «Мороз — красный нос». Он меня поймает в раздевалке, прижмёт к стене: «Будешь обзываться?!» А я: «Мороз — красный нос». Он меня колотит, а я: «Мороз — красный нос». Ты скажешь, что характер проявлялся. Как бы не так! Это капризность моя наружу вылезала. Она по сей день вылезает.

Ах, Варзин! Как умеешь ты разоружать вооружённых до зубов! Где моя злая утренняя публицистика?! Улетела, не оставив ни пятна, ни вони.

Все мы учимся на чужом опыте непонимания смысла и необходимости поскорбеть. Жёсткий закон: вознёсся — Господь уронит, и неважно, чьей рукой. В себе и окрест ропот, трусливые самолюбивенькие восстаньца... Мамка отшлёпала за то, что на стол с ногами влез. А не понимает — за что, не понимает, хнычет и замышляет умереть, чтоб раскаялись все окрестные. Самому покаяться? Да ты что?! Лучше умереть, но — как бы понарошке или с письменной и заверенной гарантией непременно воскресения.

*Но как же ей хотелось жить,  
Всей жизни той, которой жил!*

Почему-то всегда — там, но не здесь. Но там что-то было, теперь

этого «что-то» нет, — а знать мы об этом не хотим.

Бумага любит отлежаться — это гениальная фраза русского чиновничества. В её гениальности я многожды убеждался на собственном опыте. Пускай полежит до вечера. А сейчас не терпится мне начать разборку лесов. Они вид портят, они — мощный экран для влаги небесной, от них мокнут стены. Да и не нужны они теперь, поскольку все верховые работы закончены. Это видимые причины для предстоящей работы. Но есть ещё и невидимые, которые кишат на мусорном моём дне и которые руководят подпольно, втихаря, причинами видимыми. Как ни крутись, а жопа сзади. Один из этапов покаяния: убедиться в том, что она действительно сзади, и сокрушённо, вслух и публично, признаться в этом.

Так вот — признаюсь: мне хочется удовлетворить своё тщеславие — мне хочется полюбоваться храмом во всём его незамусоренном изяществе. Если бы не я его строил, а кто-то другой, испытывал бы я такое нетерпение?! То-то и оно! Уж если до конца — то до гнилого доньшка, то выдавлю из себя, что храм я строю «во имя моё». Декларации, конечно, иные, и устаёшь себя за руку схватывать. Но как не схватывать, если фарисейство моё в моих «духовных» руководителях?! А я ещё полемизировал с Кафкой насчёт «крысиной норы»!

*(Окончание следует.)*



## ВЕЛИКИЙ ПРОЛЁТНЫЙ ПУТЬ, ИЛИ «БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО» ЗАУРАЛЬЯ

(Беседа главного редактора альманаха «Гостиный Двор», члена Общественного совета при управлении Росприроднадзора по Оренбургской области Натальи Кожевниковой и известного орнитолога, заведующего кафедрой зоологии, экологии и анатомии Оренбургского государственного педагогического университета, кандидата биологических наук Анатолия Давыгоры)

### *След человека*

*Степь да степь.  
Сияющая синь.  
Дымчатую чуткую полынь  
Тронешь и она благоухает.*

*Тишина стоит из века в век,  
Синяя, громовая, густая.  
Тут прошёл недавно человек,  
И как будто в воздухе растаял.*

*Но слегка примятая полынь  
От его следов благоухает.  
А кругом сияющая синь,  
И живая бабочка порхает.*

*Ю. Кузнецов*

В самом деле, в серебряном мареве, колеблющемся над зеленовато-белыми волнами ковыля, почти не видны ни машины, ни люди, а гул моторов совершенно не слышен в монотонном, закладывающем уши гуле ветра и той объёмной тишине, которая бывает на очень больших открытых пространствах — в пустыне, море... Целеб-



ный воздух степи вдыхаешь взахлёб и с непривычки пьянеешь. А вверху только бледное солнце и облака, да птицы — какие, нам горожанам неведомо. Поэтому лёгкую зависть вызывают те, кто в степи чувствует себя как дома. Несколько лет назад вместе с фотохудожником Владимиром Соколовым и главным государственным инспектором Оренбургской области по охране природы Леонидом Сторожуком мы целый день провели в степном Зауралье. И уже тогда поняли, как велик и раним мир живой природы...

**Н.К.** — *Анатолий Васильевич, вы один из участников совместных исследований с коллегами из ЮАР, Германии, Великобритании по глобально редким видам птиц, председатель Оренбургского отделения Союза охраны птиц России, и главное, научный куратор и руководитель работ по созданию биологического заказника в Оренбуржье. Длительная борьба учёных, специалистов, экологов за создание этого заказника закончилась так, как она и должна была закончиться — победой разума над корыстолюбием?*

**А.Д.** — О том, что Светлый — уникальный озёрный район, было давно известно. Но мы долго ничего не могли предпринять, пока в стране в середине 90-х не началась акция по выявлению ключевых орнитологических территорий, проводимая Союзом охраны птиц России в сотрудничестве с подобным международным союзом. Голландцы профинансировали работы в России, в том числе и в нашей области. Озёра Оренбургского степного Зауралья — место отдыха пролётных птиц. Они занимают в системе трансконтинентальных миграций птиц Евразии очень важное место. Свыше столетия известно, что птицы летят здесь по трём основным маршрутам: Эмбинскому, Илекскому, Уральскому. Весной эти три гигантских миграционных потока, насчитывающие миллионы пернатых, сливаются у города Орска (подобные пункты известны у орнитологов под названием «бутылочное горлышко») и в едином русле следуют далее на восток — северо-восток, «растекаясь» затем на огромных пространствах Западной Сибири.

При этом озёра Шалкар-Ега-Кара,

Давленколь, Караколь и другие оказываются первыми крупными водоёмами на их пути. Именно здесь птицы совершают остановку для пополнения энергетических ресурсов. А на обратном пути осенью отдыхают перед транзитным броском на Каспийские зимовки, Средиземное море, Западную Европу, Северную Африку.

В период осенней миграции здесь можно наблюдать до 300 тысяч гусей и 15 тысяч редких краснозобых казарок. Картина изумительная! На протяжении нескольких часов огромные стаи садятся и взлетают не только на озёра, но и на прилегающие поля шлейфом в два-три километра длиной. Конечно, они иногда наносят ущерб сельхозпроизводителям, но тут уж ничего не поделаешь. Мы не в силах изменить привычные маршруты птиц. Кстати, в Европе средства, которые идут на охрану природы, нередко передаются на погашение такого ущерба.

**Н.К.** — *Как известно, места эти давно облюбовали охотники самого разного ранга и немалое количество браконьеров, набивавших*

*раньше гусями свои машины доверху. Но причина создания здесь заказника была не только в браконьерстве?*

**А.Д.** — Конечно. Даже само посещение рыбаками, местными жителями мест гнездования или пролёта птиц — это уже беспокойство для последних. Организация заказника проходила довольно трудно. Целых четыре года шла борьба с людьми, которым очень не хотелось, чтобы такой заказник появился. Тогда большую помощь учёным оказали координационный экологический совет области, Росприроднадзор, председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов В.Ф. Куксанов, президент Союза охраны птиц России В.А. Зубакин, глава администрации Светлинского района В.И. Нефёдов, его заместитель В.Н. Курганов, главный государственный инспектор Оренбургской области по охране природы Л.И. Сторожук. Последний и стал в 2007 году первым директором биологического заказника областного значения «Светлинский». Был сформирован штат сотрудников, закупле-

на техника, егерская служба приступила к охране орнитокомплексов.

**Н.К.** — *Чем отличается заказник от государственного заповедника?*

**Степные  
«тарпаны»**







**Организаторы заказника (в первом ряду слева направо):  
А.В. Давыгора, Л.И. Сторожук, В.И. Нефёдов, В.Ф. Куксанов**

**А.Д.** — В заказнике, в отличие от заповедника, где полный запрет на посещение территории людьми, кроме персонала, службы охраны и учёных, смягчённый режим, разрешены все виды деятельности, которые не наносят ущерба основным объектам охраны. Мы согласились на выпас скота и регулируемое рыболовство в определённых водоёмах с выдачей лицензии. Кстати, губернатор области (в то время — А.А. Чернышев — **Н.К.**) долго взвешивал «за» и «против», прежде чем подписать постановления о заказнике, потому что, как человек государственный, воспринимал все идущие к нему сигналы от нас, учёных, и от природопользователей. Но надо отдать ему должное. Будучи не учёным, а хозяйственником, он, несмотря на то что его некоторые отговаривали от этой затеи, мол, глупости всё это, социальное напряжение в районе создастся с запретом охоты,

согласился с нашим мнением. Мы же утверждали: местное население в этих местах редко появляется. Кроме того, остаются водоёмы, где охота не запрещена, например, огромное озеро Шалкар-Ега-Кара недалеко от посёлка Светлого. Потом, вся пролётная дичь отдыхает на воде, но кормиться-то летает на поля. И есть традиционный, классический вид охоты с профилями птиц из фанеры. Их ставят под прямым углом к траектории полёта птиц, и те воспринимают их как сидящих живых гусей. А сейчас чучела надувают и ставят. Птицы снижаются — и, пожалуйста, охотьтесь.

Существует ещё один аргумент против запрета охоты, набивший оскомину. Мы, мол, запрещаем охоту у себя и тем сохраняем птиц для охотников Западной Европы и Средней Азии. Это глупость и тем более не причина, чтобы не охранять птиц вообще. Нужно разумное

сочетание интересов природоохран-ных организаций и местных природо-пользователей. В противном слу-чае останется одна неограниченная охота без правил.

**Н.К.** — *Сегодня уже можно на-звать результаты проделанной ра-боты?*

**А.Д.** — Они не заставили себя ждать. Полный покой получила расположенная на озере Обалыколь колония кудрявых пеликанов — одна из главных орнитологических ценностей заказника. Улучшились условия для размножения ценных охотничьих промысловых и редких видов птиц. Особенно это видно в период пролёта, когда на плёсах озёр скапливаются многие тысячи гусей и уток. Как и предполагалось, улучшились условия спортивной охоты. Поняли это и сами охотни-ки, так активно противоборствующие реализации проекта. В на-стоящее время на озёрах заказника отмечается свыше 180 видов птиц, среди них 30 видов, занесённых в Красные книги Оренбургской об-ласти и Российской Федерации, Международную Красную книгу. Это белоглазый ны-рок, степной лунь, орлан-белохвост, степная пустельга, стрепет, кречётка, степная таркушка... На озёрах заказни-ка можно встретить и большого баклана,

лебедя-кликуна, морского зуйка, цапель и даже фламинго... Это на-стоящий птичий рай!

**Н.К.** — *Какие птицы самые цен-ные и особо охраняемые?*

**А.Д.** — Конечно, кудрявый пе-ликан. Это глобально редкий вид. Численность в России — 450 — 710 пар, на озере Обалыколь — около 50 пар. Пеликан значительно круп-нее гуся, размах крыльев достигает 2-х метров, кормится он мелкой и средней величины рыбой, которую ловит на мелководье. Численность большого баклана со своеобразны-ми чёрным оперением и светлыми полосками и пятнами не превышает, видимо, 100 пар. Он тоже заслужи-вает безусловной охраны. Лебеди, очень крупные птицы со снежно-белым оперением, на Руси издав-на пользовались покровительством человека. И сегодня охота на них строго запрещена.

Из гусей особенно ценна пи-скулька — очень редкий вид, и крас-нозобая казарка. В наиболее глухих, труднодоступных частях водоёмов, в густых тростниковых зарослях при-

**У логова браконьера**



саживаются большие белые цапли. Савка, одна из редких видов уток, как ни странно, гнездится на прудах коммунальных очистных сооружений посёлка Светлого в количестве всего нескольких пар.

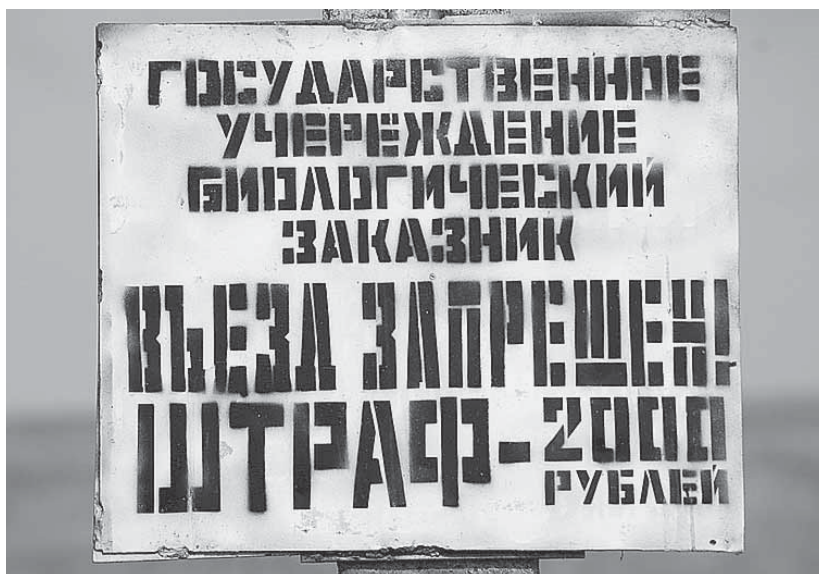
На солончаках озёрных котловин встречается чёрный жаворонок-эндемик Российской Федерации и Казахстана.

За ним признаётся исконно степное происхождение, доказательство тому — зимовки самцов в суровых условиях открытых степных ландшафтов, к которым они великолепно приспособлены. Самки на зиму откочёвывают в более южные районы Средней Азии и Казахстана. Необыкновенно зрелищны демонстрационные полёты самцов, которые напоминают грациозное порхание бабочек-парусников. Последние десятилетия численность чёрного жаворонка существенно сократилась.

Горная чечётка — одна из самых мелких и грациозных птиц местной фауны, её степной подвид очень редок. Внесена в Красную книгу Оренбургской области. Список этот можно значительно расширить...

**Н.К.** — *Каким вы видите будущее заказника?*

**А.Д.** — Создание его имело большой резонанс не только в Оренбургской области, но и в России и за рубежом. На базе заказника проведено несколько крупных Международных научных конференций. Участники последней — XIII Международной орнитологической конференции Се-



верной Евразии побывали в Светлом в начале мая 2010 года. Мнение было единодушным — заказник уникален. Участники конференции, среди которых были ведущие российские орнитологи, учёные с мировым именем подписали обращение к губернатору Оренбургской области с просьбой продлить сроки функционирования заказника. Они и были продлены до 2020 года. Откровенно говоря, душа радуется при виде птичьего рая, но исподволь закрадывается и тревожное чувство — не потерять бы это, сохранить уголок малоизменённой природы для детей и внуков. Чтобы и они могли тоже ликовать при виде этого птичьего изобилия, слышать трубные крики лебедей и журавлей, созерцать величаво проплывающие в мареве степного воздуха силуэты кудрявых пеликанов, бакланов, гусей, цапель, чаек. Для тревоги есть основания. В неразберихе бесконечных реорганизаций природоохранных служб дело дошло до того, что егеря заказника не имеют права самостоятельно изымать найденные в заказнике сети и раколовки и наказывать браконьеров.

Спрашивается, для кого и для чего у нас принимаются законы? Иначе, как абсурдом, эту ситуацию не назовёшь...

Что дальше? В планах наш биологический заказник должен стать главным звеном в целой сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) уникального озёрного района. Подготовлены материалы для создания региональных памятников природы на всех средних по величине водоёмах, на очереди работы по приданию статуса федеральной ООПТ озеру Шалкар-Ега-Кара. Особенно важно, что кроме решения первостепенных задач — спасения от деградации ценнейшего природного района и охраны птиц, там в полной

мере будут учтены интересы рыбного промысла, охотпользователей, хозяйствующих субъектов и местного населения.

Планируются также проведение научных исследований с привлечением специалистов центральных академических учреждений, как, например, Центра кольцевания РАН, а также развитие природоохранного просвещения и орнитологического туризма, проведение экскурсий для учащихся школ, полевых практик студентов вузов. В Казахстане уже принимают небольшие группы любителей птиц, которые приезжают за тысячу километров, чтобы только посмотреть на степного кулика, пеликана, фламинго, послушать их...

**Участники XIII Международной орнитологической конференции  
Северной Евразии на экскурсии в Светлинском заказнике**





**Японская поговорка гласит: когда летят дикие гуси, даже черепахи топают ногами от желания лететь...**



**Чёрный жаворонок – степной абориген**

**Разговор начистоту**



**Кудрявые пеликаны на отдыхе**



*Заповедная зона*

**Удод, или  
голландский петушок**



**Луговой лунь в полёте**

**В гости к пеликанам**



Пеликаний  
детский сад



Мелкий сокол-кобчик  
на охоте



Большой баклан – известный рыболов

Цапли – танцующие на воде красавицы





**Кулики-ходулочники:  
выяснение отношений**

**Трясогузка – «желтобрюхий пухляк»**



**Анатолий Давыгора – самый «тихий»  
охотник за птицами, и его «добыча» –  
фото фламинго**

